

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

ГОД ИЗДАНИЯ

VI

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1957

Н. Д. Андреев (Ленинград). Периодизация истории индоевропейского языка	3
А. М. Мухин (Ленинград). О категории падежа в современном английском языке	19

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. И. Ревзин (Москва). Структуральная лингвистика, семантика и проблемы изучения слова	31
С. Л. Рубинштейн (Москва). К вопросу о языке, речи и мышлении	42
В. Н. Комиссаров (Москва). Проблема определения антонима (О соотношении логического и языкового в семасиологии)	49

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Г. О. Винокур. Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике	59
---	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. Б. Шапиро (Москва). К учению о второстепенных членах предложения в русском языке	71
О. Н. Трубачев (Москва). К этимологии некоторых древнейших славянских терминов родства	86
М. Л. Ванслова (Калинин). Сложные предложения с союзом <i>чем-тем</i>	96
А. А. Реформатский (Москва). Фонологические заметки	101
С. Н. Иванов (Ленинград). Категория залога в определительных сочетаниях с формой на <i>-gan</i> в узбекском языке	103

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

П. С. Кузнецов (Москва). <i>F. Lievchr. Slawische Sprachwissenschaft in Einzeldarstellungen</i>	108
Л. Копецкий (Прага). «Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника»	116
В. П. Курашевич (Познань). «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот»	123
С. И. Ожегов (Москва). О крылатых словах (По поводу книги Н. С. и М. Г. Ашукиных «Крылатые слова»)	125
В. М. Иллич-Свитыч (Москва). <i>V. Machek. Česká. a slovenskájména rostlin</i>	129
Б. А. Ильин (Ленинград). Новые работы по истории английского языка	134
Ю. П. Мазур (Москва). <i>А. А. Холодович. Очерк грамматики корейского языка</i>	139
<i>E. Otto. Stand und Aufgabe der allgemeinen Sprachwissenschaft</i> (В. П. Мурат); <i>J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch</i> (В. А. Дыбо); <i>A. Jóhannesson. isländisches etymologisches Wörterbuch</i> (Г. С. Щур); <i>J. R. Hulbert. Dictionaries British and American</i> (А. П. Кузнецова); <i>Ch. Bruneau. Petite histoire de la langue française. T. I</i> (И. А. Мельчук); <i>E. Leisi. Das heutige English. Wesenszüge und Probleme</i> (В. П. Мурат); <i>H. Weber. Das Tempussystem des Deutschen und des Französischen. Übersetzungs- und Strukturprobleme</i> (Ю. С. Мартемьянов); <i>T. W. Thacker. The relationship of the semitic and egyptian verbal systems</i> (Н. К. Усманов); <i>Bibliographie linguistique des années 1939—1953</i> (Е. С. Кубрякова)	144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. В. Калинин (Москва). Межвузовское совещание языковедов	151
Н. З. Гаджиева (Москва), А. Г. Оруджев (Баку), В. Г. Орлова (Москва). Координационные совещания в Алма-Ате, Баку и Тбилиси	157
И. Н. Аицакский, В. П. Григорьев (Москва). В Институте языкознания АН СССР	164
Л. А. Силина (Москва). В Комитете технической терминологии АН СССР	171

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

О. С. Азманова, П. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Видюград (главный редактор), В. П. Григорьев (п. о. отв. секретаря редакции), А. И. Ефимов, В. В. Иванов (п. о. зам. главного редактора), Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжусев, Б. А. Серебренников, И. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

И. Д. АНДРЕЕВ

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПРАЯЗЫКА ¹

Непосредственное сравнение отдельных индоевропейских языков позволило установить облик праязыка эпохи его распада. Решение этой задачи составило основное содержание классической индоевропеистики, которая — при всех ее громадных достижениях — имела в основном констатирующий характер и со времени младограмматиков почти не занималась вопросом о доистории и реконструируемого состояния праязыка. Попытку проникнуть в доисторию праиндоевропейского предпринял А. Кюни, опубликовавший ряд работ, посвященных сравнению индоевропейского языка с семито-хамитским ². В своей основе разыскания Кюни представляли собой реконструкцию фонетической системы, отдельных корней и отдельных окончаний «иностранного» языка — предполагаемого общего предка двух сопоставляемых семей.

Принципиальная слабость построений Кюни состоит в том, что он сравнивает праиндоевропейский и прасемитохамитский эпохи их распада, т. е., по существу, завершающие этапы их эволюции. Сравнение же дает надлежащие результаты лишь при рассмотрении древнейших этапов развития языков, когда они еще относительно близки к языку-предку. Кюни не учитывает этого и не стремится установить характер раннего праиндоевропейского и раннего прасемитохамитского, довольствуясь сравнением их поздних состояний; с таким же успехом мы могли бы попытаться восстановить структуру индоевропейского путем прямого сопоставления современного английского с современным хинди.

Появление основополагающих работ Э. Бенвениста и Е. Куриловича ³ ознаменовало собою начало новой эпохи индоевропейского языкознания, которую, в отличие от ее классического периода, можно назвать современной индоевропеистикой. Принципиальное отличие двух указанных работ от трудов Бругманна и Мейе ⁴ состоит в применении метода

¹ Решительно предпочитаем этот традиционный термин русской индоевропеистики весьма неудачному новому термину «язык-основа». На стороне традиционного термина все преимущества: и выразительная краткость, и отсутствие нежелательных ассоциаций («атематические основы языка-основы»), и, наконец, то обстоятельство, что от него исцеляется производное прилагательное «праязыковой», в то время как от «языка-основы» никаких производных образовать нельзя.

² Последняя из них, как бы подводящая итог исканиям автора: A. C u n y, *Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques*, Bordeaux, 1946.

³ E. B e n v e n i s t e, *Origines de la formation des noms en indo-européen*, Paris, 1935 (русск. перевод: Э. Б е н в е н и с т, *Индоевропейское именное словообразование*, М., 1955); J. K u r y ł o w i c z, *Études indoeuropéennes*, Kraków, 1935.

⁴ K. B r u g m a n n, *Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch* («Grundriss der vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen», Bd. II), 2-e bearb. Aufl., Strassburg, 1906—1916; A. M e i l l e t, *Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes*, 7-e éd., Paris, 1934 (русск. перевод: А. М е й е, *Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков*, М.—Л., 1938).

внутренней реконструкции. Центральной частью работы Куриловича и — в еще большей степени — работы Бенвениста явился анализ структуры индоевропейского корня. Оба исследователя одновременно и независимо друг от друга пришли к выводу, что типы индоевропейских основ, получаемые из сравнения отдельных индоевропейских языков и характерные для праязыка эпохи распада, возникли из иной, более простой и вместе с тем более подвижной структуры основ, существовавшей в более раннюю эпоху. Отличительной чертой этой структуры было наличие двух состояний основы [первое состояние (I)**perk'*, второе состояние (II)**prek'*; ср. литовск. *peršù*: ст.-слав. *прѣснѣти*], противопоставленных друг другу местом аблаутного гласного. Опираясь на ларингальную теорию, Бенвенист установил, кроме того, что индоевропейский корень был двухконсонантным и что он всегда начинался с согласного (к последнему выводу пришел и Курилович). Наконец, Бенвенист показал, что развитая падежная система индоевропейского праязыка эпохи распада сложилась на базе словообразовательных аффиксов и что этой развитой системе предшествовала значительно более простая.

Общей чертой послевоенных работ Боргстрёма, Шпехта и Лемана¹ является стремление идти своими собственными путями, но в том же общем направлении: на основе метода внутренней реконструкции устанавливать доисторию определенных сторон системы праязыка.

Переходя непосредственно к вопросу о периодизации истории индоевропейского праязыка, необходимо прежде всего установить достаточно эффективный принцип деления по периодам. Таким основанием деления, как мы увидим из всего последующего изложения, должен быть изменяющийся характер структуры корня и основы.

По данным классической индоевропеистики, в праязыке эпохи распада основа была многоморфемной, причем границы морфем далеко не всегда поддаются точному определению ввиду далеко зашедшего процесса сращения элементов слова (**nig^{wh}os*) лат. *nix*, *niuet* «снег» и **snoig^{wh}os*) ст.-слав. *снѣгъ*, гот. *snaiws*; или: **mēti*, **mētós*) санскр. *māti* «мерит», *mitāh* «измеренный» и **mēdonom*, **modios*) гот. *mitan* «мерить», лат. *modius* «четверик»).

Для предшествующей эпохи Э. Бенвенист устанавливает в конечном счете двухморфемную основу, состоящую из двухконсонантного корня и одноконсонантного детерминатива (суффикса или распространителя). При этом зависимость между двумя указанными компонентами основы имеет — в терминах структурализма — характер селекции, поскольку вид детерминатива определяется видом корня и детерминатив невозможен без корня (**ter-* выступает с суффиксами: II **tr-em-*) лат. *tremō* «дрожу»; ст.-слав. *трѣсх*, I **ter-s-*) лат. *terreō* «страшу»; II **tr-es-*) греч. *τρέω* «дрожу»; II **tr-ep-*) лат. *trepidō* «трепещу», ст.-слав. *трѣпѣтъ*).

На том основании, что многие корни, входящие в состав двухморфемных основ, могут выступать самостоятельно, без второй морфемы (**xei-d-*) ст.-слав. *идх*; **xei-sk-*) др.-в.-нем. *eiskōn*; ст.-слав. *искати*, и просто: **xei-*) греч. *εἶμι* «иду», санскр. *ēmi*, лат. *īt* «идет»), следует предположить, что двухморфемной основе предшествовала одноморфемная, равная корню. Такой вывод, по существу, является прямым следствием разысканий Бенвениста, доведенных до их логического завершения.

¹ С. Н. Borgström, Internal reconstruction of Pre-Indo-European word-forms, «Word», vol. 10, №2—3, 1954; F. Specht, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Göttingen, 1947; W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952.

Таким образом, рассматривая историю праиндоевропейского языка с точки зрения состава и структуры основы, мы можем выделить три периода в его развитии: 1) раннеиндоевропейский (РИЕ) — период одноморфемных основ; 2) среднеиндоевропейский (СИЕ) — период двухморфемных основ; 3) позднеиндоевропейский (ПИЕ) — период многоморфемных основ.

В рамках данной периодизации двухконсонантный корень Бенвениста в РИЕ оказывается тождественным основе, в СИЕ является главной морфемой основы и выступает в двух видах (I и II состояние) и, наконец, в ПИЕ срastaется с последующими элементами в многоморфемную основу и зачастую не ощущается более как самостоятельный элемент слова.

Анализ того, как развивался индоевропейский консонантизм, целесообразно начать с выяснения природы и эволюции так называемых индоевропейских «ларингалов» (получивших это название от сторонников гипотезы семито-хамито-индоевропейского единства).

Хотя так называемая «ларингальная» теория со времени ее появления в 1927 г.¹ получила значительное развитие², до сих пор нет единого, всеми разделяемого мнения ни по вопросу о количестве разновидностей консонантного шва, ни по вопросу об их фонетической природе.

В уже упомянутой работе Лемана автор высказал предположение, что по крайней мере один из «ларингалов» имел не ларингальную, а заднеязычную артикуляцию. В диссертации В. В. Иванова³ показано, что хеттское *h* было заднеязычным спирантом, и высказана мысль об аналогичной природе соответствующего индоевропейского звука. Наконец, А. Мартинс в своих недавно опубликованных работах⁴ тоже приходит к заключению, что один из «ларингалов» (H_2) был заднеязычным или фарингальным фрикативом, а другой (H_3) являлся противопоставленным ему лабиовелярным. Можно сказать, что «ларингальная» теория вступила в такую фазу своей эволюции, когда концепция ларингального характера разновидностей индоевропейского шва не является больше догмой.

По нашему мнению, ни один из вариантов индоевропейского шва не имел ларингальной артикуляции — все они артикулировались в ротовой полости, там же, где и индоевропейские «гutturальные» смычные, отличаясь от последних не местом, а способом артикуляции: если $*k'$, $*k$ и $*k^w$ были глухими смычными, то $*x'$ ($= a_1 = H_1$), $*x$ ($= a_2 = H_2$) и $*x^w$ ($= a_3 = H_3$) представляли собой соответствующие им глухие щелевые.

Согласуясь между собой данные индоевропейских диалектов указывают на наличие трех индоевропейских небных спирантов («ларингалов»): $*\bar{x} + *x' > *e$; $*\bar{x} + *x > *a$; $*\bar{x} + *x^w > *o$. Четвертый «ларингал» (a_4 или H_4), реконструируемый исключительно на основании своеобразно истолкованных данных хеттского языка, не находит себе места в триаде индоевропейских долгих гласных.

В итоге мы получаем следующую предварительную схему индоевро-

¹ См. J. Kurjowicz, *Les indoeuropéens et le hittite*, «Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski», I, Cracoviae, 1927.

² Детальные обзоры «ларингальной» теории даны в статьях: L. Zgusta, *La théorie laryngale*, «Archiv orientální», vol. XIX, № 3—4, 1951; E. Polomé, *Zum heutigen Stand der Laryngaltheorie*, «Revue Belge de philologie et d'histoire», t. XXX, №№ 1—2, 3—4, 1952; ср. обзор В. Пизани «Общее и индоевропейское языкознание» (сб. «Общее и индоевропейское языкознание», перевод с нем., ред. и предисл. В. А. Звегинцева, М., 1956).

³ В. В. Иванов, *Индоевропейские корни в клинописном хеттском языке и особенности их структуры*. Автореф. канд. диссерт., М., 1955.

⁴ Последняя из них: A. Martinet, *Some cases of -k-/-w-alternation in Indo-European*, «Word», vol. 12, №1, 1956.

пейских шумных согласных:

Ряды	Губной	Зубной	Средне-язычный	Задне-язычный	Лабнолингвальный
Традиционные группы:					
Глухие простые	<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k'</i>	<i>k</i>	<i>k^w</i>
Звонкие простые	(<i>b</i>)	<i>d</i>	<i>g'</i>	<i>g</i>	<i>g^w</i>
Звонкие придыхательные	<i>bh</i>	<i>dh</i>	<i>g'^h</i>	<i>g^h</i>	<i>g^w^h</i>
Спиранты	—	<i>s</i>	<i>x'</i>	<i>x</i>	<i>x^w</i>

Предлагаемая интерпретация «ларингалов» позволяет по-новому подойти к разрешению спора о количестве небных («гуттуральных») рядов: наличие трех долгих гласных, указывая на три контрагированных спиранта, оказывается веским доводом в пользу концепции трех, а не двух рядов.

Ослабление артикуляции индоевропейских небных спирантов, приведшее к их «падению», происходило с разной скоростью в различных диалектах: в хетском оно только началось, в армянском и индо-иранском продвинулось весьма далеко, в греческом вокализация, по-видимому, уже полностью осуществилась, хотя отражения трех спирантов еще различны. В остальных же диалектах рефлексы всех трех спирантов совпали (кроме случая стяженных долгих).

Считалось, что из всех индоевропейских диалектов консонантный характер небных спирантов хорошо сохранен в хетском и лишь в особых случаях — в индо-иранском и армянском. Однако Мартин продемонстрировал, что в определенных конечных позициях (типа «гласный + небный спирант + зубной спирант») консонантный характер небного спиранта сохраняется во всех индоевропейских диалектах (лат. *senātus* < **senextos* при *senec* - *s* < **senexs*, гот. *qius* < **g^wix^wos* при др.-англ. *cwicu* < **cwics* < **g^wix^ws*)¹.

В свете этих данных можно утверждать, что «падение» индоевропейских небных спирантов (т. е. их вокализация или исчезновение) нельзя считать ни одновременным актом, охватывающим все позиции, ни повсеместным явлением. Правильнее говорить не о «падении» небных спирантов, а о значительном ослаблении их артикуляции (**x* > **h*) при переходе от СИЕ к ШИЕ. Что же касается полной вокализации (**h* > **o*) или исчезновения (**h* > нуль), то их следует датировать начальной эпохой самостоятельного существования тех индоевропейских диалектов, где это произошло.

Одним из наиболее неясных и спорных мест индоевропейского консонантизма является фонетическая природа «звонких придыхательных» **bh*, **dh*, **g'h*, **gh*, **g^wh*. В самом деле, рефлексы этих звуков по диалектам чрезвычайно разнообразны; для наглядности мы сведем их в таблицу, из которой видно, что налицо все мыслимые отражения:

	Смычные	Придыхательные	Спиранты
Глухие	в хетском	в греческом	в латинском (начально)
Звонкие	в славянском, балтийском, кельтском, иранском, латинском (медially)	в индийском	в германском

В приведенной таблице столбцы слева направо и строки сверху вниз расположены в порядке убывания интенсивности, т. е. суммарной артикуляционной энергии.

¹ См. A. Martinet, Le couple SENEX—SENATVS et le «suffixe» -k-, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. LI, fasc. 1, 1955; см. также уже упомянутую статью А. Мартина в журн. «Word».

Известно, что глухие — более сильные, чем звонкие; промежуточную ступень между ними образуют полузвонкие. Наблюдения показывают, что у придыхательных затвор ослаблен, вследствие чего они менее интенсивны, чем простые смычные. В свою очередь, в некоторых языках (например, в корейском) сами смычные подразделяются на произносимые энергично (= сильные) и произносимые вяло (= слабые). Наконец, существуют языки (например, итальянский, финский), противопоставляющие смычные с заметной выдержкой (=долгие) смычным с мгновенной выдержкой (=кратким). Естественно, что длительное удерживание речевых органов в положении затвора требует большей затраты мускульной энергии, чем короткое.

В итоге мы получаем две градации по интенсивности: 1) глухие/полузвонкие / звонкие — резонантная градация; 2) сильные долгие смычные / сильные краткие смычные / слабые смычные (придыхательные) / спиранты — динамическая градация.

Фурке для общегерманского и Милевский для хеттского выдвинули предположение о том, что в этих языках развилось отношение согласных по силе и слабости, заменившее собой индоевропейское отношение глухости /звонкости, т. е. что резонантная градация сменилась в этих языках динамической, в противоположность остальным диалектам, сохранившим резонантную градацию¹. Нам представляется, что дело обстоит как раз наоборот: то, в чем Фурке и Милевский усматривают новшество, было в действительности архаизмом—именно динамическая градация лежала в основе индоевропейского консонантизма, не имевшего звонких шумных; единственными звонкими элементами индоевропейской системы согласных были сонанты. Вместо трех традиционных групп: глухие простые, звонкие простые, звонкие придыхательные, мы восстановим для ПИЕ четыре группы: глухие сильные (*P, *T, *K', *K, *K^w), глухие слабые (*p, *t, *k', *k, *k^w), глухие придыхательные *ph, *th, *k'h, *kh, *k^wh) и глухие спиранты (*s, *h', *h, *h^w).

СИЕ консонантизм мало отличался от ПИЕ; основное различие заключалось в более энергичной артикуляции небных спирантов, на этой стадии представлявших собой напряженные шелевые *x' (типа нем. *Ich-Laut*), *x (типа русского твердого x в *пахать*), *x^w (более шумного, чем американск. [hw] в *what*). Переход от СИЕ к ПИЕ консонантизму состоял, следовательно, в динамическом ослаблении спирантного звена.

Давно установлено, что не существует индоевропейских корней типа *bhet- или *tebh- (все реконструированные формы этого параграфа даны в традиционной символике). В рамках классического понимания индоевропейского консонантизма для этой закономерности не нашлось объяснения: действительно, ее нельзя истолковать как ассимиляцию по звонкости, ибо существуют корни, сочетающие звонкие простые и глухие простые (*ped-/*pod-, лат. *pedem*). Вместе с тем ее нельзя истолковать и как ассимиляцию по придыхательности, ибо существуют корни, сочетающие звонкие придыхательные и звонкие простые (*bheg^w-/*bhog^w-, греч. φέβομαι, φοβέομαι).

ПИЕ шумные в целом были интенсивнее, чем развившиеся из них звуки отдельных индоевропейских диалектов. Отличие СИЕ системы шумных от ПИЕ опять-таки состояло в большей интенсивности одной из групп фонем. Предположив, что в ПИЕ артикуляция смычных отличалась еще большей, максимальной интенсивностью, мы приходим к заключению, что СИЕ сильным кратким (*P, *T, *K', *K, *K^w) предшествовали сильные долгие (нередко именуемые эмфатическими — *PP, *TT, *KK', *KK, *KK^w) СИЕ слабым (*p, *t, *k', *k, *k^w) — ПИЕ сильными краткими (*P, *T, *K', *K, *K^w) и СИЕ придыхательным (*ph, *th, *k'h, *kh, *k^wh) — ПИЕ слабым (*p, *t, *k', *k, *k^w).

¹ См.: J. Fourquet, *Les mutations consonantiques du germanique*, Paris, 1948; T. M i l e w s k i, *La mutation consonantique en hittite et dans les autres langues indoeuropéennes*, «Archiv orientální», vol. XVII, pars II, 1949.

Представим изложенное выше в виде таблицы:

Группы интенсивности	Глухие шумные РИЕ периода	Глухие шумные СИЕ периода	Глухие шумные ПИЕ периода	Основавшая на санскрите традиция
1-я	эмфатические <i>PP, TT, KK', KK, KK^w</i>	сильные <i>P, T, K', K, K^w</i>	сильные <i>P, T, K', K, K^w</i>	глухие простые <i>p, t, k', k, k^w</i>
2-я	сильные <i>P, T, K', K, K^w</i>	слабые <i>p, t, k', k, k^w</i>	слабые <i>p, t, k, k', k^w</i>	звонкие простые <i>b, d, g', g, g^w</i>
3-я	слабые <i>p, t, k', k, k^w</i>	придыхательные <i>ph, th, k'h, kh, k^w h</i>	придыхательные <i>ph, th, k'h, kh, k^w h</i>	звонкие придыхательные <i>bh, dh, g'h, gh, g^wh</i> —
4-я	спиранты <i>s, x', x, x^w</i>	спиранты <i>s, x', x, x^w</i>	спиранты <i>s, h', h, h^w</i>	<i>s, ø</i>

Теперь мы получаем возможность объяснить отсутствие корней типа **bhet-*. Этому их традиционному представлению соответствует ПИЕ-СИЕ **pheT-* и РИЕ **peTT-*. Таким образом, данное явление расшифровывается как отсутствие в РИЕ корней с шумными смычными полярной интенсивности. Перед нами не что иное, как древнейшая динамическая ассимиляция внутри одноморфемной РИЕ основы.

Переход от РИЕ консонантизма к СИЕ, состоявший в динамическом ослаблении шумных смычных, целесообразно назвать первым индоевропейским перебоем; переход от СИЕ консонантизма к ПИЕ, состоявший в динамическом ослаблении небных спирантов, — вторым индоевропейским перебоем; переход от ПИЕ консонантизма к системам согласных отдельных индоевропейских диалектов, состоявший отчасти в динамическом, отчасти в резонантном ослаблении, — третьим индоевропейским перебоем¹.

Общей причиной всех трех индоевропейских перебоев было изменение структуры основы (стр. 5): по мере возрастания морфемного состава слова ослаблялась удельная интенсивность каждого из его элементов.

В конце XIX и в начале XX в. считалось, что праиндоевропейская фонологическая система была чрезвычайно богата гласными. Однако ее объем, определенный классической индоевропеистикой (**ē*, **ē̄*, **ō*, **ō̄*, **ā*, **ā̄*, **ī*, **ī̄*, **ū*, **ū̄*, **ī̄*, **ī̄̄*, **ū̄̄*, **ī̄̄*, **ū̄̄*, **ə*) в свете анализа, проделанного основоположниками «ларингальной» теории, оказывается значительно меньшим. Прежде всего долгие гласные сонанты и долгое **ā* оказались разложимыми на соответствующий краткий гласный плюс небный спират («ларингал»). Далее, значительная (если не большая) доля всех долгих **ē̄* и **ō̄* также оказалась разложимой на **ē* или **ō* плюс небный спират. Все же известная часть случаев **ē̄* и **ō̄* обнаруживает иное происхождение — из уравнительного удлинения при редукции смежного слога или из заместительного удлинения при выпадении одной из фонем (ПИЕ **PhTēr* < СИЕ **Pxtērs*, т. е. в традиционных символах: **psīēr* < **psīērs*). Таким образом, ПИЕ вокализм сводится к кратким **e*, **o*, **a*, **i*, **u*, **r*, **l*, **m*, **n* и долгим **ē* и **ō*, встречающимся сравнительно редко.

Очевидно, что индоевропейские сонанты могли выступить в слоговом качестве лишь после того, как исчезли исконные гласные, некогда смежные с ними. Последнее было достигнуто лишь благодаря полиморфемизации, т. е. с переходом к многоморфемной основе. Двухморфемная же основа всегда имела хотя бы один аблаутный гласный (см. выше), в силу чего сонанты в ней не выступали в качестве самостоятельных слогообразующих элементов. Редукция слога и выпадение фонемы в определенном положении также представляли собой следствие полиморфемизации. На

¹ В частности, первый германский перебой был лишь одной из разновидностей третьего индоевропейского.

этом основании СИЕ вокализм следует считать гораздо более простым, чем систему ПИЕ периода: в СИЕ было лишь три слогообразующих фонемы — краткие *e, *o и *a.

Существование двух состояний основы (см. выше) решающим образом связано с ее диморфемизацией; в свою очередь чередование гласных неотделимо от двух состояний основы.

РИЕ период с его простейшими основами не имел морфологического чередования гласных, и, соответственно, СИЕ фонемы *e, *o, *a были в эту древнейшую эпоху лишь позиционными вариантами (= аллофонами) единственной слогообразующей фонемы, которую поэтому следует называть не гласным, а с и л л а б е м о й.

Силлабема *A выступала в трех вариантах: переднем *A_e (рядом со среднеязычными глухими и *j), заднем *A_a (в большинстве случаев) и огубленном *A_o (рядом с лабиовелярными и губными глухими, а также *m и *w). Можно сказать, что передний (*A_e) и огубленный (*A_o) аллофоны были с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и вариантами силлабемы, тогда как *A_a было н е й т р а л ь н ы м вариантом, не имевшим обусловленного характера¹.

Превращение вариантов силлабемы в самостоятельные фонемы связано с изменением структуры слова и генезисом аблаута, разбираемым ниже (стр. 10—11). Согласно традиционному воззрению, индоевропейский аблаут обязан своим происхождением действию музыкального ударения: различные тембры гласного возникали в различных акцентуационных условиях. Обоснованию данной гипотезы специальную монографию посвятил Хирт²; из нее ранее исходил Курилович, а в последнее время — Леман.

Данные языков с политональным фонетическим строем не подтверждают эту гипотезу. Действительно, во вьетнамском языке, обладающем двенадцатью гласными фонемами, каждая из них представлена в шести тонах. Специальное исследование вьетнамского вокализма показало³, что н и к а к о г о изменения качества ни в одном из тонов ни с одной из гласных не происходит. Поэтому следует признать, что традиционная концепция генезиса аблаута, связывающая его с действием тона, покоится на весьма шаткой основе.

Помимо этого главного замечания, может быть сделан ряд дополнительных: во-первых, тональная теория оставляет открытым вопрос о причинах передвижений ударения, обусловивших различие между I и II состоянием; во-вторых, она не дает ответа на вопрос о том, почему *a все же встречается в чередовании с *e и *o, хотя и чрезвычайно редко.

Для того периода, когда основа была одноморфемной, т. е. для РИЕ, ее двухконсонантный характер естественным образом определял место силлабемы между согласными: *x' A_j - (греч. εῖ—санскр. é-). Так как РИЕ согласные произносились с максимальной энергией (см. стр. 7), то за вторым из них всегда следовал пазвук, фонетически отличавшийся от силлабемы весьма малой интенсивностью артикуляции, а фонологически — отсутствием смысловозначительного качества (см. ниже, стр. 14). Иначе говоря, РИЕ корень-слово был типа *x' A_тъ (гот. *itan*, санскр. *admi*), где *ъ обозначает неслоговой пазвук, а *A — силлабему.

Выделяемые при анализе индоевропейских корней детерминативы имеют, как правило, одноконсонантный характер и не обнаруживают самостоятельной, независимой от корня, огласовки. Это означает, что в РИЕ они представляли собой элементы, слоговая часть которых не обладала той интенсивностью, какая характеризовала силлабему.

¹ Очевидно, что концепция единственного РИЕ гласного в таком виде весьма далека от индоевропейских построений Ельмслева (см. L. Hjelmslev, *Quelques réflexions sur le système phonique de l'indo-européen*, «Mélanges linguistiques offerts à H. Pedersen...», Aarhus — København, 1937).

² H. Hirt, *Der indogermanische Ablaut*, Strassburg, 1900.

³ Имеется в виду выполненное М. В. Гординой в сотрудничестве с автором данной статьи экспериментальное исследование, публикуемое в настоящее время в юбилейном выпуске «Вестника Ленинградского университета», посвященном 100-летию Восточного факультета ЛГУ.

Обозначив структуру РИЕ полнозначного слова символом $C^1AC^2\bar{a}$, а структуру частицы — символом $C\bar{a}$, мы можем сделать следующее обобщение: силлабема находилась между предпоследним и последним согласным, а в остальных положениях приконсонантным элементом являлся пазвук $*\bar{a}$.

Сращение РИЕ двухконсонантного слова с модифицирующей частицей, т. е. превращение их обоих в морфемы (соответственно в корень и детерминант) мы назвали выше диморфемизацией основы. Диморфемизация основы представляла собой начало нового, СИЕ периода истории языка, начало полной перестройки его типологии и, в частности, отправки точку генезиса аблаута.

Предположив, что закон местонахождения силлабемы перед последним согласным (отчасти подобный основному акцентному закону итальянского языка) сохранял свою силу по крайней мере в течение некоторого времени после диморфемизации, мы получим следующую структуру исходного и производного слова: исх. $C^1AC^2\bar{a}$ — произв. $C^1AC^2\bar{a} + C\bar{a} > C^1\bar{a}C^2AC^3\bar{a}$, например: I $*x^1\lambda^j\bar{a} - *x^1\lambda^j\bar{a} + *x^1\bar{a} > \text{II } x^1\bar{a}j\lambda x^2\bar{a}$, или, в символах ларингалистики: I $*\bar{a}_1e\bar{i}^e - *e_1\bar{a}_1\bar{i}^e + *e_1^e > \text{II } e_1^e\bar{i}e\bar{a}_1^e$ (ср. соответственно санскр. I \bar{e} - и II $y\bar{a}$ -).

Таким образом, в результате диморфемизации основы создано различие между звучанием соответствующих фонетических групп в продолжавшем существовать исходном и возникшем рядом с ним производном слове: I C^1A - : II $C^1\bar{a}$ - и I $C^2\bar{a}$ - : II C^2A -. Чередование $*A$: $*\bar{a}$ ($*\bar{a}$: $*A$) и было первой фазой генезиса индоевропейского аблаута. Условимся называть эту фазу периодом силлабических чередований.

Выше было сформулировано положение о трех аллофонах силлабемы $*A$, $*A_1$, $*A_2$, из которых первый и третий были специализированными и встречались в меньшинстве позиций, а второй — нейтральным, не специфицированным, и, встречаясь в большинстве позиций, составлял фон, на который как бы проектировались остальные два. С чисто фонетической точки зрения вариантов было, разумеется, больше, поскольку на артикуляцию силлабемы влияли оба смежных согласных, т. е. происходило нечто подобное дифференциации разных типов русского [a] в словах *пат, надь, (до) пят, пить*. Латинское *domus* из *duenos*, *colō* из **quelo*, ново-англ. [wɒt] при отражающей старое произношение орфографии *what* показывают, что в зависимости от окружения позиционная лабиализация также может быть разных степеней. Однако по отношению к основному, нейтральному аллофону все более или менее огубленные разновидности силлабемы структурно объединялись в единый, лабиальный аллофон, а все ее разновидности, более или менее продвинутое вперед, — в единый передний аллофон.

До тех пор пока основа была одноморфемной (т. е. в РИЕ), каждый частный случай реализации специализированных аллофонов не был связан с другими случаями и в силу этого не взаимодействовал с ними. Рассмотрим теперь условия, которые создавались при диморфемизации, взяв, к примеру, модификатор $*w\bar{a}$: $CAk^w\bar{a} + w\bar{a} > C\bar{a}k^wAw\bar{a}$, где $A=[\omega]$; $CAr\bar{a} + w\bar{a} > C\bar{a}rAw\bar{a}$, где $A=[o]$; $CAt\bar{a} + w\bar{a} > C\bar{a}tAw\bar{a}$, где $A=[\bar{o}]$; $CAk^{\bar{a}}\bar{a} + w\bar{a} > C\bar{a}k^{\bar{a}}Aw\bar{a}$, где $A=[\bar{a}]$.

Продолжив это рассмотрение на все мыслимые случаи сочетания с $*w\bar{a}$, мы увидим, что в большинстве их возникает лабиальный аллофон, тогда как в меньшинстве (при среднеязычных) сохраняется нейтральный.

Известно, что если какое-либо изменение осуществляется в большинстве членов определенного ряда, где данное изменение обусловлено, то оно имеет тенденцию осуществиться и в тех остающихся членах этого ряда, где оно не обусловлено. Примером может служить замещение *e* посредством \bar{e} в русском языке (ср. *берёте* — *берём, берёт*). Принято называть такой процесс изменением по аналогии, что весьма неточно, ибо суть дела состоит в том, что явление распространяется как раз на те позиции, которые не вполне аналогичны позициям, его создавшим. Немецкое «Systemzwang»

точнее выражает существо понятия, но оно несколько шире по содержанию; мы будем употреблять термин «транссессия».

В формах типа *berēte* транссессия привела к появлению фонемы [o] в такой позиции, где она раньше не встречалась (между двумя палатализованными согласными); транссессия **tchem > tjem* (в ряду *tku, tkut, tkat̃*) привела после перехода *e > ē* к превращению [k'], бывшего до того вариантом [k], в самостоятельную фонему. Это иллюстрирует возможность транссессионного освобождения аллофона от породивших его условий и последующей фонематизации его.

Вернемся к модификатору **w̃*, превращенному в детерминатив после диморфемизации: достаточно того, чтобы в ряду возникших форм произошла транссессия лабиального варианта, как благодаря этому данный аллофон стал спутником определенного детерминатива. Таким образом, за детерминативами среднеязычного ряда (обозначим их знаком *C'*) закреплялся один специализированный аллофон, за детерминативами губных и огубленных рядов (*C^w*) — другой, тогда как прочие продолжали сохранять нейтральный вариант силлабемы. Из этого следует, что при определенных группах детерминативов чередование **A : *ō* приобретало вид **e : *ō* или **o : *ō*. Если учесть, что от одного и того же корня зачастую образовывались производные с различными детерминативами (см. выше, а также многочисленные примеры в работах Перссона¹ и в IX главе книги Бенвениста), то легко понять, что в системе дериват на базе отношений $[C_1\bar{c}C_2]eC'\bar{c} : [C_1\bar{c}C_2]AC\bar{c} : [C_1\bar{c}C_2]oC^w\bar{c}$ складывались также и чередования **e : *A, *o : *A; *e : *o*. Вся эта пестрая совокупность словообразовательных вариаций чередования представляла собой вторую фазу генезиса индоевропейского аблаута; условимся называть ее периодом транссессионных чередований.

Развитие индоевропейских имен на *-*lo*, давших русские формы прошедшего времени, наглядно показывает, как категория, бывшая некогда чисто словообразовательной, стала полностью морфологизованной.

Нет ни возможности, ни необходимости в рамках данной статьи разбирать вопрос о том, какие из первичных словообразовательных аффиксов и в какой последовательности были морфологизованы: в засвидетельствованных языковых формах мы можем в лучшем случае найти лишь трудно распознаваемые следы этого первого пласта индоевропейской морфологии (возможно, что к ним принадлежит, например, перфектное **w* в санскр. *tatā-u*, лат. *nō- u-ī* и т. д.; см. ниже, стр. 15). Для нас существенно то, что древнейшие грамматикализованные морфемы возникли из словопроизводственных типов; то, что в СЛЕ дело обстояло именно так, весьма убедительно показано Бенвенистом на примере местного падежа на **-n/*-r/*-i* (санскр. *āhar, āhan, āhani*), гетероклитического склонения на **-n/*-r-/(*-i)* и словообразовательных групп с этими аффиксами.

Ввиду того что вторая морфема с течением времени грамматикализовалась, т. е. получала уже не деривационное, а морфологическое значение, закрепленный за данной морфемой тип аллофона ассоциировался с этим развившимся грамматическим значением, приобретая тем самым сопряженную морфологичность, т. е. еще не автономный, но уже ясно выраженный морфологический характер.

Объединение нескольких грамматикализованных форм в одну парадигму (например, в спряжение по лицам или в гетероклитическое склонение) имело следствием взаимодействие объединившихся форм и, в частности, транссессию определенного типа огласовки уже независимо от фонетического состава аффиксов — либо на морфологически обособленную часть парадигмы, либо на всю парадигму (см. стр. 10). Этот процесс означал не что иное, как развитие сопряженной морфологичности аллофона в автономную; тем самым завершался начатый диморфемизацией (см. стр. 10 и 11) отрыв аллофона от создавших его положений и превращение

¹ См.: P. P e r s s o n, Studien zur Lehre von der Wurzelweiterung und Wurzelvariation, Upsala, 1891; ero же, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, Uppsala—Zeipzig, 1912.

его в самостоятельную фонему. Так были фонологизованы $*e < *A_e$, $*o < *A_o$, $*a < *A_a$ и коррелятивным образом $*ъ$, позднее перешедший в нуль или сохранный в виде *shva secundum*.

Остается ответить на поставленный нами ранее (стр. 9) вопрос о причинах преобладаний морфологических чередований $*e/*o/*ъ$ и редкости чередований с $*a$ в ПИЕ. Ассоциация аллофона с грамматикализованным значением не создавала контраста к фону (см. стр. 10), если ассоциировался нейтральный аллофон ($*A_a > *a$), и создавала такой контраст, если ассоциировались специализированные аллофоны ($*A_e > *e$ и $*A_o > *o$). Естественно, что контрастные огласовки при трансгрессии имели больше шансов на обочение в специальном значении, поскольку они выделяли морфологизованные формы из общей массы неморфологизованных дериват. По аналогичному принципу контрастной специализации возникли, например, в системе русского глагола не восходящие к ПИЕ $*\bar{c} >$ общеслав. \bar{a} видовые огласовки в таких формах, как *выколачивать*, *похозяйничать*, *унаваживать* и пр., с той лишь разницей, что здесь, наоборот, фоном послужила преобладающая огласовка *o*, а контрастной явилась более редкая в системе славянских чередований огласовка *a*.

В конечном счете СИЕ контрастная специализация аллофонов ($>$ фоном) привела к тому, что в морфологии огласовки $*e$ и $*o$ стали преобладающими, тогда как в словообразовании огласовка $*a$ не была вытеснена полностью. Немногочисленные остаточные случаи сохранившихся до ПИЕ чередований $*a$: $*e$, $*a$: $*o$ или $*a$: нуль (из $*ъ$) без исключения имеют деривационный характер¹. Гораздо чаще встречается ПИЕ $*a$, не участвующее в чередованиях; оно также представляет собой реликтовую часть морфологически-нейтрального фона: вопреки тому, что огласовке $*a$ многие приписывают исключительно или преимущественно вторичное происхождение, в действительности лишь меньшая часть огласовок $*a$ получила свой тембр от заднеязычного спиранта $*x$, основная же масса их представляла собой в ПИЕ пережиток древнейшего, фонового слоя индоевропейского вокализма, либо не подвергавшегося морфологической трансгрессии (греч. *κατ᾽*), либо устоявшего против нее благодаря смежным заднеязычным согласным (греч. *κακῆ*, лат. *casare*).

Морфологизация чередований $*e/*o/*ъ$ была третьей фазой генезиса индоевропейского аблаута; условимся называть ее периодом морфологических чередований. С этим периодом закончилось формирование основных ступеней качественного аблаута, придавшего ПИЕ словообразованию и словоизменению столь характерный облик. Нам представляется, что индоевропейский аблаут есть не только и не столько результат чисто фонетической эволюции, сколько продукт возникших и развивающихся словообразовательной и морфологической систем.

Хронологически следующим пластом индоевропейской морфологии были окончания, т. е. морфемы, возникшие главным образом из служебных частиц (местоимений, послелогов, указательных энклитик и т. п.; см., например, стр. 15). Появление самостоятельных $*e/*o$ -огласовок в морфемах этого рода могло произойти не раньше, чем прекратилось действие закона пенультимности синлабемы (стр. 10); данное соображение вполне согласуется с тем, что для полной грамматикализации и возобладания в морфологии $*e/*o$ -вокализма необходимо было достаточное время. На этом основании мы можем выделить с т а р ш и й СИЕ, отнеся к нему периоды синлабических и трансгрессионных чередований, и м л а д ш и й СИЕ, отнеся к нему период морфологических чередований и возникновение словоизменения. Если в старшем СИЕ слово оставалось равным основе, т. е. двухморфемным, то в младшем СИЕ, при начавшемся развитии словоизменения, слово, включив в себя третью морфему — окончание, стало больше своей двухморфемной основы. Этим был сделан существенный шаг, подготовивший полиморфемизацию и самой основы (стр. 8 и 15).

¹ См. примеры, собранные у Хирта: Н. Н i r t, *Indogermanische Grammatik*, Teil II, Heidelberg, 1921.

В условиях, когда одноморфемной основе I *TAr-противостояло несколько основ II (стр. 4): *T₁As-, *T₁Am-, *T₁AP-, *T₁Ar-, получавших каждая свое значение (об этих значениях см. у Мейе во «Введении»), само I состояние коррелятивно превращалось в особую категорию (для глагола, например, видовую), именно недифференцированностью своего значения отличающуюся от категориально-дифференцированных II состояний.

Если за таким противопоставлением I (одноморфемного) и II (двухморфемного) состояний основы закреплялся определенный словопроизводственный или грамматический смысл, то при этом неизбежно появлялась тенденция к дифференциации того из состояний, которое участвует сразу в нескольких противопоставлениях. Это положение хорошо иллюстрируется примером русских глагольных видов: от несовершенного вида *писать* были сперва образованы формы совершенного вида *записать*, *списать*, *расписать* и т. п., а затем созданы новые уже дифференцированные формы несовершенного вида *записывать*, *списывать*, *расписывать* и т. д.

По такому принципу недифференцированное *TAr-уступило место позднейшим III *TArчъs->ПИЕ *Ters- (лат. *terre*), III *TArрр->ПИЕ *Terp- (общеслав. **terb-*, русск. *теребить* при II *Trep-; ср. англ. *thrill* из **þrepljan*), которые, так же как и I *TAr-, категориально противопоставлены II состоянию, но уже с дифференцированным значением. Понятно, что III (= дифференцированное I) состояние могло возникнуть только после прекращения действия закона пенультиимности слога, т. е. не ранее младшего СИЕ.

Теперь мы можем соотнести классификацию Бенвениста и Куриловича с изложенной выше (стр. 10 и 13) схемой генезиса различных состояний индоевропейской основы:

Тип основы	По Бенвенисту	По Куриловичу	По нашей схеме	Датировка
C ¹ _A C ² _o (<i>ter-</i>)	корень	I форма	I состояние	РИЕ
C ¹ _o C ² _A C ³ _o (<i>tres-</i>)	II состояние	II форма	II состояние	старший СИЕ
C ¹ _A C ² _o C ³ _o (<i>ters-</i>)	I состояние	I форма	III состояние	младший СИЕ

Не всегда генезис III состояния можно датировать младшим СИЕ: некоторые формы, по-видимому, не имели того II состояния, которое могло бы служить отправной точкой для возникновения III. Так, славянское ИДЖ * < ПИЕ * *x'ej-t-* имеет тот же детерминатив, что и ЁДЖ < ПИЕ **x'jex'-t-*; очевидно, что оба детерминатива были присоединены одновременно (ср. санскр. *ē-* < **x'e-*, и *yā-* < **x'jex'-t-*). Т р е т ь я словообразовательная морфема (**x'je-x'-t-*) принадлежит к периоду полиморфемизации, т. е. к ПИЕ; ее поздний для данного случая характер доказывается и тем, что в этом глаголе за пределами славянского она не была употребительной (хотя вообще широко распространена по индоевропейскому ареалу). Сопоставляя этот факт с отсутствием II **x'jet-*, мы вправе заключить, что III **x' e, t-* принадлежит ко вторичному у слою III состояния, имеющему ПИЕ датировку; его можно обозначить как III В — в отличие от СИЕ III А.

Происхождение нулевой ступени огласовки (т. е. редукции *ъ в нуль) связано с полиморфемизацией основы: рост числа морфем имел следствием ослабление их элементов (стр. 8) — вплоть до исчезновения наиболее неустойчивых из них, в данном случае пазвука *ъ. В тех немногих позициях, где фонетическое удобство диктовало его сохранение, мы находим его в виде *shva secundum*.

С редукцией пазвука и образованием нулевой ступени аблаута связаны два ПИЕ явления, следовавшие одно за другим: сперва, в старшем ПИЕ (стр. 16), — возникновение закона единственности гласного в слове (**x'émj:* **ximés*), а затем, в младшем ПИЕ, — вокализация сонантов, вызванная к жизни этим законом и после передвижения тона на вокализованный сонант положившая конец его действию (см. стр. 14—15).

Возникновение долгой неконтракционной ступени аблаута также связано с полиморфемизацией и редукцией пазвука (см. стр. 8—9); оно должно быть датировано ПИЕ — по крайней мере для большинства случаев (при меньшинстве — еще более позднего происхождения). Что же касается контракционных долгот, обусловленных падением небных спирантов, то их следует датировать эпохой после распада индоевропейского праязыка на диалекты (стр. 17). Образование новых ступеней аблаута в не-

которых индоевропейских языках продолжалось и после падения пебных спирантов¹.

Мы не случайно не затрагивали до сих пор вопроса о роли индоевропейского тона. Некоторые соображения заставляют предполагать, что в РИЕ он играл совершенно особую роль, кардинально изменившуюся при переходе к ПИЕ. Учитывая, что РИЕ консонантизм состоял из 19 шумных (стр. 8) и 6 сонантов, т. е. 25 согласных, причем сочетания шумных полярной интенсивности исчезли вследствие динамической ассимиляции (стр. 8), мы получаем $25 \times 25 - 25 - 5 \times 5 = 575$ возможных случаев корней. А priori можно полагать, что в языке скотоводческих племен (РИЕ *PPLx «пасу, пасти», лат. *pā-scō*, ст.-слав. *па-сѣх*), знакомых с земледелием (РИЕ *xLx «пашу, пахать», лат. *ar-ō*, ст.-слав. *ор-х*), гл количество слов-корней было значительно больше.

Просмотр этимологических словарей индоевропейского праязыка показывает чрезвычайное обилие омонимов: основная масса корней имеет по 2—3 (иногда и более) значения. Вопросу об омонимии индоевропейских корней посвящена одна из недавних работ Бенвениста², в которой прямо указывается на значительно большие, чем это принято было считать, размеры данного явления.

По всем данным, РИЕ был языком изолирующего строя и двухсогласных корней. В таких языках относительная немногочисленность корнеслова нередко восполняется фонологически используемой политональностью. Поэтому можно предполагать, что и РИЕ обладал несколькими тонами силлабемы, используемыми для с м ы с л о р а з л и ч е н и я (вероятнее всего тремя или четырьмя; это можно установить по индоевропейскому корнеслову), и что, следовательно, «омонимия корней» в действительности не существовала: РИЕ *k'Anz «род, рождать» (лат. *genus*) и *k'Anz «знать, уметь» (ст.-слав. *знати*) отличались друг от друга музыкальным рисунком силлабемы. Общее количество корней в этом случае было порядка двух тысяч, что гораздо более вероятно, чем 575.

Старший СИЕ еще сохранял фонологическое качество тонов, но место их в слове после диморфемизации сделалось подвижным, т. е. морфофонетическим, причем одновременно с чередованием *A : *ʔ (стр. 10) возникло чередование тонированного слога с атонической группой.

В младшем СИЕ после фонологизации *e и *o, прекращения действия закона пенультиимности силлабемы и возникновения трехморфемного слова (стр. 12) создались новые условия: с одной стороны, благодаря возникновению смысловой дифференциации за счет второй морфемы, потребность в смысловозначительном противопоставлении мелодических рисунков гласного резко уменьшилась, с другой стороны, морфологическое чередование *e : *o : *ʔ, охватывая целые разряды слов с р а з н ы м и тонами, вело к трансгрессионной и и в е л и р о в к е тональных различий. Совокупное действие этих двух факторов привело к конвергенции всех тонов в два: высокий (в ударных слогах) и средний (в неударных слогах), чередование которых стало чисто морфологическим средством, продолжавшим, впрочем, оставаться никак не связанным с *e- и *o-тебрами гласного.

Если в старшем ПИЕ морфологизованные тона оставались подвижными, то в младшем ПИЕ после тематизации основ опять, как и в РИЕ, но уже на совершенно иной базе для ряда парадигм (главным образом, глагольных) восстанавливается неподвижность тона (санскр. *bhārāmi*, *bhārasī*, *bhāratī*, *bhārāmaḥ* и т. д.).

После вокализации сонантов (стр. 13) и закрепления места тона в тематических глагольных основах оказалась возможной трансгрессия тона на гласный сонант — сперва только в тех случаях, когда такой сонант оказы-

¹ Например, в германском; этому вопросу была посвящена кандидатская диссертация автора настоящей статьи «Внутренняя флексия в глагольной системе германских языков» (Л., 1955), см. автореферат (Л., 1956).

² E. B e n v e n i s t e, Homophonies radicales en indo-européen, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», vol. 51, fasc. 1, 1955.

вался на месте, параллельном месту аблаутного гласного, а затем и в любой позиции.

Переходя к характеристике эволюции ИЕ морфологии, отметим, что наименее доказуемым является предположение о дофлексивном РИЕ периоде. Тем не менее оба крупнейших представителя классической индоевропеистики Бругман и Мейе не сомневались в существовании подобной эпохи в истории праязыка: для Бругмана это был корневой период (*Wurzelperiode*), для Мейе — эпоха неизменяемых слов. Решающее доказательство существования такого периода может быть дано только при установлении неоспоримого родства индоевропейского праязыка с праязыком какой-либо иной семьи, обнаруживающим в своей древнейшей стадии аналогичное состояние. До тех пор, пока такого решающего доказательства не дано, мы остаемся в сфере гипотез, обладающих определенной вероятностью, но проверяемых лишь законами логики и обобщенными законами развития языков.

Развитие индоевропейской морфологии началось после и на основе развития первичных типов индоевропейского словообразования. Эта идея вполне отчетливо выражена у Бенвениста; игнорирование ее дезориентировало Боргстрёма и помешало ему отделить действительно древние (старший СИЕ) явления генезиса индоевропейской двухморфемной основы от таких относительно поздних явлений, как образование некоторых тематических форм (младший ПИЕ). Несомненно, что значительная часть ПИЕ аффиксов возникла из агглютинированных частиц уже в ПИЕ период и хронологически гетерогенна древнейшему слою ИЕ морфем.

Исследуя происхождение грамматикализованных морфем, необходимо учитывать фактор переразложения (= переинтеграции), которым в свое время много занимались представители казанской школы Бодуэн де Куртенэ и Крушевский¹. Именно к переинтеграции сводится, например, возникновение греческих глагольных форм на -θ- из ПИЕ образований на *-th-, подробно рассмотренных Бенвенистом. Игнорирование процессов переразложения приводит Шпехта к чрезмерному упрощению и к отсутствию необходимой относительной хронологии в понимании генезиса индоевропейского склонения.

Примером переразложения может служить образование атематического окончания 3-го лица единственного числа. Сравнивая между собой так называемые «первичные» (в действительности более поздние) окончания 3-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа, мы видим, что они имеют общий элемент *-ti: *x'es-ti и *x's-elon-ti; отношение вычлепляемых при этом основ очевидным образом приводит нас к древнейшему слою СИЕ словообразования: *x'ʎsʎ: *x'ʎsʎnʎ, в котором второй член пропорции исторически представлял собой морфологизованный дериват (стр. 11).

После агглютинации окончания 3-го лица *-ti (младший СИЕ) две последние морфемы вновь возникшей формы множественного числа стали восприниматься как единое целое; произошло переразложение *x'se lon-ti в *x's-e/-enti, результатом чего был «перенос» морфологической огласовки из основы в окончание. А б л а у т с к л а д ы в а л с я в н у т р и о с н о в ы, п р о н и к н о в е н и е е г о в о к о н ч а н и е е с т ь р е з у л ь т а т р а з л и ч н о г о р о д а п е р е р а з л о ж е н и й.

Следствием полиморфемизации основы и обусловленной этим редукции пазвука оказался закон единственности гласного в слове, просуществовавший до вокализации сонантов (стр. 13). После того как сонанты получили слогаобразующую функцию, оказалась возможной и, более того, часто встречающейся множественность гласных в слове. А это, в свою очередь, сделало возможной трансгрессию *e/o-огла-

¹ См.: И. Бодуэн де Куртенэ, Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний, РФВ, т. XLVIII, 1902; Н. Крушевский, Очерк науки о языке, Казань, 1883.

совки из одних окончаний (стр. 15), где были условия для переразложения, в другие, где таких условий не было. Так возникли, например, трансгрессивно-однородные по огласовке аористопрезентные глаголы¹ (т. е. тип санскр. *tudati* был образован трансгрессией огласовки исходного *tudanti*), а затем по этому же принципу — и тематические глаголы. Исходная атематическая парадигма **phér-ti* (лат. *fert*, санскр. *bhárti*): **phrónti* была заменена парадигмами с последовательно возрастающей трансгрессивной однородностью: **phéreti*: **phrónti* > **phéreti*: **phérónti* и, с закреплением акцентуации (стр. 14), — **phéreti*: **phéronti*.

Таким образом, тематизация основ явилась следствием трансгрессионных процессов, подготовленных возникшей после полиморфемизации множественностью гласных в слове: для темы **e/o* не следует искать какого-либо особого грамматического значения (все попытки установить такое значение, как известно, ни к чему не привели). Тематизация была длительным и неравномерным процессом, не закончившимся даже к моменту распада индоевропейского праязыка: так, в прагерманском мы находим тематизованными и те глаголы, которые в ПИЕ повсеместно оставались еще атематическими (гот. *itan* при санскр. *ad-mi*, ст.-слав. *ѣмъ*). Это дает нам основание для деления ПИЕ на два периода: с т а р ш и й ПИЕ — от полиморфемизации основы до вокализации сонантов и возникновения тематических форм — и м л а д ш и й СИЕ — от тематизации основ до завершения распада праязыка на диалекты. Если младший СИЕ был периодом становления словоизменения в его простейших типах, то старший ПИЕ явился периодом полного развития атематических форм, а младший ПИЕ — периодом дальнейшего развертывания морфологии в ее тематических формах.

Принципиально важная проблема генезиса частей речи решалась по-разному. Одними, от Болпа до Хирта², выдвигался тезис об именном происхождении индоевропейского глагола; другие, как, например, Мейе, считали, что древние индоевропейские корни имели двойственную глагольно-именную природу. К такому же выводу привели Бенвениста его анализы двух состояний индоевропейской основы. Точка зрения Мейе и Бенвениста находит себе косвенное подтверждение в данных тех языков, которые типологически сходны с РИЕ (стр. 14): вьетнамский или индонезийский корень может быть одновременно и глагольным, и именным.

Согласно Бенвенисту, различие между глагольными и именными основами начинается с прибавления распространителя, т. е. третьей морфемы: первичная глагольная основа, образованная от III состояния (в схеме Бенвениста — I состояния; см. стр. 13), могла иметь не более двух морфем в нулевой огласовке, тогда как именная основа, расширенная из III состояния, могла иметь три и более морфемы с нулевой степенью аблаута. Данная закономерность должна быть датирована старшим ПИЕ: ранее, в СИЕ, основа была еще двухморфемной, позднее, в младшем ПИЕ, сформировались тематические типы отыменных глагольных основ, на которые эта закономерность уже не распространялась.

В ПИЕ глагольной системе особое место занимала инфикация основ; очевидно, что она не могла возникнуть ранее полиморфемизации (т. е. в СИЕ) и позднее тематизации (т. е. в младшем ПИЕ), поскольку она широко представлена в атематических основах; ее генезис следует представлять себе как результат новых системных соотношений, возникших вследствие полиморфемизации. Рассмотрим их на примере СИЕ I **phéi*-: форма III **phéit*- (санскр. *bhedaḥ*, гот. *beitan*) предполагает форму II **phiet* (стр. 13), от которой при расширении основы было образовано IV **phitek*- (санскр. *bhidakāḥ*); от иносуффиксального II **phien*- было таким же образом получено

¹ Их аористопрезентная функция — результат позднейшего развития видовременной системы.

² F. B o p p, *Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Lithauischen, Altslawischen, Gothischen und Deutschen*, Abt. IV, Berlin, 1842; H. H i r t, *Handbuch des Urgermanischen*, Teil III, Heidelberg, 1934.

IV **phinet-* (вед. *bhínádmī*). При контаминации двух рядов производных:

I **phēi-*: [II **phiet-*]: III **phēit-*,
I **phēi-*: [II **phien-*]: IV **phinet-*,

однородно-суффиксальные формы III **phēit-* и IV **phinet-*, взаимодействуя, объединились в одну парадигму (чему, несомненно, способствовала элиминация II состояния). В дальнейшем соотношения данного типа были обобщены и морфологизованы, на почве чего произошло переразложение и прежний суффикс основы стал восприниматься как и н ф и к с. Это в конечном счете и привело в младшем ПИЕ к появлению вторичного слоя инфиксальных основ типа греч. λαμζώνω (при ἐλαζών), ст.-слав. ЛЯГЖ (при ЛОЖИТИ), гот. *finfan* (при лат. *petō*). Характерно, что состав основ с такого рода инфиксацией у каждого диалекта свой, что и доказывает ее позднейшее происхождение.

Другая специфическая черта индоевропейской глагольной системы, а именно удвоение, также одновременного происхождения. Презентное удвоение с **i* (греч. τίθημι) появилось не позднее тематизации, т. е. относится к старшему ПИЕ. Перфектное удвоение типа греч. τέτροφα во всяком случае не старше множественности гласных в основе (стр. 15) и возникло на рубеже между младшим и старшим ПИЕ. Лишь корневое удвоение типа лат. *tutudi-*, ст.-слав. ГЛАГОЛЖ, предполагающее отчетливое еще выделение двухслогового корня в качестве морфемы (стр. 5), должно быть отнесено к более древнему слою морфологии, т. е. к младшему СИЕ; оно именно и послужило отправной точкой для развития ПИЕ форм удвоения.

Генезис классов инфекта и перфекта не старше морфологизации чередования гласных, т. е. относится к младшему СИЕ; разделение группы инфекта на презенс и аорист не старше редукции пазвука, т. е. датируется старшим ПИЕ.

Начало образования индоевропейской временной системы, связанной с противопоставлением «первичных» окончаний «вторичным», относится к эпохе формирования окончаний (к младшему СИЕ), завершение же этого процесса, судя по судьбе имперфектного приращения, происходило в эпоху распада на диалекты (младший ПИЕ).

Лишенные окончания 2-е лицо единственного числа императива датируется старшим СИЕ; сослагательное наклонение, с его тематической суффиксацией, возникло не раньше младшим ПИЕ. В оптативе выделяют два слоя: атематический оптатив, сложившийся не ранее полиморфемизации основы (старший ПИЕ), и более поздний тематический оптатив (младший ПИЕ).

Форма звательного падежа¹ восходит, подобно императиву, к старшему СИЕ. Различие именительного и винительного падежей неотделимо от противопоставления общего и среднего рода: и то и другое уже существовало в эпоху атематических основ. Прямые падежи оформились в младшем СИЕ периоде.

Родительный падеж обнаруживает в окончаниях развитое аблаутное чередование и значительно менее однороден по диалектам: он возник позже обоих прямых падежей и относится к старшему ПИЕ. Остальные косвенные падежи либо датируются младшим ПИЕ, либо завершали свое формирование уже в отдельных индоевропейских диалектах.

Долгота окончаний двойственного числа говорит о весьма позднем его происхождении (младший ПИЕ). Противопоставление единственного и множественного числа является сравнительно ранним, хотя и более поздним, чем противопоставление друг другу прямых падежей (ср. атематич. винительный падеж единственного числа *-n̥, множественного числа *-ns), т. е. относится к старшему ПИЕ.

Возникновение категорий общего и среднего рода было современным началу становления падежной системы (младший СИЕ). Выделение жен-

¹ Речь идет только о форме: значение звательности закрепилось гораздо позже, коррелятивным путем. То же следует сказать и о значении императива.

ского рода в самостоятельную категорию было связано с формированием основ на *-a-; суффикс этих основ должен быть представлен в виде *-ex-, т. е. оказывается структурно сходным с многочисленными суффиксами вида *-eloc-(греч. ἐλεῖν-εργος). Следовательно, для основ женского рода характерна полная огласовка и корня и суффикса (ст.-слав. жена, гот. *gino* < **k^uenéh*), что указывает на ПИЕ происхождение этих основ. Отсутствие формальной родовой дифференциации внутри общего рода в атематическом склонении и в ряде типов прилагательных уточняет датировку женского рода в пользу младшего ПИЕ. Уместно завершить наш анализ своего рода синтезом и рассмотреть совокупность диахронических моментов в синхроническом плане.

Раннеиндоевропейский период. Строй языка: изолирующий (типа вьетнамского). Фонетика: динамическая градация глухих шумных (по четырем степенями интенсивности); три ряда небных (включая три небных спиранта); вокализм из тонированной слолабемы и не тонированного пазвука; фонологическая политональность; динамическая ассимиляция шумных смычных в корне. Словообразование: корень, состоящий из одной морфемы, равен слову; производное значение получается в словосочетании с другим корнем или частицей-модификатором. Морфология: словоизменение отсутствует; грамматическое значение выражается или порядком слов, или словосочетанием со служебными словами; части речи не имеют формального различия.

Старший среднеиндоевропейский период. Граница: диморфемизация основы. Строй: агглютинирующий (типа индонезийского). Фонетика: первый индоевропейский перебой (динамическое ослабление шумных смычных); пениальность слолабемы; слолабическое и трансгрессионное чередование ее аллофонов; подвижность тонов. Словообразование: II состояние. Морфология: первичная грамматикализация производных основ.

Младший среднеиндоевропейский период. Граница: возникновение словоизменения. Строй: несложно-флективный (типа древнеегипетского). Фонетика: три гласных полного образования и один редуцированный; морфологический аблаут, конвергенция тонов. Словообразование: III состояние; корневое удвоение. Морфология: появление окончаний; раздельная флексия имени и глагола; два прямых падежа; общий и средний род; инфект и перфект; различие двух времен в системе инфекта.

Старший позднеиндоевропейский период. Граница: полиморфемизация основы. Строй: развито-флективный (типа классического арабского). Фонетика: II индоевропейский перебой (ослабление небных спирантов); возникновение долгих; редукция пазвука; единственность гласного в слове. Словообразование: трехморфемная основа; переразложение основ; различие именных и глагольных основ; инфлексия; некорневое удвоение. Морфология: флективное выражение числа в имени; гепитив; аорист, опатив (атематический).

Младший позднеиндоевропейский период. Граница: тематизация основ. Строй: фузионно-флективный (типа древнеиндийского). Фонетика: вокализация и тонирование сонантов; множественность гласных в слове; циркумфлекс. Словообразование: тематические основы; фузия темы и окончания. Морфология: женский род; сослагательное наклонение; тематический опатив; дательный, творительный, местный и отложительный падежи; двойственное число.

В заключение несколько слов о родстве индоевропейского с праязыками других семей (например, с прасемитохамитским или с прафинноугорским): когда ранняя доистория последних будет раскрыта методом внутренней реконструкции, полученные результаты уместно будет сравнить с тем, что покажет приложение данного метода к индоевропейскому материалу. Если при этом обнаружится сходство, тогда — и только тогда — оно будет действительно доказательным.

А. М. МУХИН

О КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Вопрос о падежной системе имени существительного является одной из наиболее спорных проблем грамматики современного английского языка.

В зарубежном и в советском языкознании господствует точка зрения, согласно которой в английском языке различаются два падежа, один из которых (так называемый общий падеж) характеризуется отсутствием положительного падежного показателя и выделяется только из сопоставления с другим падежом, который имеет показатель *'s*. Этот последний в одних грамматиках именуется родительным, в других — притяжательным падежом.

Однако некоторые советские ученые ставят под сомнение наличие падежей у имени существительного в английском языке. Так, Б. А. Ильин считает, что «постепенное, но неуклонное разрушение английского склонения привело к тому, что самое существование падежей в современном языке стало сомнительным»¹.

Против трактовки форманта *'s* как падежной флексии выступила Г. Н. Воронцова, которая, исходя из того, что *'s* может оформлять не только одно существительное, но и целую группу слов, приходит к выводу, что он представляет собой служебную частицу — послелог².

По мнению Г. Н. Воронцовой, формант *'s*, восходящий к древнеанглийской флексии родительного падежа, приобретает такую роль в результате борьбы с постпозитивным притяжательным местоимением *his*. Эта борьба, продолжавшаяся в течение двух-трех веков, привела, по словам Г. Н. Воронцовой, к установлению «неоспоримой общности значения форманта и притяжательного местоимения» и отсюда — к признанию «известной самостоятельности форманта, его независимости от существительного (как основы единого слова) в выражении притяжательности»³.

Однако отсутствие самостоятельного исследования языковых фактов среднеанглийского и начала новоанглийского периодов⁴ не позволило Г. Н. Воронцовой установить истинную связь между формантом и постпозитивным местоимением, которая представляется ей в виде схождения, в результате длительной борьбы первоначально различных, не связанных между собой языковых явлений. По этой же причине осталось невыясненным, почему «неоспоримая общность значения форманта и притяжательного местоимения», приведшая, по мнению Г. Н. Воронцовой, к отрыву форманта от существительного (на письме при помощи апострофа),

¹ Б. А. И л ь и н, История английского языка, Л.—М., 1938, стр. 218.

² См. Г. Н. В о р о н ц о в а, Об именном форманте-*'s* в современном английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1948, № 4.

³ Там же, стр. 8.

⁴ Г. Н. Воронцова лишь ссылается на несколько примеров с постпозитивным притяжательным местоимением, приведенных в «Синтаксисе» Дж. Кёрма (см. там же, стр. 8).

установилась только в XVII в., а не раньше, скажем, в XIII, XIV или XV вв., когда конструкции с постпозитивным притяжательным *his*, как показывают памятники того времени, получили большое распространение в языке.

В освещении этого вопроса Г. Н. Воронцовой остается также непонятным, почему наряду с формами на *-(e)s >'s* для выражения притяжательных отношений в языке появляются конструкции с постпозитивным притяжательным местоимением *his*. Необходимо также выяснить, почему появляются предложные конструкции с *of* для выражения тех же самых отношений.

В данной работе делается попытка ответить на указанные и некоторые другие вопросы, связанные с судьбой родительного падежа в английском языке.

*

В древнеанглийском языке родительный падеж имел широкую сферу употребления и множество значений. Так, родительный приименный, кроме принадлежности в широком смысле, мог выражать следующие отношения: объектные, количественно-отделительные, внутреннего содержания, качественной характеристики и др. Различные отношения выражал родительный падеж при прилагательных и глаголах. Все это многообразие отношений реализовалось при помощи окончаний родительного падежа, не одинаковых у разных основ. Однако вследствие редукции окончаний, вызванной наличием динамического ударения на коренном слоге, большинство окончаний родительного падежа в древнеанглийском языке утратило первоначальную ясность и выразительность. Нечеткость падежных окончаний породила их смешение, о чем говорит появление большой массы разносклоняемых существительных.

Редукция и смешение падежных окончаний приводили к все большему затемнению их значения и вследствие этого порождали тенденцию к их отпадению. Как известно, эта тенденция привела к исчезновению в среднеанглийский период формальных различий между именительным, дательным и винительным падежами существительного. Вместо дифференцированных по падежам (именительному, дательному, винительному) и числам форм существительных стали употребляться лишь дифференцированные по числам формы — форма единственного числа и форма множественного числа. Последняя имеет в большинстве случаев суффикс *-ees*, ставший к XIII в. почти универсальным показателем множественного числа существительных в северных и центральных диалектах (в южных несколько позже). Отношения, передававшиеся ранее формами именительного, дательного и винительного падежей, в дальнейшем стали выражаться посредством порядка слов и предложных конструкций.

Указанная тенденция захватила также и четвертый падеж — родительный. В языке XIII—XIV вв., как можно судить по многочисленным памятникам этого времени, происходит отпадение окончаний родительного падежа и развитие новых средств передачи его значений.

Различные отношения, передававшиеся в древнеанглийском языке при помощи окончаний родительного падежа в его приадективном и приглагольном употреблении, с отпадением этих окончаний в среднеанглийский период также начинают передаваться или путем простого соположения форм существительных, лишенных падежных показателей, или при помощи предлогов.

Тенденция к отпадению окончаний родительного падежа наблюдается также и в сфере выражения отношений принадлежности. Так, например, при сравнении четырех основных рукописей памятника XIV в. *Cursor*

Mundi¹, из которых две — Cotton MS. (вариант C) и Göttingen MS. (вариант G) — написаны на северных диалектах, третья — Fairfax MS. (вариант F) — на северо-западном и четвертая — Trinity College Library MS. (вариант Tr.) — на восточно-центральной, обнаруживается, что в одних случаях в них употреблены формы без падежного окончания, в других — формы на *-(e)s* тех же самых существительных, причем в одной и той же рукописи чередуются формы на *-(e)s* и без окончания. Ср., например: *in þis man time* (7056 — C, F) «во времена этого человека», *monnys hert* (340 — F, C, G, Tr) «сердце человека», *þis lamb blod* (6075 — C, F), *þat lambis blod* (6075 — G, Tr) «кровь этого ягненка» и т. д.

Это явление наблюдается не только в языковых памятниках XIII—XIV—XV вв., написанных на северных, восточно-центральных, западно-центральных и юго-западном диалектах². Как показывают официальные документы и другие языковые памятники конца XIV—XV вв., оно характерно также и для лондонского диалекта.

Употребление нейтральных к падежу форм существительных вместо форм родительного падежа в сфере выражения отношений принадлежности наблюдается в языке второй половины XIII—XIV вв. не только в единственном, но и во множественном числе. Так, вместо форм родительного падежа множественного числа *tanne*, *broðre* и т. д., употреблявшихся в начале среднеанглийского периода, стали употребляться нейтральные к падежу формы множественного числа *men*, *breðer* и т. д. Например: *þi breþer stat* (C. M., 4092) «положение твоих братьев», *gentil men children* (Trev., I, 243) «дети благородных людей» и т. д.

Аналогичным образом стали использоваться нейтральные к падежу формы с суффиксом множественного числа *-es* вместо форм родительного падежа множественного числа на *-e*: *bitwene his tweie lengest fyn-gres endes* (Trev., II, 179) «между концами его двух самых длинных пальцев» и т. п. Употребление в XIII—XIV вв. форм существительных, нейтральных к падежу, вместо форм с остаточной флексией род. падежа *-es* говорит о том, что значение последней как падежного показателя не ясно осознавалось.

Процесс разрушения родительного падежа в сфере выражения отношений принадлежности, как и в сферах других отношений, обусловил появление новых средств выражения этих отношений — предложных кон-

¹ В статье приняты следующие сокращения: C. M. — «Cursor Mundi» («The Cursor of the world»), ed. by R. Morris, («Early English text society»), parts I—VI, 57, 59, 62, 66, 68, 99, London, 1874—1892 (цифры, приводимые в тексте, обозначают строку); Trev. — «Polychronicon Ranulphi Higden, monachi Cestrensis, together with the English translations of John Trevisa and of an unknown writer of the fifteenth century» («Rerum Britannicarum medii aevi scriptores», vol. I—VIII, ed. by Ch. Babington and J. R. Lumby), London, 1865—1882 (цифры указывают: римская — том, арабская — страницу); Lay. — «Layamon's Brut or Chronicle of Britain, a poetical Semi-Saxon paraphrase of the Brut of Wace», ed. by F. Madden, vol. I—III, London, 1847 (цифры указывают: римская — том, арабская — страницу); L. S. — «Aelfric's Lives of saints», parts I—IV, ed. by W. W. Skeat («Early English text society», 76, 82, 94, 114), London, 1881—1900 (цифры указывают: римская — номер проповеди, арабская — строку); Or. — «Kings Alfred's Orosius», part I, ed. by H. Sweet («Early English text society», 79), London, 1883 (первая арабская цифра указывает страницу, вторая — строку); Bosw. — «An Anglo-Saxon dictionary based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth, edited and enlarged by T. Northcote Toller», Oxford, 1898 (арабская цифра обозначает страницу); Gen. and Ex. — «The story of Genesis and Exodus, an early English song, ed. by R. Morris» («Early English text society», 7), London, 1865 [reprinted 1895] (арабская цифра обозначает строку); Wills — «The fifty earliest English wills in the court of probate», ed. by F. G. Furnivall («Early English text society», 78), London, 1882 (первая арабская цифра указывает страницу, вторая — строку).

² В южных диалектах разрушение падежной системы существительных, а также согласующихся с ними прилагательных, адективных местоимений и артикля происходило несколько медленнее, чем в северных и центральных диалектах.

струкций с *of*. Однако предлог *of* как средство выражения грамматических отношений, передававшихся в древнеанглийском языке при помощи флексий родительного падежа, утверждается в языке лишь постепенно. В языке XIII—XIV вв. он не стал еще четким показателем грамматических отношений, выражавшихся ранее падежными флексиями, и без него могли обходиться как при передаче отношений принадлежности, так и при выражении объектных, количественно-отделительных и других отношений. Ср., например: ...*an excellent man in oure lady love* (Trev., VII, 39; в переводе XV в. по Harl. MS.: *in the luffe of our blissede lady*) «превосходный человек в любви к нашей (счастливой) госпоже»; *al ðridde dale mi lond* (Lay., I, 45) «вся третья часть моей страны», *from ðe oder dele of Englond* (Trev., II, 85) «из другой части Англии» и т. д.

Однако, в отличие от судьбы форм с остаточной флексией родительного падежа *-es* как средства выражения объектных, количественно-отделительных и других отношений¹, формы на *-es* в сфере выражения отношений принадлежности не только не исчезают, а наоборот, постепенно закрепляются в языке для передачи именно этих отношений.

Почему же формы на *-es* закрепляются в языке для выражения отношений принадлежности, исчезнув в то же время из сферы выражения всех других отношений, передававшихся родительным падежом в древнеанглийском языке? Прежде чем искать ответ на этот вопрос, рассмотрим некоторые другие изменения в системе языка в среднеанглийский период, связанные с судьбой родительного падежа.

*

В древнеанглийском языке были чрезвычайно употребительны сложные существительные определительного типа, первым компонентом которых являлась основа существительного. О степени распространенности таких сложных существительных в этом языке дает представление словарь Дж. Босворта-Т. Толлера, в котором приведено, например, свыше 100 сложных существительных, первым компонентом которых является *weorold-* (например, *weoroldcyning* «земной владыка» и т. п.), около 60 сложных существительных с первым компонентом *sae-* (*saegrund* «морское дно» и т. п.) и многие другие. Первый компонент подобных сложных слов имел обобщенное значение и характеризовал второй компонент подобно прилагательному [ср. *on saelicum grunde* (L. S., XI, 190) «на морском дне»].

Отношения, аналогичные тем, которые выражались компонентами сложных существительных рассматриваемого типа, могли также передаваться при помощи словосочетаний с существительным в родительном падеже (в этом случае, при наличии адъективного местоимения или артикля, они относились к существительному, определяемому формой родительного падежа, и согласовывались с ним в роде, числе и падеже, подобно тому, как адъективное местоимение или артикль, а также прилагательное согласовывались с последним, определяемым компонентом сложного существительного). Ср., например, *þone ilcan saes earm* (Or., 16, 30) «(этот) самый рукав моря (= морской)» — *se saeearm* (Or., 22,4) «(этот) морской рукав»; *on wintres daege* (L. S., XXXIV, 103) «в день зимы (= зимний)» — *winterdaeg* (Bosw., 1236) «зимний день» и т. д., и т. п.

Однако, в отличие от первого компонента сложных существительных, имеющего обобщенное значение, существительное в родительном падеже в словосочетании могло иметь и индивидуализированное значение, обозначая предмет или лицо (группу предметов или лиц), с

¹ Эти отношения в памятниках конца среднеанглийского — начала новоанглийского периодов уже передаются либо посредством словосочетаний с предлогом *of*, либо без него.

которым находится в тех или иных отношениях предмет, обозначенный определяемым существительным. В этом случае, при наличии адъективного местоимения или артикля, они относились к форме родительного падежа и согласовывались с ней в роде, числе и падеже: *þaes saes earm* (Og., 16,24) «рукав (этого) моря» и т. п.

Различие между компонентами указанных словосочетаний и сложных слов поддерживалось в древнеанглийском языке благодаря падежной флексии в первом (определяющем) компоненте словосочетания. На фоне грамматически оформленных существительных первый компонент сложных слов выступал как несамостоятельная языковая единица, не имеющая своего оформления как часть сложного слова, что получало отражение в слитном написании компонентов сложного слова в древнеанглийских памятниках, а в устной речи — в наличии объединяющего, главного ударения на первом компоненте и менее сильного, второстепенного — на втором¹.

С появлением же тенденции к отпадению падежных окончаний, захватившей также и сферу выражения определительных отношений, исчезло различие между первыми компонентами словосочетания и сложного существительного рассматриваемого типа; первый компонент сложного существительного (*sae-*, *weorold-* и т. д.) уже ничем не отличался от первого компонента словосочетания — формы существительного без окончания (*sae*, *weorold* и т. д.). Естественным следствием этого явилось распадение сложных существительных, первый компонент которых стал восприниматься как самостоятельное слово, подобное первому компоненту словосочетаний.

Происшедшее переосмысление компонентов сложных существительных рассматриваемого типа получило отражение в раздельном их написании в среднеанглийских памятниках, например: *bi hire weoreld kinge* (Lay., I, 270) «от ее земного владыки», *atte see ground* (С. М., 20952) «на морском дне» и т. д.

В устной речи переосмысление компонентов подобных сложных существительных как самостоятельных слов нашло отражение в появлении ровного, одинаково сильного ударения на первом и втором компонентах², подобного ударению в субстантивных словосочетаниях с формой на (*e*) *s* или с прилагательным.

Расщепление большого количества сложных существительных вследствие переосмысления их компонентов как самостоятельных слов привело к наводнению языка второй половины XIII—XIV вв. словосочетаниями, определяющий компонент которых — нейтральная к падежу форма существительного (без *-es*) — имеет обобщенное значение, выражая, подобно прилагательному, относительный или качественно-относительный признак.

Указанным словосочетаниям противостоят в языке второй половины XIII—XIV вв. словосочетания, определяющий компонент которых — форма существительного с остаточной флексией родительного падежа (*-es*) или нейтральная к падежу форма (без *-es*) — имеет индивидуализированное значение, т. е. указывает на конкретный предмет: *ðiswerldes strif* (Gen. and Ex., 2440) «страдание этого мира» и т. п.

¹ По вопросу об ударении в древнеанглийских сложных словах см., например, А. И. С м и р н и ц к и й, Древнеанглийский язык, М., 1955, стр. 61—64, 162.

² Таково ударение в подобных словосочетаниях и в современном английском языке: *world events* «мировые события», *sea storm* «морская буря» и т. п. По вопросу об ударении в словосочетаниях этого типа см.: H. S w e e t, A new English grammar, logical and historical, part I, Oxford, 1900, стр. 63, 288; O. J e s p e r s e n, A modern English grammar on historical principles, part II, vol. 1, Heidelberg, 1922, стр. 313.

Словосочетания этих двух типов не имеют последовательного и четкого оформления, которое позволило бы их во всех случаях ясно различать, поскольку определяющим компонентом не только словосочетаний первого типа, но и словосочетаний второго типа может быть нейтральная (без *-es*) к падежу форма существительного. Возможность же уточнения отношений между компонентами указанных словосочетаний при помощи форм согласования исчезает с разрушением падежной системы артикля, адъективных местоимений и прилагательных.

В этих условиях, когда в языке вследствие отмирания падежных окончаний и вызванного им расщепления сложных существительных получили большое распространение субстантивные беспредложные словосочетания с существительным в нейтральной к падежу форме, выражающим относительный или качественно-относительный признак, остаточная флексия родительного падежа (*-e*)s переосмысливается как показатель притяжательности и постепенно закрепляется в языке в этом значении.

*

Процесс переосмысления остаточной флексии родительного падежа как показателя притяжательности происходит на протяжении XIII—XIV вв. В многочисленных памятниках этого времени, написанных на разных диалектах, остаточная флексия родительного падежа *-es* (*-is*) часто уподобляется, вследствие звукового совпадения, местоименной форме *his*¹, употребление которой в это время все более ограничивается сферой выражения притяжательных отношений. Ср., например: *in Arthur his halle* (Lay., V, III, 124; в рукописи A: *in Ardures halle*) «в чертоге Артура», *Seth his lyue* (С. М., 1456 — Tr.; в рукописи G.: *Sethis lyue*) «жизнь Сета» и т. п.

Однако уподобление остаточной флексии родительного падежа *-es* (*-is*) в местоименной форме *his* было лишь частичным. В отличие от последней, соотносившейся только с существительными, обозначающими лиц мужского пола и неодушевленные предметы, постпозитивный элемент (*h*)*is* мог следовать и за существительными, обозначающими лиц женского пола, за женскими именами. Например: *...for Gwenayfer his love, woman heom leofuest* (Lay., II, 511; в рукописи A: *for Wenhaeuere lufe*) «из-за любви Венхавер, женщины для него самой дорогой» и т. п.

Подобные случаи указывают на то, что постпозитивный притяжательный элемент (*h*)*is*, не терявший своей генетической связи с формантом *-es* (*-is*) во второй половине XIII—XIV вв., имел более абстрактное значение, чем местоименная форма *his*. На то, что постпозитивный элемент (*h*)*is* имел характер скорее морфемы с абстрактным значением показателя притяжательности, чем самостоятельной лексической единицы, указывают также нередкие случаи соединения этого элемента с существительным, к которому он относится, посредством дефиса: *for abraham-is wif* (Gen. and Ex., 1181) «из-за жены Авраама».

Появление постпозитивного притяжательного элемента (*h*)*is* в XIII в. явилось следствием начавшегося переосмысления остаточной флексии родительного падежа *-es* (*-is*) в показатель притяжательности. Эта остаточная флексия — осколок старой падежной системы — в новых условиях, когда имя существительное перестает изменяться по падежам, приобретает новое содержание подобно другой, омонимичной ей остаточной флексии *-es*, которая из показателя именительного-винительного падежа множественного числа древнеанглийских существительных того же

¹ Гласный форманта *-es* (другой графический вариант *-is*) был подобен гласному местоименной формы *his* в неударном положении. Что же касается начального придыхательного, то он в неударном положении был настолько слаб, что на письме букву *h* нередко опускали.

морфологического типа в процессе разрушения падежной системы переосмысливается в показатель множественного числа существительных.

Сохранение и закрепление в языке форманта *-es* как показателя притяжательности и омонимичного ему суффикса множественного числа существительных *-es* было обусловлено потребностью формально дифференцировать в одном случае — отношения компонентов субстантивных беспредложных словосочетаний в зависимости от значения определяющего компонента (формы существительного), в другом — различия в числе.

Так, вопреки намтившейся во второй половине XIII—XIV вв. (и проявлявшейся даже в XV—XVI вв.) тенденции к употреблению форм существительных без форманта *-(e)s* для выражения притяжательных отношений и благодаря переосмыслению остаточной флексии родительного падежа *-(e)s* в показатель притяжательности, в языке закрепляются притяжательные формы на *-(e)s*, которые в начале новоанглийского периода окончательно вытесняют из сферы выражения притяжательных отношений формы существительных без форманта *-(e)s*. На долю последних в субстантивных беспредложных словосочетаниях остается лишь выражение относительного или качественно-относительного признака.

За притяжательными формами на *-(e)s* закрепляется значение индивидуализирующего выделения предмета путем указания на другой предмет (обычно лицо), с которым первый находится в притяжательных отношениях, т. е. отношения пристрастности в широком смысле (включая субъектные отношения). Например, у Шекспира: *the Diuels teeth* (*Othello*) «зубы дьявола». Ср. *It hath pleas'd the diuell drunkennesse, to giue place to the diuell wrath* (*Othello*) «Дьявольское пьянство пожелало уступить место дьявольской ярости» и т. п.

Ту же функцию выполняют притяжательные формы, когда они указывают на определенный отрезок времени, к которому относится предмет, обозначенный определяемым существительным: *the mornings eye* (*Romeo and Juliet*) «глаз утра». Ср. *these morning duties* (*Hamlet*) «эти утренние обязанности» и др.

Таким образом, многозначность древнеанглийской флексии родительного падежа, выражавшей самые различные отношения, с переосмыслением ее в показатель притяжательности сменяется однозначностью. При этом сокращается круг существительных, которые могут принимать формант *-(e)s*. Если в древнеанглийском все существительные употреблялись в форме родительного падежа, принимая то или иное окончание этого падежа, то в языке конца среднеанглийского и новоанглийского периодов в форме на *-(e)s* употребляются в основном существительные, обозначающие живые существа (примеры см. выше), реже — существительные, обозначающие неодушевленные предметы (названия стран, городов, планет и др.; например, у Шекспира: *Denmarks health* (*Hamlet*) «здоровье Дании», *the sunnes beames* (*Romeo and Juliet*) «лучи солнца» и т. п.) или отвлеченные понятия в случае их олицетворения [*Treasons tooth* (*King Lear*) «зуб измены» и т. п.], а также существительные, обозначающие какой-либо отрезок времени (примеры см. выше). Большая масса существительных отвлеченных, обозначающих качество, действие или состояние (типа *importance* «важность», *development* «развитие», *indignation* «негодование», *washing* «мытьё», *weariness* «усталость») и многие существительные, обозначающие неодушевленные предметы, лишены возможности употребляться в форме на *-(e)s*, т. е. не могут выражать притяжательные отношения из-за их лексического значения. Таким образом, употребление существительных в притяжательной форме на *-(e)s* ставится в зависимость от их значения.

С переосмыслением форманта *-(e)s* как показателя притяжательности он перестает также выражать число. В среднеанглийский период

при выражении притяжательных отношений формант притяжательности *-(e)s* начинают принимать во множественном числе несколько существительных, которые образуют формы множественного числа без суффикса множественного числа *-(e)s*: *ofer mens ill fare* (С. М., 27680) «несчастье других людей» и т. п. В таких случаях число выражается только посредством изменения корневой гласной. Что же касается основной массы существительных, образующих множественное число при помощи суффикса *-(e)s*, то выражение притяжательных отношений во множественном числе стало осуществляться их формами множественного числа.

Однако в дальнейшем, несколько веков спустя (к концу XVIII в.), формы множественного числа на *-(e)s* в словосочетаниях, выражающих притяжательные отношения, получают апострофическое оформление на письме. Появление апострофа после *-(e)s* в формах множественного числа могло явиться следствием истолкования конечного *-(e)s* как форманта, в котором совпали однозвучные показатели — суффикс множественного числа и показатель притяжательности. Такому пониманию конечного *-(e)s* в формах множественного числа могло способствовать сравнение с притяжательными формами множественного числа типа *men's*, *women's*, где показатель притяжательности сосуществует с показателем числа — чередованием корневой гласной.

Использование апострофа явилось удобным средством различия на письме в условиях отсутствия форм согласования (за исключением *this — these, that — those*) притяжательных форм и омонимичных им форм множественного числа на *-(e)s* [ср. *the boy's jokes* «шутки (этого) мальчика»; *the boys' jokes* «шутки (этих) мальчиков» и т. п.]. Этим, очевидно, объясняется то широкое распространение, которое получило апострофическое оформление в словосочетаниях, выражающих притяжательные отношения.

Указанные выше изменения, происшедшие в природе остаточной флексии родительного падежа *-(e)s* в среднеанглийский период вследствие ее переосмысления в показатель притяжательности, привели к превращению ее в формообразующий суффикс. При помощи этого суффикса образуются притяжательные формы существительных, противопоставляемые основным или исходным (без *-es*) формам, которые в субстантивных беспредложных словосочетаниях имеют обобщенное значение, выражая относительный или качественно-относительный признак. Таким образом, категория падежа с отпадением падежных окончаний в среднеанглийский период и переосмыслением остаточной флексии родительного падежа *-(e)s* как показателя притяжательности уходит в прошлое, уступая место новой грамматической категории в системе имени существительного — категории притяжательности¹.

С переосмыслением форманта *-(e)s* как показателя притяжательности он приобретает характер агглютинативной морфемы. Агглютинативность притяжательного суффикса определилась морфолого-синтаксическими условиями, в которых происходило его становление. Широкое употребление в субстантивных беспредложных словосочетаниях существительных в исходной форме для выражения относительного или качественно-относительного признака делало необходимым формальное отграничение от них тех словосочетаний, в которых передаются притяжатель-

¹ Категория притяжательности свойственна некоторым другим языкам. Так например, в русском языке под эту категорию подводятся притяжательные прилагательные. Категория притяжательности в русском языке выделяется в системе прилагательных (и местоимений), в которой противопоставляются притяжательные и относительные или качественно-относительные прилагательные (см. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л. 1947, стр. 191—192).

ные отношения. Таким средством явился формант *-(e)s*, присоединением которого к исходной форме существительного достигалась формальная дифференциация субстантивных беспредложных словосочетаний в зависимости от выражаемых ими отношений.

Осмысление притяжательного суффикса как некой «прилепы» к исходной форме существительного сказалось в уничтожении в конце среднеанглийского — начале новоанглийского периодов чередования глухих и звонких фрикативных согласных [*f — v, θ — ð, s — z*] в основе многих существительных, наблюдавшегося ранее в падежных формах. Ср. др.-англ. именительный падеж *wif, deaþ, hūs*, род. падеж *wifes, deaþes, hūses*¹, ново-англ. исходные формы *wife, death, house*, притяжательные формы *wife's, death's, house's*.

В тех случаях, когда определяющий компонент словосочетания, выражающего притяжательные отношения, имеет при себе определения (прилагательные, адъективные местоимения), этот агглютинативный формант присоединяется к существительному с относящимися к нему словами, т. е. по существу — к целой группе слов. Данное свойство рассматриваемого форманта появляется в среднеанглийский период в связи с исчезновением падежной дифференциации прилагательных, адъективных местоимений и артикля. Способность притяжательного суффикса присоединяться к целой группе слов развивается по мере упрочения связей между словами и фиксации порядка слов, что было обусловлено отмиранием морфологических средств выражения отношений между словами.

С конца среднеанглийского периода единой группой, к которой присоединяется показатель притяжательности *-(e)s*, все чаще начинает выступать существительное с относящимися к нему словами, которые являются приложением к существительному. Уже у Тревизы, наряду с обычными для него примерами типа *in the popes time þe Grete Gregory* (Трев., I, 279) «во времена папы Григория Великого», где существительное-приложение к определяющему компоненту словосочетания отделено от него определяемым (главным) компонентом и не оформляется притяжательным суффиксом, встречаются примеры, где существительное и относящееся к нему приложение выступают единой группой, к которой присоединяется показатель притяжательности. Ср. *in Nemproot þe geauntes tyme* (Трев., I, 95) «во времена Немброта-великана». В дальнейшем такие атрибутивные группы становятся все более обычными.

С развитием субстантивных беспредложных словосочетаний и упрочением связей между словами в условиях аналитического строя атрибутивные группы получают в новоанглийский период большое распространение, включая в себя различные сочетания слов вплоть до предложения. Например: *There is a sort of Oh-what-a-wicked world-this-is-and-how-I-could-do-something-to make-it-better-and-nobler expression about Montmorency* (J. K. Jerome, 'Three men in a boat'). При выражении притяжательных отношений к подобным атрибутивным группам присоединяется показатель притяжательности *'s*. Ср. *Whæt do you call him's sôn*² «сын этого, как вы его там называете».

Таким образом, способность притяжательного суффикса присоединяться к группе слов обусловлена его агглютинативным характером и аналитическим строем английского языка, для которого характерно наличие особенно тесной связи между словами, дающей возможность группе слов, семантически тесно связанных между собой, выступать в предложении подобно отдельному слову.

¹ В положении между гласными были звонкие фрикативные согласные.

² См. G. O. Curme, A grammar of the English language, vol. III, Boston — London, 1931, стр. 78.

*

В исторических грамматиках английского языка судьба родительного падежа существительного противопоставляется судьбе родительного падежа древнеанглийских личных местоимений. В действительности же формы родительного падежа личных местоимений прошли тот же путь развития, что и формы родительного падежа существительных, — от многозначности падежных форм до однозначности выразителей притяжательных отношений.

В древнеанглийском языке формы родительного падежа личных местоимений, а также вопросительно-относительных и указательных местоимений употреблялись для выражения в основном тех же самых отношений, что и формы родительного падежа существительных, с которыми они соотносились. Разрушение родительного падежа существительных и переосмысление остаточной флексии этого падежа *-(e)s* в показатель притяжательности не могли не отразиться на судьбе форм родительного падежа указанных местоимений, соотносившихся с формами родительного падежа существительных. Параллельно тому, как формы с остаточной флексией родительного падежа *-(e)s* в сфере выражения притяжательных отношений переосмыслились как притяжательные формы и исчезали из сфер выражения других отношений, передававшихся в древнеанглийском при помощи родительного падежа, соотносившиеся с ними формы родительного падежа личных и вопросительно-относительных местоимений все более замыкались в сфере выражения притяжательных отношений, превращаясь в притяжательные формы этих местоимений [*my (mine)* «мой», *thy (thine)* «твой», *his* «его», *her* «ее», *its*¹ «его», *our* «наш», *your* «ваш», *their* «их», *whose* «чей»].

С переосмыслением форманта *-(e)s* как показателя притяжательности *-(e)s* проникает также в систему формирующихся в это же время (XIII—XIV вв.) притяжательных форм личных местоимений.

В распространении суффикса *-(e)s* на притяжательные формы личных местоимений проявилась общность функций притяжательных форм личных местоимений и существительных. Закрепление этого суффикса за притяжательными формами личных местоимений в их самостоятельном (без определяемого существительного) употреблении (за исключением притяжательных форм личных местоимений 1-го и 3-го лица единственного числа *mine* и *his*) привело к образованию второго ряда притяжательных форм личных местоимений: (*mine, his*), *hers, its, ours, yours, theirs*.

Что же касается форм родительного падежа указательных местоимений, то они в среднеанглийский период совсем исчезают, не получив дальнейшего развития, так как в новых условиях, возникших вследствие разрушения родительного падежа в системе имени и развития категории притяжательности, надобность в особых формах указательных местоимений, отличных от их исходных форм, отпадает. Функцию индивидуализирующего выделения предмета принимают на себя их исходные формы.

Таким образом, развившаяся к концу среднеанглийского периода категория притяжательности включила в себя притяжательные формы существительных и местоимений (личных и вопросительно-относительных), назначением которых является индивидуализирующее выделение предмета путем указания на другой предмет (обычно лицо), с которым первый находится в отношениях принадлежности в широком смысле.

¹ Притяжательная местоименная форма *its* появилась в начале новоанглийского периода в результате присоединения показателя притяжательности *-s* к местоименной форме *it*, употреблявшейся во второй половине среднеанглийского — начале новоанглийского периодов вместо *his* для выражения притяжательных отношений.

В состав притяжательных форм вошли также притяжательные формы некоторых неопределенных местоимений (*one's, another's, other's*), появление которых относится к среднеанглийскому периоду. В дальнейшем их состав пополнился за счет образования притяжательных форм других неопределенных, а также отрицательных и взаимных местоимений, сформировавшихся в языке в новоанглийский период — *somebody's, anybody's, everybody's, someone's, anyone's, everyone's, nobody's, no one's, each other's, one another's*. Эти формы образовались путем присоединения притяжательного суффикса к исходным формам местоимений.

*

Персозначение остаточной флексии родительного падежа *-(e)s* в притяжательный суффикс обусловило появление в конце среднеанглийского периода и широкое распространение в новоанглийский период случаев самостоятельного употребления притяжательных форм существительных в качестве названия церкви, местечка, города, общины, округа, горы и т. п. Ср., например: *in the chirche yerd of Seynt Donstones* (Wills, 21, 22) «на кладбище церкви св. Дунстана»; *Saint Helens* «город св. Елены» (также городской район, вершина горы) и т. п.¹

Притяжательная форма существительного, отрываясь от определяемого слова и теряя его, становится также названием частного дома, указывая на его владельца [ср. у Шекспира: *at the dukes* (Othello) «во дворце дожа»], а также магазина, аптеки и др.

В подобных случаях формообразующий притяжательный суффикс имеет тенденцию к перерастанию в словообразовательный суффикс², при помощи которого образуются названия городов, церквей и пр. Пока представляется возможным говорить лишь о тенденции, но не о законченном процессе перерастания формообразующего суффикса в словообразовательный, так как между такими названиями городов, церквей и пр. и притяжательными формами в их обычном употреблении с определяемым существительным в современном английском языке существует самая непосредственная связь, которая проявляется в том, что наряду с формами на *'s* без определяемого существительного в качестве названия церкви, города, магазина и др. широко употребляются притяжательные формы с определяемым существительным: *at the butcher's* и *at the butcher's shop* «в лавке мясника» и т. д.

Притяжательные формы (нарицательных существительных) развиваются также в другом направлении. Они могут терять характерное для них притяжательное значение, приобретая относительное или качественно-относительное, характерное для прилагательных и существительных в исходной форме в субстантивных беспредложных словосочетаниях. Ср., например, у Шекспира: *I'll break your knaves pate* (The Comedy of Errors) «Я разобью твою плутовскую башку»; в современном языке: *He knew they were reaching out their woman's hands to him* (J. London, Martin Eden) «Он знал, что они простирают свои женские руки к нему».

В отличие от притяжательных форм в их функциях индивидуализирующего выделения предмета, имеющих в качестве эквивалента сочетание предлога *of* с существительным [*the (a) woman's hands = the hands of the (a) woman* «руки (данной или некой) женщины» и т. п.], притяжательные

¹ См. «Webster's new international dictionary of the English language», London, 1936, стр. 3119—3120. Образование подобных названий городов и др. в английском языке очень напоминает образование названий городов и поселений из притяжательных прилагательных на *-ov* и *-ин* в русском языке (Романов, Борисов, Юрьев, Царицын и т. п.) (см. В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 197).

² См. Б. А. Ильин, Современный английский язык, 2-е изд., М., 1948, стр. 100—101.

формы в случаях, подобных приведенным выше, где они имеют относительное или качественно-относительное значение, не могут быть заменены предложно-именным сочетанием (нельзя сказать: *their hands of a (the) woman* и т. п.), так как именной компонент такого сочетания имеет субстантивное значение, обозначая лицо, к которому относится предмет, выраженный определяемым существительным.

Развитие относительного или качественно-относительного значения наблюдается также у притяжательных форм существительных, обозначающих отрезки времени. Например, в современном языке: *his day's work* «его дневная работа». Здесь также притяжательная форма не может быть замещена предложно-именным сочетанием. В функции же индивидуализирующего выделения предмета та же притяжательная форма может иметь в качестве эквивалента предложно-именное сочетание (*this day's events = the events of this day* «события этого дня»).

Приобретая относительное или качественно-относительное значение, притяжательная форма теряет способность иметь при себе артикль или какой-нибудь другой определитель, подобно исходной форме существительного, выступающей в субстантивных беспредложных словосочетаниях в относительном или качественно-относительном значении [стоящий впереди определитель в таких случаях относится к последнему (главному) компоненту словосочетания]. Однако развитие относительного (качественно-относительного) значения в притяжательных формах существительных нарицательных не влечет за собой перехода их в разряд прилагательных¹, подобно тому, как относительное (качественно-относительное) значение исходной формы существительного в субстантивных беспредложных словосочетаниях не делает ее прилагательным. Указанное значение притяжательных форм, как и исходных форм существительных, является производным от их основного значения и реализуется только в определенных синтаксических условиях — в субстантивных беспредложных словосочетаниях, где они могут замещать прилагательные.

*

В заключение необходимо отметить следующее. Языковые процессы, действовавшие в системе имени в древне- и среднеанглийский периоды, привели не к сокращению числа падежей существительного, а к полному их разрушению. Оставшиеся от древней флективной системы существительного окончания им.-вин. падежа множественного числа древнеанглийских существительных с основой на *-o* (*-as > -es*) и родительного падежа единственного числа существительных того же морфологического типа (*-es*) пережили ломку падежной системы потому, что в новых условиях, когда имя существительное перестает изменяться по падежам, они получают применение: первое — как показатель множественного числа, второе — как показатель притяжательности. При помощи первого суффикса стали образовываться формы множественного числа существительных, противопоставляемые формам единственного числа или сходным формам, при помощи второго — притяжательные формы, противопоставляемые исходным формам, которые в субстантивных беспредложных словосочетаниях имеют обобщенное значение, выражая относительный или качественно-относительный признак.

¹ В русском языке развитие качественности в притяжательных формах, связанное с устранением в них оттенка личной принадлежности, достигается переводом их в разряд полных прилагательных (ср. *отцов* и *отцовский*, *женитов* и *женитовский* и т. п.). (см. В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 193).

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. И. РЕВЗИН

СТРУКТУРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, СЕМАНТИКА И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВА

Редакция журнала «Вопросы языкознания» правильно поступила, открыв дискуссию по вопросам, связанным со структуральными методами в языкознании. Сейчас действительно назрела необходимость в спокойном, деловом обсуждении вопроса о структурализме как научном направлении в лингвистике, как определенной совокупности научно доказанных положений, с одной стороны, и гипотез, поисков и полемических крайностей — с другой. Я позволю себе остановиться лишь на круге вопросов, связанных с изучением слова, так как, по-видимому, именно отношение структуралистов (в особенности американских, взглядами которых я и ограничусь) к этой, бесспорно, весьма важной категории языка отталкивает от их учения многих наших лингвистов.

Такое ограничение темы позволит, с другой стороны, коснуться полемики между структуралистами и семантиками, взгляды которых в некоторых отношениях сходны со взглядами структуралистов, а в некоторых отношениях прямо противоположны им. При этом я постараюсь сконцентрировать рассмотрение всех этих проблем вокруг одного, как мне кажется, кардинального вопроса лингвистического метода, а именно — вопроса о возможности применения математических приемов и средств в лингвистике.

1. Из истории изучения проблемы слова

В каждой науке наступает определенная эпоха, когда за периодом бурного развития, освоения все нового и нового материала, за рядом великолепных открытий возникает необходимость как бы вернуться назад и подвергнуть анализу самые основы этой науки, т. е. те фундаментальные понятия, которыми она оперирует. Наиболее характерно в этом отношении развитие математики — науки, с которой лингвистика во многом сходна, а в последнее время явно сближается теоретически (в первую очередь в области математической логики) и практически (в решении проблемы механического перевода). Вот как описывает положение в математике к началу XIX в. проф. А. Я. Хинчин:

«Это была своеобразная картина: ни одно из самых основных понятий анализа не было определено сколько-нибудь точно, вопрос о том, что такое бесконечно малая величина, подвергался бесчисленным дискуссиям, с точки зрения логического обоснования совершенно бесплодным, так как в большинстве случаев ни одна из спорящих сторон не могла предложить ничего, кроме смутных, ни к чему не обязывающих образов»¹.

¹ А. Я. Х и н ч и н, Краткий курс математического анализа, 2-е изд., М., 1955, стр. 613.

В дальнейшем ученые осознали, что без прочного логического фундамента математика как дедуктивная наука успешно развиваться не может. Огромные достижения современной математики, вплоть до создания электронных вычислительных машин, были бы немыслимы без той ревизии логических основ науки, которая была проведена в XIX в.

Аналогичное состояние переживает и лингвистика. Увлеченные огромными достижениями исторического языкознания, связанными с применением сравнительно-исторического метода, ученые XIX в. почти не задумывались над точным значением терминов, таких, например, как «звук речи», «морфема», «слово», «предложение». Ф. де Соссюр был совершенно прав, говоря, что «до сих пор в области языка всегда довольствовались операциями над единицами, как следует не определенными»¹. Только глубокий переворот в языкознании, произведенный в первую очередь именно работами Ф. де Соссюра, заставил лингвистов по-настоящему задуматься над основными понятиями, которыми они оперируют. И тут оказалось, что определение такого понятия, как «слово», связано со значительными трудностями, которые порой кажутся непреодолимыми.

Вряд ли необходимо напоминать все многочисленные определения слова, которые предлагались². Важно лишь отметить, что, с одной стороны, в соответствующих работах подчеркивается исключительная важность слова как лингвистической категории. Характерно в этом отношении следующее высказывание А. Росетти: «Слово — единственная лингвистическая реальность (la seule réalité linguistique), на которой может основываться классификация языков всего мира»³. С другой стороны, легко показать недостаточность, расплывчатость, чрезмерную сложность предложенных определений. В них, кроме того, как правило, присутствуют элементы, которые сами нуждаются в определении и поэтому не могут браться в качестве исходных постулатов. Для примера можно указать на понятие «семантического поля» (Feld, Zeichengebiet, Zeigfeld, feldfähig), присутствующее в некоторых определениях («Wörter sind die *phonematisch geprägten und feldfähigen Lautzeichen* einer Sprache»; разрядка моя. — И. Р.)⁴.

Некоторые критерии, присутствующие в определении слова, например фонетический критерий (support phonique), на важности которого настаивает большинство исследователей проблемы, оказываются для многих языков иллюзорными. Особенно показательны в этом отношении мнения многих французских фонетистов. [Ср. два высказывания Пасси: «Нет никаких материальных факторов, которые указывали бы на границу между словами (la limite des mots)» и «Невозможно дать фонетическое определение логической единице, называемой словом»⁵]. Правда, Балли указывает на «некоторые фонологические факторы независимости слов в сочетаниях»⁶, но вряд ли «некоторые факторы» можно вводить в определение.

¹ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, перевод с франц., М., 1933, стр. 111.

² См., например, по этому поводу: В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947; см. также: А. Rossetti, Le mot, 2-е éd., Copenhague — Bucuresti, 1947; J. L a z i u s, La définition du mot, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 5, 1945, стр. 32—37; А. N o r e e n — Н. W. P o l l a k, Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache, Halle, 1923, стр. 433—436 и т. д.

³ А. Rossetti, Sur la définition du «mot», «Bull. linguistique», XII, 1944, стр. 16.

⁴ См. К. В ü h l e r, Sprachtheorie, Jena, 1934, стр. 297—298; см. также J. L a z i u s, указ. соч., стр. 37.

⁵ P. P a s s y, Les sons du français, Paris, 1907, стр. 41 и 43.

⁶ Ш. Б а л л и, Общая лингвистика и вопросы французского языка, перевод с франц., М., 1955, стр. 354—360.

Наконец, один из наиболее важных критериев определения слова — соотношенность одного слова с одним понятием — вступает в противоречие с фактами выражения единого понятия словосочетанием (ср. нем. *wilde Rosen* и русск. *шиповник*) и, наоборот, с фактами выражения двух или более понятий одним сложным словом (ср. в немецком языке: *Wohnungsbauprogramm* — программа жилищного строительства).

Все эти и ряд других трудностей привели к тому, что многие лингвисты предпочитают вообще не давать определения слова. Так, в сущности, поступил акад. В. В. Виноградов, который в своей работе «Русский язык» предпочел дать о п и с а н и е особенностей слова, а не его о п р е д е л е н и е.

В этих условиях возникла необходимость или выдвинуть критерии, общеобязательные для всех языков, или же предпринять попытку построить лингвистическую систему, обходящуюся без этой категории. Наиболее интересной из попыток первого рода было учение о слове А. И. Смирницкого, а по второму пути пошли, как известно, структуралисты. Общим для обоих этих путей было лишь одно: осознание того факта, что языкознание должно быть в конце концов превращено в стройную логическую систему, в которой делаются все выводы из однажды принятых постулатов.

В качестве исходного постулата А. И. Смирницкий взял положение, что определение слова должно быть действительно для всех слов всех языков («если „слово“ будет совершенно разными единицами в разных языках, то почему вообще эти разные единицы можно называть словом?»¹).

Как следующий шаг необходимо было найти критерий, применимый для всех слов всех языков. А. И. Смирницкий и выдвинул к р и т е р и й ц е л ь н о о ф о р м л е н н о с т и, исходя из которого он блестяще построил свою теорию, являющуюся образцом строгой и последовательной системы. К сожалению, нельзя согласиться с ее исходным постулатом: критерий цельнооформленности, как и всякий другой критерий, не может быть применен ко всем словам всех языков². Одно из двух: или необходимо заменить проблему определения слова проблемой исчерпывающего описания всех противоречивых фактов конкретных языков, или же необходимо заранее идти на то, что некоторые единицы конкретных языков, обычно рассматриваемые как слова, таковыми не являются (об этом смотри ниже, раздел 4).

2. Структуральная лингвистика и проблема слова

У нас появилось в последнее время немало работ, посвященных структурализму. Авторы одних ставили своей целью исключительно «опровержение» и «разоблачение» структурализма³ и не утруждали себя разбором аргументации структуралистов. Другие же работы, несмотря на резко отрицательное отношение их авторов к идеям структуралистов и допущенные в связи с этим полемические крайности, объективно сыграли определенную положительную роль, так как, во-первых, они довольно подробно познакомили нашу лингвистическую общественность с этим новым направлением, а во-вторых, указали на его некоторые недостатки

¹ А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «отдельности слова»), сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952, стр. 183 (сноска).

² В своих замечаниях «По поводу рецензии К. А. Левковской на книгу М. Д. Степановой» (ВЯ, 1955, № 5) я привел некоторые факты немецкого языка, противоречащие критерию цельнооформленности.

³ См., например, Е. Д. Панфилов, Против реакционной методологии современного структурализма, «Уч. зап. [1-го Ленингр. пед. ин-та иностр. языков]», Новая серия, вып. 1, 1954.

и слабости¹. Надо признать, что в этих работах содержится ряд правильных критических замечаний по поводу отношения структуралистов к слову. Но следует заметить, что в свете описанной выше ситуации отказ структуралистов от специального выделения категории слова по крайней мере объясним. Если лингвист намерен строить лингвистическую систему строго дедуктивно, поставив перед собой цель — добиться логической строгости и прозрачности, то категория слова (по крайней мере в том виде, как она описывалась до сих пор) явно грозит нарушить всю систему. Ведь в основу всякой логически стройной системы должны быть положены некоторые простые аксиомы и определения, на базе которых доказываются положения соответствующей науки.

Структуралисты показали, что легко могут быть даны строго логические определения таких, например, единиц, как фонема, морфема и синтагма (если понимать под последней кратчайшее объединение морфем²). Эти определения кажутся некоторым нашим лингвистам бессодержательными, тавтологичными, бессмысленными. Так, определение морфемы как «минимальной формы» («минимальным x является x , который не состоит из меньшего x »³) и подобные ему представляются М. М. Гухман «бесконечной игрой в дефиниции»⁴. Дело в том, что мы, лингвисты, не привыкли к такой логической строгости, какая требуется, например, в современной математике. Поэтому нам могут показаться тавтологичными многие формулировки этой науки, например следующие определения «рефлексивности»: «для всех x выполняется требование, что x содержит x »⁵ — или знаменитая теорема Больцано-Вейерштрасса: «всякое ограниченное множество имеет предел» (последнее положение доказывается именно как теорема, и это доказательство не так уж просто).

Структуралисты — первые, кто понял и показал, какую пользу может принести математическая строгость при обсуждении лингвистических проблем. Поэтому надо прямо сказать, что если мы намерены серьезно подойти к обсуждению проблем и нужд современного языкознания, необходимо раз и навсегда отказаться от предвзятого убеждения, что формализация (или, как иногда говорят, алгебраизация) лингвистики, сближение с математикой, применение приемов логического мышления, выработанных и отшлифованных в математике, представляет собой проявление идеализма, позитивизма и других смертных грехов.

Поставив перед собой задачу изучения соотношений, имеющих место между элементами языка, представленными звуками и знаками, видя именно в этих соотношениях систему языка, структуралисты ввели в качестве основных ряд исходных понятий, которые берутся как постулаты и служат основой для дальнейшего исследования.

Ясно, что такая сложная и противоречивая единица, как слово (как

¹ См., например: О. С. А х м а н о в а, О методе лингвистического исследования у американских структуралистов, ВЯ, 1952, № 5; е е же, Основные направления лингвистического структурализма, М., 1955; М. М. Г у х м а н, Лингвистический механицизм Л. Блумфильда и дескриптивная лингвистика, «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, М., 1954.

² Иногда в работах структуралистов с целью подчеркнуть то или иное обстоятельство употребляются другие термины, но мы здесь не можем останавливаться на терминологической стороне вопроса.

³ L. B l o o m f i e l d, A set of postulates for the science of language, «Language», vol. II, № 3, 1926, стр. 155.

⁴ М. М. Г у х м а н, указ. соч., стр. 188.

⁵ См., например, Г. Б и р к г о ф, Теория структур, перевод с англ., М., 1952, стр. 16.

оно выступает в самых различных языках, т. е. то, что мы на основании сложившегося в языке словоупотребления обычно называем словом), не находит места в такой системе. Даже когда структуралисты употребляют термин «слово» наряду с терминами «морфема» и т. п., то речь идет не о «слове» в обычном понимании, а о формальной категории, определяемой обычным структуральным путем. Так, Блок и Трейджер, исходя из ранее введенных понятий «свободная и связанная форма», определяют слово как «минимальную свободную форму»¹. По поводу этого определения О. С. Ахманова верно заметила, что под него можно подвести и языковые единицы, не являющиеся словом. Я не могу лишь согласиться с тем, что здесь термин «слово» употребляется «произвольно, неправильно, научно не терминовано»². От термина требуется лишь строгая определенность, значение термина может даже сильно отличаться от значения соответствующего слова в обиходном языке (для примера можно указать на явные различия в употреблении слова «линия» в обиходном языке и в математике: математики рассматривают как «линию» и объекты, весьма ощутительно отличающиеся от нашего наглядного представления³).

Вопрос, по-моему, заключается в другом, а именно: стоит ли вводить такое определение слова? Пожалуй, нет. Здесь можно было бы обойтись другим термином, а термин «слово» оставить для тех случаев, когда мы говорим не только о ф о р м е, но и з н а ч е н и и д а н н о й ф о р м ы. Но этого структуралисты не могут сделать потому, что большинство из них, как известно, принципиально исключают рассмотрение значения из лингвистического исследования.

3. Форма слова и значение формы слова

Здесь мы подошли к принципу, который является источником многих достижений структуралистов и одновременно источником их слабостей. Можно ли исследовать лингвистический факт, не прибегая к значению? До работ структуралистов любой бы ответил на этот вопрос отрицательно. Однако структуралисты показали, что фонемы и морфемы могут выделяться путем эксперимента, путем изучения «распределения» («distribution») этих элементов в связанных текстах. Это замечательное достижение. На этом основании, однако, многие структуралисты (особенно крайнюю позицию занимает в этом вопросе Харрис⁴) сделали вывод, что значение вообще не важно для языковедческого исследования. Это, конечно, неверно. Один из видных американских структуралистов — Ч. К. Фриз (между прочим, автор превосходной книги «Структура английского языка»⁵) — правильно отметил, что предпосылкой изучения любых единиц языка является наличие у этих единиц значения в языке (другое дело, исходим ли мы из этого значения или из других критериев). Нужно, однако, лишь уточнить сам термин «значение» и отделить лингвистическое от нелингвистического. Приведя различные примеры употребления слова «значение» («meaning»), Фриз выделяет в качестве двух видов «лингвистического значения» а) лексическое значение (lexical meaning) и б) «грамматическое значение» (structural meaning) и правильно указывает, что мы всегда изучаем формы как «сигналы значений» («signals of meaning»)⁶.

¹ В. Б л о к и G. L. Т р а г е r, Outline of linguistic analysis, Baltimore, Md., 1942, стр. 51.

² О. С. А х м а н о в а, О методе лингвистического исследования..., стр. 100.

³ См. А. С. П а р х о м е н к о, Что такое линия, М., 1954.

⁴ Z. S. H a r r i s, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951.

⁵ Ch. C. F r i e s, The structure of English. An introduction to the construction of English sentences, New York, 1952.

⁶ Ch. C. F r i e s, Meaning and linguistic analysis, «Language», vol. 30, № 1 (part 1), 1954.

Но вряд ли можно на этом остановиться, поскольку не только форма, но и «лингвистическое значение» формы являются лингвистическими фактами, и язык является системой, в которой производятся операции не только над формами, но и над значениями. Это соображение становится особенно важным, когда мы подходим к изучению слова. Когда, полностью соблюдая все принципы чисто структурального анализа, мы установили все формы слова в данном конкретном языке, то мы не можем не поставить вопроса о значении самой формы слова. Без этого нельзя выявить до конца системные отношения в языке, ведь значение формы слова отражает те структурные отношения, в которые слово может вступать в языковой системе.

Правда, подобное изучение затрудняется тем немаловажным обстоятельством, что связь между формой слова и его грамматическим значением (значением формы) во многих языках носит случайный характер. Необходимо оговорить, что термин «случайный» употреблен здесь в том смысле, в каком говорят о «случайном событии» математики: «Если в обыденных представлениях, в житейской практике считается, что случайные события представляют собой нечто крайне редкое, идущее вразрез установившемуся порядку вещей, закономерному развитию событий, то в теории вероятностей мы откажемся от этих представлений»¹. Случайное событие — это одно из ряда возможных событий, в котором какое-нибудь одно событие обязательно должно осуществиться. «...Возможно не только простое констатирование случайности события А, но и количественная оценка возможности его появления»².

Переведенная на язык лингвистики, подобная ситуация знакома каждому языковеду, изучавшему проблемы грамматической многозначности или омонимии (с формальной точки зрения оба понятия совпадают). При определенном условии, а именно, если какая-то форма слова (например, в немецком или английском языке) употреблена в предложении, произойдет определенное событие, т. е. эта форма будет иметь какое-то грамматическое значение, причем имеется какая-то вероятность p , что это будет, например, значение существительного. Немецкое *das* может иметь значение детерминатива в именительном или винительном падеже и значение относительного или указательного местоимения в тех же падежах; *sie* может иметь грамматическое значение личного местоимения единственного числа в именительном и винительном падежах и множественного числа в именительном и винительном падежах, причем имеется определенная вероятность $p(p_1, p_2 \dots p_m)$, что во взятом наудачу конкретном предложении мы обнаружим то или иное значение. Подсчитать эти вероятности — дело лингвистической статистики, мы можем пока лишь предположительно утверждать, например, что вероятность для *sie* иметь значение множественного числа будет несколько большей.

Итак, мы видим, что связь между формой слова и значением этой формы действительно носит случайный (стохастический) характер, причем имеются средства изучения ее, которые отнюдь не противоречат методическим принципам структуралистов. Поэтому, как бы ни интересно было изучение форм слов вне связи со значением, структуралисты вряд ли правильно поступают, сужая свои возможности. Результаты, добытые методами строго формального анализа, можно и нужно использовать для дальнейшего анализа значения.

¹ Б. В. Гнеденко, Курс теории вероятностей, 2-е изд., М., 1954, стр. 13.

² Там же, стр. 16.

4. Изучение значения и семантика Карнапа

На возможности, не используемые американскими структуралистами в области изучения значения, указал недавно Бар-Хиллел¹. Имя этого ученого знакомо каждому, кто сталкивался с проблемами машинного перевода, в теории которого труды Бар-Хиллела играют немаловажную роль². Поэтому его мнение о позиции структуралистов в достаточной степени интересно. Бар-Хиллел отмечает, что нежелание структуралистов заниматься изучением значения вполне понятно: слишком много субъективности, поверхностности было в прошлом при изучении значения, слишком недостаточна была соответствующая научная база. Однако, продолжает Бар-Хиллел, после работ варшавско-львовской школы в 30-х годах (Г. Котарбинского, А. Тарского, К. Айдукевича и др.) появилась возможность изучения значения средствами семантики (имеется в виду не семасиология, а направление в логике, которое связано прежде всего с именем Карнапа и используется при изучении языка, как и всякой системы знаков или сигналов, методами математической логики).

Резко отрицательное отношение американских структуралистов к этим идеям, выраженное в ответной статье Н. Хомского³, дело самих структуралистов. Но нам необходимо определить наше собственное отношение к методу семантиков. Надо сказать, что семантике Карнапа в нашей критике повезло еще меньше, чем структуралистам. Так же, как и кибернетика, семантические идеи Карнапа были провозглашены идеализмом, реакционным бредом. Не было сделано и попытки отделить позитивистские построения «общей семантики» («general semantics») ⁴ или «семантической философии», или даже ненаучные пропагандистские рассуждения людей, мало знакомых с сущностью языка⁵, от объективно ценной научной методики таких ученых, как Карнап.

Основное достижение Карнапа — конструирование абстрактного языка, являющегося хорошим средством научного исследования, — часто объявляется чем-то ненаучным, идеалистическим, чем-то, что уводит в сторону от изучения реального языка. Это, конечно, заблуждение. Каждая наука оперирует абстракциями, и лингвистика не представляет здесь исключения (достаточно вспомнить о такой абстракции, как фонема). Вопрос надо ставить совершенно иначе. Нужно выяснить, насколько вновь построенный язык учитывает наиболее общие для всех или большинства языков особенности.

Тут необходимо отметить, что Карнап строит свою семантическую систему, имея в виду в первую очередь не потребности языкознания, а интересы исследования логических основ математики и родственных ей дисциплин. «Логический синтаксис» и семантика Карнапа являются прежде всего построениями в области математической логики. Не следует поэтому ожидать, что построенная Карнапом система целиком подойдет для изучения чисто лингвистических фактов. Тем не менее методика Карнапа и его последователей является чрезвычайно важной и интересной для языковедов. Бар-Хиллел в указанной статье считает, что принципы Карнапа

¹ Y. Bar-Hillel, Logical syntax and semantics, «Language», vol. 30, № 2 (part 1), 1954.

² См. Т. Н. Молошная, В. А. Пурто, И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода, ВЯ, 1957, № 1.

³ N. Chomsky, Logical syntax and semantics, «Language», vol. 31, № 1 (part 1), 1955.

⁴ Работы этого направления, печатающиеся в журнале «ЕТС» (A review of general semantics, Chicago), представлены в сборнике «Language, meaning and maturity» (ed. by S. I. Nakawala, New York, 1954).

⁵ См., например, S. Chase, Power of words, New York, 1954.

могут быть применены не только для изучения грамматического значения, но и для исследования лексического значения (например, для изучения синонимов). Грамматические значения форм слов, как я попытаюсь показать в следующем разделе, действительно поддаются такому исследованию, что же касается лексических значений, то здесь, по-видимому, встретятся весьма значительные трудности. Однако и здесь принципы Карнапа могут оказать существенную помощь. Ограничусь лишь одним вопросом.

Карнап показывает, что, разбирая какую-то языковую систему (произвольно построенную или конкретно данную), нельзя пользоваться самой этой системой как средством логического исследования ее самой. «Если мы исследуем, анализируем и описываем какой-то язык L_1 , то мы нуждаемся в языке L_2 , чтобы сформулировать результаты нашего исследования языка L_1 или правила использования языка L_1 . В этом случае мы называем L_1 языком-объектом (the object language), а L_2 «мета-языком» (the metalanguage)¹. Этот принцип должен сыграть важную роль в лингвистическом исследовании, например, в вопросе определения слова. Говоря о том, что звуковой комплекс *слово* выражает понятие «слово», мы стоим перед серьезной логической трудностью, так как понятие «слово» не может не отождествляться нами с теми ассоциациями, с которыми звуковой комплекс *слово* связан в русском языке. Это мешает точно определить границы научного понятия «слово». Еще пример: если мы говорим о том, что *wilde Rosen* в немецком языке выражает единое понятие, мы делаем это прежде всего потому, что мета-языком выступает у нас здесь русский язык, где соответствующее понятие оформлено единым звуковым комплексом *шиповник*. Если бы мы взяли в качестве мета-языка английский язык, то мы бы считали, что здесь не одно, а два понятия, так как в этом нашем «мета-языке» мы имеем также два звуковых комплекса *wild* и *roses* (*wild roses*).

Поэтому, строя определение и изучая значения слова, мы, при наличии мета-языка, будем учитывать, что словом может называться звуковой комплекс, который выражает идею, соответствующую одной и только одной единице в мета-языке, и имеет грамматическое значение, также зафиксированное в мета-языке, т. е. однозначно определенное.

Такая формулировка предполагает, конечно, абстракцию, при которой берутся черты не всех единиц, обычно называемых «словами» (это невозможно!), а наиболее характерных в этом отношении единиц. Некоторые образования, например нем. *Wohnungsbauprogramm*, придется рассматривать не как слова, а как словосочетания, что, впрочем, целиком соответствует синтаксическому характеру связи между определяемыми и определяющими элементами внутри таких образований. С другой стороны, так называемые «служебные слова», на которые первая часть предложенного определения не распространяется, должны будут рассматриваться не как «слова», а как своего рода «свободные морфемы», что также отражает некоторые действительные, к тому же очень важные, соотношения в языке (ср. вхождение таких свободных морфем в состав так называемого «фонетического слова»). Все это, конечно, лишь предварительные замечания, да и сама формулировка нуждается в уточнении. Мне важно было лишь указать на возможности, открываемые использованием некоторых идей семантики.

Конструирование мета-языка, в котором однозначно зафиксированы основные понятия («основной понятийный фонд»), не только поможет

¹ R. Carnap, Introduction to semantics, Cambridge, Mass., 1948, стр. 3—4.

решению данной проблемы, но может сыграть важную роль при создании семантических (информационных и переводных) машин. Однако первым шагом должно было бы быть применение идей семантики к рассмотрению значений форм слова. В следующем разделе мы увидим, как это может быть достигнуто.

5. Значения форм слова и аксиоматический синтаксис

Всякая аксиоматическая система состоит из какого-то количества не нуждающихся в доказательстве формул-аксиом, к которым при помощи ряда правил преобразования могут быть сведены все остальные формулы. В виде такой системы можно изложить и синтаксис определенного языка¹.

Возьмем для примера следующее грамматически простое немецкое предложение: *Der Wind zieht seine Hosen an* (Гейне, Возвращение)².

Предположим теперь, что мы знаем значения всех присутствующих здесь форм слов (а также «свободных морфем»), но ничего не знаем о правилах синтаксиса. Выпишем все значения и введем соответствующие сокращения:

- Der* — артикль (детерминатив) ед. числа им. падежа ($D_{\text{Sing}}^{\text{Nom}}$), или ед. числа род. падежа³ ($D_{\text{Sing}}^{\text{Gen}}$), или мн. числа род. падежа ($D_{\text{Pl}}^{\text{Gen}}$);
- Wind* — существительное ед. числа им. падежа ($S_{\text{Sing}}^{\text{Nom}}$), или дат. падежа ($S_{\text{Sing}}^{\text{Dat}}$); или вин. падежа ($S_{\text{Sing}}^{\text{Akk}}$);
- zieht* — глагол ед. числа (V_{Sing});
- seine* — прилагательное, т. е. атрибут к существительному (A^s) и одновременно детерминатив мн. числа им. падежа ($D_{\text{Pl}}^{\text{Nom}}$), или вин. падежа ($D_{\text{Pl}}^{\text{Akk}}$), или ед. числа им. падежа ($D_{\text{Sing}}^{\text{Nom}}$), или вин. падежа ($D_{\text{Sing}}^{\text{Akk}}$);
- Hosen* — существительное мн. числа им. падежа ($S_{\text{Pl}}^{\text{Nom}}$), или род. падежа ($S_{\text{Pl}}^{\text{Gen}}$), или дат. падежа ($S_{\text{Pl}}^{\text{Dat}}$), или вин. падежа ($S_{\text{Pl}}^{\text{Akk}}$);
- an* — мы будем в целях удобства рассматривать как «свободную морфему» с грамматическим значением атрибута к глаголу (A^v) или предлог (Pr).

Таким образом, имеется известная неопределенность в отношении грамматического значения почти каждого слова (и каждой «свободной морфемы»), а с другой стороны, мы предполагаем, что обязательно каждая форма слова (или «свободная морфема») имеет какое-то значение. Изложенная ситуация допускает формализацию в терминах математической логики. Для этого надо воспользоваться разделительной связью (или ... или), или, как ее называют, д и з ъ ю н к ц и е й и объединительной связью (и. . . и), или, как ее называют, к о н њ ю н к ц и е й.

Под дизъюнкцией (ее обозначают знаком V) понимают такое объединение элементов, при котором истинен хотя бы один элемент (наш способ определения истинности мы дадим несколько ниже): X V Y — истинно, если истинно X или Y, или оба.

Под конъюнкцией (ее обозначают знаком &) понимают такое объединение, которое истинно, если истинны все элементы: X & Y — истинно, если истинно X и истинно Y⁴.

¹ Аналогичные идеи развиваются в следующей статье: F. W. H a g w o o d, *Axiomatic syntax*, «Language», vol. 31, № 3 (part 1), 1955.

² Вырванная из контекста стихотворения, эта строка может показаться лексически бессмысленной, но это как раз очень важно для чисто формального анализа.

³ Значение рода здесь не важно.

⁴ См. Д. Г и л ь б е р т и В. А к к е р м а н, *Основы теоретической логики* перевод с нем., М., 1947, гл. 1.

Теперь можно получить следующее легко оправдываемое правило: в дизъюнкции может быть отброшен ложный член. Если обозначить ложный член буквой F, то имеет место следующая эквивалентность:

$$FVX \text{ — эквивалентно } X \text{ I}$$

Теперь мы можем записать наше исходное предложение в виде формулы:

$$\begin{aligned} & (D_{\text{Sing}}^{\text{Nom}} V D_{\text{Sing}}^{\text{Gen}} V D_{\text{Pl}}^{\text{Gen}}) \& (S_{\text{Sing}}^{\text{Nom}} V S_{\text{Sing}}^{\text{Dat}} V D_{\text{Sing}}^{\text{Akk}}) \& V_{\text{Sing}} \& \\ & A^S \& (D_{\text{Sing}}^{\text{Nom}} V D_{\text{Sing}}^{\text{Akk}} V D_{\text{Pl}}^{\text{Nom}} V D_{\text{Pl}}^{\text{Akk}}) \& \\ & (S_{\text{Pl}}^{\text{Nom}} V S_{\text{Pl}}^{\text{Gen}} V S_{\text{Pl}}^{\text{Dat}} V S_{\text{Pl}}^{\text{Akk}}) (AVVPr) \end{aligned}$$

Истинность элементов будем определять по правилам типа:

1) Если перед каким-то S стоял элемент D с теми же индексами, то этот элемент S истинен (а D в дальнейшем не учитывается);

2) Если элемент, названный нами A^S , имеет те же индексы, что и S, стоящее после него, то этот элемент A^S истинен.³ (Аналогичное правило, но с учетом порядка элементов дается для A^V .)

Если ни одно из правил не может быть применено к какому-то элементу, то этот элемент ложен.

Теперь постулируем следующее довольно очевидное свойство: В всякий элемент E_k , принадлежащий к какому-нибудь классу (к), содержит в себе все атрибуты этого класса (A_k) («содержит в себе все» означает: содержит и первый, и второй и т. д. атрибуты). Из этого постулата можно получить в виде теоремы следующее положение: конъюнкция атрибута A_k с элементом E_k эквивалентна (с точки зрения истинности или ложности) этому элементу E_k , т. е.

$$A_k \& E_k \text{ эквивалентно } E_k. \quad \text{II}$$

Доказательство: Если E_k ложно, то ложна, очевидно, и вся конъюнкция, так как она содержит один ложный элемент. Если же E_k истинно, то и все, что содержится в E_k , в том числе и A_k , истинно. Эквивалентность доказана¹.

На основании соотношений I и II и правил определения истинности можно привести нашу исходную формулу к виду —

$$S_{\text{Sing}}^N \& V_{\text{Sing}} \& (S_{\text{Pl}}^N V S_{\text{Pl}}^{\text{Akk}}).$$

Введем теперь (в числе других правил, полное описание которых выходит за рамки данной статьи) правило преобразования, по которому эта формула эквивалентна следующей:

$$S_{\text{Sing}}^N \& V_{\text{Sing}} \& S_{\text{Pl}}^{\text{Akk}}.$$

Формулы, подобные последней [в наиболее общем виде она сводится к схеме (субъект) & (предикат) & (прямое дополнение)], мы будем считать аксиомами нашей системы. Вернувшись к исходной формуле, мы можем оставить в ней только истинные значения и тем самым получить полную информацию о функции каждого слова (а если нужно, и каждой «сво-

¹ Лингвистический смысл этого утверждения понятен: все словосочетание (в смысле известного определения акад. В. В. Виноградова) играет в предложении ту же роль, что и его опорное слово.

бодной морфемы») в данном предложении. Неопределенность, выраженная дизъюнкцией¹, оказалась снятой. Ясно, какую важную роль может сыграть такая формализация (при условии полного проведения ее) для машинного перевода, при котором в машину можно вложить полный каталог значений всех форм слов (и «свободных морфем») и формальные правила того типа, как они приведены выше.

Важно, однако, отметить другое: построение такого аксиоматического синтаксиса требует обращения не просто к форме слова, а к значениям форм слова; хотя бы поэтому данную категорию никак нельзя исключать из лингвистического исследования.

*

Таким образом, в области изучения форм и только форм структурализм может оказать существенную пользу. Применение структуральных методов обеспечивает здесь ту математическую строгость и точность, в которой так нуждается современное языкознание. При переходе от изучения форм к изучению значений (что необходимо при исследовании, например, таких проблем, как проблема слова) методы структурального анализа оказываются недостаточными. Однако существуют средства, которые обеспечивают необходимую строгость и точность и при изучении значений. Это примененный семантиками к языку аппарат математической логики.

¹ Точнее: неопределенность зависит от количества дизъюнктивных членов и вероятности (см. выше, раздел 3) для каждого дизъюнктивного члена оказаться истинным в произвольно выбранном предложении. Однако этот вопрос, связанный с применением математической теории информации и введением меры грамматической информации, нуждается в особом рассмотрении.

С. Л. РУБИНШТЕЙН

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ, РЕЧИ И МЫШЛЕНИИ

Вопрос о соотношении мышления и языка, мышления и речи принадлежит к числу наиболее сложных и дискуссионных. Трудность решения этой проблемы связана в значительной мере с тем, что при постановке ее в одних случаях имеется в виду мышление как процесс, как деятельность, в других — мысль как продукт этой деятельности; в одних случаях имеется в виду язык, в других — речь. Соотношение языка (или речи) и мышления берется то в функциональном, то в генетическом плане, причем в первом случае имеются в виду способы функционирования уже сформировавшегося мышления и роль, которую при этом играют язык и речь, во втором случае вопрос заключается в том, являются ли язык и речь необходимыми условиями возникновения мышления в ходе исторического развития мышления у человечества или в ходе индивидуального развития у ребенка. Понятно, что если принимается во внимание главным образом одна из сторон проблемы, а решение относится затем ко всей проблеме в целом без дифференциации различных ее аспектов, то решение уже в силу этого неизбежно оказывается не однозначным. Разнобой еще увеличивается в силу различия теоретических позиций, с которых к этой проблеме подходят¹.

Для того чтобы однозначно поставить и решить вопрос о соотношении мышления (и мысли) и его языковой оболочки, надо прежде всего различить и правильно соотносить язык и речь. Лишь рассматривая язык и речь в их различии и взаимосвязи, можно разрешить вопрос об отношении каждого из них и их обоих вместе к мышлению. Различие языка и речи было, как известно, введено в языковедение еще Ф. де Соссюром. Он различал «la langue» и «le langage»². Мы не можем принять общей концепции Соссюра, прежде всего того, что и речь и язык оказываются в его представлении в конечном счете психологическими образованиями — с той лишь разницей, что язык относится к социальной психологии, а речь — к индивидуальной.

¹ Продемонстрировать этот разнобой может, например, «симпозиум», посвященный речи и мышлению, в котором приняли участие выдающиеся зарубежные ученые, занимающиеся указанными проблемами (см. «Acta psychologica», vol. X, № 1—2, Amsterdam, 1954). В своем заключительном слове организатор этого «симпозиума» Ревелл был вынужден признать, что никаких общих итогов подвести нельзя, приходится лишь констатировать полнейший разнобой мнений по вопросу о языке и мышлении.

² См. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1922 (русский перевод: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933. См. особенно гл. III — «Объект лингвистики» и гл. IV — «Лингвистика языка и лингвистика речи»). О языке и речи см. также A. N. Gardiner, The theory of speech and language, Oxford, 1932 (2-d ed.—Oxford, 1951). В советской литературе вопрос о взаимоотношении языка и речи получил оригинальное и интересное освещение в работах акад. Л. В. Щербы (см. Л. В. Щерба, О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языковедении, ИАН СССР, серия VII—Отд-ние обществ. наук, 1931, № 1 и др. работы). О соотношении языка и речи см. также А. И. Смирницкий, Объективность существования языка, М., 1954.

Неприемлемы и основания, по которым Соссюр различал язык и речь, поскольку они строились на противопоставлении общественного и индивидуального¹.

Вместе с тем самое различие языка и речи — вопреки высказывавшимся в последнее время взглядам² — должно быть сохранено. Вопрос заключается лишь в том, как, по каким линиям их следует разграничивать. Различая речь и язык, надо вместе с тем и соотносить их. Прежде всего, нельзя, на наш взгляд, изъять из речи и отнести к языку все языковые образования, оставляя за речью лишь деятельность как таковую, лишённую всякого языкового содержания. Язык — это национальный по своему характеру, данным народом общественно обработанный словарный состав и грамматический строй, выражающийся в определенных правилах (закономерностях) сочетания слов в предложения. Сами же конкретные предложения, которые непрерывно высказываются людьми устно и формулируются письменно, относятся не к языку, а к речи: они образуют языковой материал, в котором только реально и существует язык. Из этого языкового материала лингвист извлекает составляющий данный язык словарный состав и грамматику. Но ни один язык (русский, украинский, французский и т. д.) не есть совокупность всего сказанного и написанного на этом языке. Отожествлять язык — предмет языкознания с совокупностью всего сказанного и написанного на данном языке, всего высказанного людьми, на нем говорящими, — значило бы отнести к языкознанию все содержание литературы и науки, растворить в языкознании содержание всех наук. А это явно бессмысленно. Грамматика как часть языкознания изучает общие закономерности сочетания слов, но она не охватывает все возможные и реально встречающиеся закономерные их сочетания³.

Речь — это использование средств языка индивидом сообразно с задачами, которые перед ним стоят, и условиями, в которых эти задачи возникают; этот процесс совершается в виде речевой деятельности и выражается в речевых образованиях, посредством которых совершается общение; язык же — та совокупность средств, которые речь при этом использует. Речевые «произведения» или образования (речь как текст в отличие от деятельности по его созданию) могут относиться к любой области знания. Однако речь как таковая — все же языковое (хотя и не лингвистическое) явление. Лингвистическая задача при его изучении заключается в раскрытии законов языка (грамматики и т. д.), согласно которым оно строится. Мы различаем языковые явления и лингвистические категории. Лингвистические категории возникают в результате изучения языковых явлений.

Это различение языка и речи лежит целиком в лингвистическом плане. Его никак нельзя смешивать (как это сплошь и рядом делается) с соотношением лингвистического и психологического подхода к языку — речи. Психологический подход возможен только в отношении речи; при этом сама речь — это прежде всего лингвистическая, а не психологическая

¹ Формулировки де Соссюра по этому вопросу, впрочем, не однозначны; так, на стр. 38 русского перевода он пишет: «Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального». Наряду с этим на стр. 34 мы находим правильное положение: «У речевой деятельности есть и индивидуальная и социальная сторона, причем нельзя понять одну без другой».

² См., например, Ф. Н. Шемьякин, Вопросы языка и мышления в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию, сб. «Учение И. П. Павлова и философские вопросы психологии», М., 1952.

³ Это различение было проведено в диссертации Ф. А. Сохина (см. Ф. А. Сохин, Начальные этапы овладения ребенком грамматическим строем языка, Автореф. канд. диссерт., М., 1955).

категория. Психологический подход к языку вообще неприменим и ведет к неправомерной психологизации языковедческих явлений. Проблема речи с точки зрения психологии — это прежде всего проблема общения посредством языка (и проблема мышления при овладении речью и использовании ее). Психологическое изучение развития речи раскрывает, как в процессе общения и обучения ребенок овладевает языком. Когда, как это делается, например, в книге А. Н. Гвоздева¹, исследование сводится к инвентаризации грамматических форм, которые на каждом этапе могут быть зарегистрированы у ребенка, языковедческий подход применяется к самому формированию речи (в частности, ее грамматического строя) у ребенка. Однако при таком языковедческом подходе происходит лишь поэтапная инвентаризация языковых средств; самый процесс формирования речи как таковой при этом неизбежно выпадает. Изучение собственно формирования речи у ребенка требует психологического подхода, психологического исследования и заключается оно в раскрытии того, как в процессе общения (и обучения) ребенок осваивает родной язык, овладевает лексическими и грамматическими обобщениями, создавая в целях общения из языкового материала соответствующие речевые «произведения».

Проведя различие между языком и речью², можно теперь поставить вопрос о соотношении как языка, так и речи с мышлением³. Первым,

¹ См. А. Н. Г в о з д е в, Формирование у ребенка грамматического строя русского языка, М., 1949.

² Различая язык и речь, надо и слово рассматривать в двойном качестве — как единицу языка и как единицу речи. Как единица речи слово, в зависимости от условий его употребления и от контекста, имеет изменяющееся значение. Как единица языка слово имеет относительно устойчивое — «словарное» значение или ряд друг с другом связанных значений (см. О. С. А х м а н о в а, К вопросу о слове в языке и речи, «Докл. и сообщ. Филол. фак-та [МГУ]», вып. 5, 1948).

³ Это различие языка и речи необходимо учитывать и при решении вопроса о соотношении логики и грамматики. Пользуясь любым языком, человек может выразить свои мысли. Но то, что в одном языке непосредственно зафиксировано в грамматических категориях, в грамматическом строе языка, в других языках выражается при помощи лексических средств. Это выражение логических соотношений при помощи лексических средств представляет собой операцию, совершающуюся в плане речи при помощи речевых произведений. Спор между теми, которые утверждают, что существует полная эквивалентность логики и грамматики в любом языке, и теми, кто такую всеобщую эквивалентность отрицает, нередко обусловлен неоднозначной постановкой вопроса, неясностью в вопросе о соотношении языка и речи. Можно, вообще говоря, согласиться с Серрюсом (см. Ch. S e r r u s, Le parallélisme logico-grammatical, Paris, 1933) в том, что логические категории мысли не совпадают с грамматическими категориями языка (стр. IX и ряд последующих). Из этого, однако, не следует, что для речи (le langage) соотношение мыслей остается чем-то внешним, поскольку речь — это «комбинирование слов и их отношений по правилам игры» (стр. 185 той же книги), не имеющее ничего общего с логикой выражаемых речью мыслей. Правы критикующие Серрюса Д. П. Горский и Н. Г. Комлев, которые утверждают, что средствами языка можно выразить всевозможные логические соотношения мыслей (см. Д. П. Горский, Н. Г. Комлев, К вопросу о соотношении логики и грамматики, ВФ, 1953, № 6). Доказывая это положение, они в своей статье оперируют не только грамматическими, но и лексическими категориями и имеют по существу дело не с языком как таковым, а с речью. Однако из того, что средствами языка в речи можно выразить логические соотношения мыслей, никак не следует, что «система грамматических категорий языка всегда полностью соответствует системе логических категорий», как утверждается в той же статье (стр. 68). Так неадекватное понимание соотношений языка и речи делает невозможным не только решение, но и надлежащую постановку вопроса, связанного с соотношениями языка, речи и мышления.

Средствами языка можно в речи выразить все логические отношения, но из этого не следует непосредственное соответствие или совпадение логического строя мысли с грамматическим строем языка как такового. С другой стороны, несмотря на это несовпадение, средствами разных языков в принципе можно в речи выразить отношения, фиксируемые логикой. Тем не менее соотношение логики и грамматики, логического строя мысли и грамматического строя языка в различных языках не одинаково. В грамматическом строе разных языков непосредственно фиксировано разное логиче-

естественно, встает вопрос о мышлении и языке. Язык, созданный народом и воспринимаемый каждым к нему принадлежащим индивидом в качестве некой общественно-отработанной и от него независимой «объективной реальности», является необходимой языковой (в широком смысле слова) базой мышления. Без нее отвлеченное мышление невозможно.

Язык, слово является необходимым условием возникновения и существования мышления в собственном специфическом смысле. Лишь с появлением слова, позволяющего отвлечь от вещи то или иное свойство и объективизировать представление или понятие о нем в слове, зафиксировав таким образом продукт анализа, впервые появляются абстрагируемые от вещей «идеальные» объекты мышления, как «теоретической» деятельности, а отсюда — и сама эта деятельность. Применение анализа, синтеза, обобщения к этим «объектам», которые сами являются продуктами анализа, синтеза, обобщения, позволяет затем выйти за пределы исходного чувственного содержания в сферу абстрактного мышления и раскрыть стороны и свойства бытия, недоступные непосредственно чувственному восприятию. Будучи прежде всего условием возникновения мышления, язык, слово является вместе с тем необходимой материальной оболочкой мысли, ее непосредственной действительностью для других и для нас самих. У человека со сформировавшимся речевым мышлением фактически всякое мышление происходит на языковой базе. В самом процессе своего становления — даже еще до того, как оно породило и оформило определенные мысли, мышление совершается на основе грамматической схемы предложения как высказывание чего-то о чем-то¹. Самые же мысли, формирующиеся в процессе мышления, возникают на базе слов, мыслятся посредством слов.

Неверно было бы, однако, на этом основании утверждать единство языка и мышления как формы и содержания, если при этом понимать, что мышление сводится к содержанию языка, т. е. к значениям слова, а форма мысли — к языку, к языковым формам. Мышление имеет свою форму — логическую, а язык свое содержание — значение слов, их фиксированную семантику, которая не изменяется в результате каждого мыслительного акта индивида, а образует устойчивую основу, из которой исходит и посредством которой осуществляется его мыслительная деятельность.

Семантика языка, значения слов, входящих в его словарный состав, представляют собой фиксированный итог предшествующей работы мысли народа. Каждый язык, фиксируя в значениях слов результаты познания действительности, по-своему их анализирует, по-своему синтезирует выделенные анализом в значении слов стороны действительности, по-своему их дифференцирует и обобщает — в зависимости от условий, в которых этот язык формировался.

Различие в степени обобщения и дифференциации явлений в системе языка выступает особенно резко, если сравнить языки, сформировавшиеся в очень разнородных условиях, и взять в них слова, непосредственно обозначающие эти условия. Так, например, в языке саамов, как известно, имеется 11 слов, обозначающих холод, 20 разных слов для обозначения

свое содержание. Это не значит, что люди, говорящие на разных языках, не могут выразить все многообразие логических отношений, это значит только, что в зависимости от того, из логики мысли непосредственно зафиксировано в грамматике языка, различные задачи падают на долю речи.

¹ На такой вывод толкает проведенное под нашим руководством исследование Л. И. Каплан (см. Л. И. Каплан, Психологический анализ понимания научного текста. Автореф. канд. диссерт., М., 1953); в пользу этого положения говорят и данные Г. Ревеша (G. Révész), которые он сообщает в своей статье «Denken und Sprechen» (см. «Acta psychologica», vol. X, № 1—2).

различных форм и сортов льда, 41 слово для обозначения снега. Различие в степени дифференциации явлений, фиксируемой в словарном составе языка, выступает в данном случае особенно рельефно. Изучая ход исторического развития познания мира человеком, зафиксированный в языках разных народов, можно — мы полагаем — выявить различия не только в степени, но и в формах, в с т р у к т у р е обобщения, характерных для разных языков. При этом различия в форме и в степени обобщения, запечатлевшиеся в разных языках, не означают, конечно, что народы, у которых в ходе их развития сложилась та или иная система языка, не могут, пользуясь им, мыслить сейчас сообразно логическому строю современного научного знания. Им только нужно формулировать в речи результаты своего мышления, продвинувшегося на более высокую ступень, чем та, которая зафиксирована в системе значений их языка.

Различия в способе анализирования и синтезирования явлений выступают и на ряде более частных примеров. Так, некоторые языки, например русский, фиксируют в самом словарном составе различия речи и языка, обозначая их разными словами; в немецком же языке имеются слова *Sprache*, *sprechen* и *Rede*. Из них первое означает язык, второе и третье относятся к речи, но одно из них (*sprechen*) значит собственно говорить, а другое обозначает речь в смысле выступления (речь, произнесенную таким-то, по такому-то случаю). Русский язык не дифференцирует в своем словарном составе речь как единичное выступление и речь как деятельность, использующую язык для сообщения, выражающуюся в неограниченном числе отдельных речей — выступлений и отдельных высказываний, но зато фиксирует в самом языке выше приведенное различие речи и языка. В русском и немецком языках отразились различные линии анализа языковых явлений. Совершенно очевидно, что это различие языков не исключает возможности высказать те же мысли и провести ту же точку зрения на соотношение языка и речи на немецком языке, какая здесь была высказана на русском. Но в русском языке различие языка и речи зафиксировано в языке, а на немецком языке его надо провести в речи. Таким образом, конкретное соотношение языка и речи по отношению к разным языкам складывается по-разному.

Значение слов разных языков по-разному фиксирует и синтезирование явлений. Так, например, русское слово *рука* объединяет, синтезирует в единое целое то, что французский, немецкий и английский языки анализируют, расчлняя на две составные части: *bras — main* и *Arm — Hand*. Это опять-таки, конечно, не исключает возможности, говоря на русском языке, дифференцировать разные части руки, а говоря на французском, немецком или английском, высказать нечто о руке в целом. Но то, что в одном случае зафиксировано в самом языке, в других — надо средствами языка осуществить в речи¹.

То же можно сказать и об обобщении. В русском и английском языках фиксировано, например, обобщенное понимание познавательной деятельности: *знать* (по-английски *know*) и *понимать* (по-английски *understand*). В немецком и французском языках нет таких обобщенных обозначений знания и понимания. Вместо этого для обозначения знания во французском языке имеются слова *savoir* и *connaitre*, а в немецком — *wissen* и *kennen*. Из этих пар слов первые означают знание в смысле позна-

¹ Стоит отметить, что и числовой ряд анализируется и синтезируется в значениях слов в каждом языке по-своему. Так, например, число 95 по-русски — *девяносто пять* (т. е. $90 + 5$), по-немецки — *fünf und neunzig* (т. е. $5 + 90$), по-французски — *quatre-vingt quinze* (т. е. $4 \times 20 + 15$). Таким образом, одно и то же число выражено на разных языках разной системой словесных значений, при одном и том же понятийном содержании.

ния, а вторые — в смысле знакомства. Подобно этому, в немецком языке нет слова, которое по своей обобщенности соответствовало бы русскому обобщенному *понимать* (французскому *comprendre* и английскому *understand*). Вместо него в немецком языке имеются лишь более частные — *verstehen* и *begreifen*. Из них первое означает понимание с оттенком — уловить смысл, второе — постичь. Это опять-таки, само собой разумеется, не значит, что нельзя, пользуясь любым из этих языков, сформулировать ту же теорию познания, высказать те же мысли о природе знания и понимания, как в обобщенном, так и в дифференцированном их понимании. Но то обобщение и ту дифференциацию, которые в одном языке зафиксированы в самом словарном составе, в другом языке надо сформулировать в речи, пользуясь средствами языка и результатами дополнительной работы мысли. На базе различных языков, в которых зафиксированы некоторые итоги анализа и синтеза, дифференциации и обобщения, требуется разная дополнительная работа мысли, формулируемой в речи.

Примеры, подобные вышеприведенным, можно умножать без конца, но мы не станем этого делать. Важен здесь лишь общий вывод: в семантическом отношении язык — это определенная, в ходе исторического развития народа фиксируемая система анализа, синтеза, обобщения явлений. Овладевая в процессе обучения родным языком, ребенок в умственном отношении делает именно это приобретение — он осваивает определенную систему анализа, синтеза и обобщения явлений окружающей его мира¹.

В языке — в отличие от речи — заключен относительно фиксированный результат познавательной работы предшествующих поколений, результат предшествующей работы мысли с фиксированной в нем системой анализа, синтеза и обобщения явлений. Мышление человека не ограничено отложившимися в языке результатами анализа, синтеза и обобщениями явлений действительности, фиксированными в системе языка. Опираясь на них, мышление людей продолжает анализировать, синтезировать и обобщать, непрерывно углубляя эту работу и оформляя результаты ее в речи.

Совершаясь на базе языка, мысль формируется в речи. Мысль не существует без языковой оболочки, которую она получает в речи. Однако мышление и речь не совпадают. Говорить — еще не значит мыслить. (Это банальная истина, которая слишком часто подтверждается жизнью.) Мыслить — это значит познавать; говорить — это значит общаться. Мышление предполагает речь; речь предполагает работу мысли: речевое общение посредством языка — это обмен мыслями для взаимопонимания. Когда человек мыслит, он использует языковой материал и мысль его формируется, отдираясь в речевые формулировки, но задача, которую мышление разрешает, — это задача познавательная. Познавательная работа над мыслями, облеченными в речевую форму, отлична от работы над самой речью, над текстом, выражающим эти мысли. Работа над текстом, над речью — это отработка языковой оболочки мыслей для превращения последних в объекты осуществляемого средствами языка речевого общения.

В этой связи решается и вопрос о «функциях» речи. Рушится концеп-

¹ Безнадежна, таким образом, попытка представителей современного семантического идеализма, как и всех их предшественников (номиналистов и пр.), свести мышление к языку или к речи — к совокупности слов и предложений, а эти последние — к лишнему смысловому содержанию знакам и их сочетаниям. Нельзя свести мысль к языку и, таким образом, отделаться от нее, потому что в самом языке мы опять-таки находим мысль; в нем заключено познавательное содержание.

ция (сформулированная особенно остро К. Бюлером)¹, согласно которой у речи несколько, по крайней мере две равноправные функции: 1) функция обозначения (или *Darstellung*) вообще — семантическая функция и 2) коммуникативная функция — функция общения². У речи одна функция, одно назначение — служить средством общения. Но речевое общение — общение посредством языка — специфично; специфика его заключается в том, что это общение мыслями; связь речи с мышлением — не особая функция речи, а выражение специфической природы общения, осуществляемого посредством речи. С другой стороны, у мышления одна «функция», одно назначение — познание бытия; связь его с речью, с языком не прибавляет мышлению новую «функцию», а выражает специфику человеческого мышления как общественно обусловленного явления и создает новые условия для мыслительной деятельности.

¹ Изложение учения К. Бюлера о функциях речи см. в следующих его работах: К. В ü h l e r, *Über den Begriff der sprachlichen Darstellung*, «Psychologische Forschung», Bd. III, Heft 3, Berlin, 1923; е г о ж е, *Die Symbolik der Sprache*, «Kantstudien», Bd. XXX, Heft 3—4, Berlin, 1928; е г о ж е, *Zur Grundlegungen der Sprachpsychologie*, в кн. «VIIIth International congress of psychology», Groningen, 1927; е г о ж е, *Die Krise der Psychologie*, Jena, 1927 (2-е Aufl. — 1929) (см. в этой книге специальную главу, посвященную речи); е г о ж е, *Sprachtheorie. Die Darstellungs — funktion der Sprache*, Jena, 1934 (основной труд автора) и др.

² В современной советской лингвистической литературе эта точка зрения представлена у Чикобава (см. А. С. Ч и к о б а в а, *Учение И. В. Сталина о языке как общественном явлении*, сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина» [М.], 1950; см. особенно стр. 47—50).

В. Н. КОМИССАРОВ

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТОНИМА

(О соотношении логического и языкового в семасиологии)

Проблема соотношения логических и языковых категорий является одной из наиболее сложных в языкознании. В той или иной форме она возникает при рассмотрении самых разнообразных вопросов как в области грамматического строя, так и в области словарного состава языка. Решение этой проблемы имеет особенно большое значение для раздела языкознания, изучающего словарные единицы языка со стороны их лексического (в отличие от грамматического) значения. Именно в данной области лексические и языковые проблемы так тесно переплетены, что опасность их смешения весьма велика. Сложность соотношения логического и языкового в явлениях, изучаемых семасиологией, является в значительной степени причиной недостаточной разработанности некоторых основных семасиологических проблем. Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса о соотношении логического и языкового в связи с решением одной из таких проблем — проблемы определения антонима.

*

Традиционно антонимы определяются как слова с противоположным значением. Поскольку речь идет о характеристике лексического значения слов, необходимо сначала сделать несколько замечаний о характере этого значения. Разумеется, данный вопрос будет рассматриваться здесь лишь в пределах, необходимых для постановки вопроса об антонимии.

В наиболее общем плане значение слова можно определить как определенную форму обобщенного отражения какой-то части объективного мира, какого-то «кусочка» действительности¹. Помимо общего ответа на вопрос, что такое лексическое значение слова, необходимо еще уточнить, какие моменты определяют качественную характеристику каждого отдельного значения. Прежде всего необходимо подчеркнуть следующее: поскольку значение слова отражает какой-то «кусочек» действительности, естественно, что каждое отдельное значение отличается от других значений в первую очередь тем, что оно отражает именно этот, а не иной «кусочек» действительности.

Являясь о б о б щ е н н ы м отражением действительности, значение слова отражает предметы и явления реального мира через какую-то совокупность признаков, общих для определенной группы предметов. Поэтому для характеристики конкретного значения важно не только то, какие

¹ Понятие «объективный мир», разумеется, охватывает также все виды объективно существующих связей между предметами и явлениями реальной действительности, в том числе между языковыми явлениями.

предметы или явления оно отражает, но и какие признаки отражаемого в нем обобщены¹.

Вышеуказанные моменты могут обуславливать наличие в значении слова определенных качеств. Например, особенности отражаемой реальности, обобщенные в значении английского слова *tree* «дерево», обуславливают наличие в этом значении признака единичности, определяющего существование у слова с подобным значением единственного и множественного числа, возможность сочетания его с неопределенным артиклем и т. д.

Формы обобщенного отражения отдельных групп предметов и явлений, подобные вышеуказанным, в логике обозначаются термином «понятия». Понятия характеризуются со стороны их объема (совокупности предметов, мыслимых в данном понятии) и со стороны содержания (совокупности существенных признаков предмета, обобщенных в понятии). При этом понятия, как и другие формы мысли, рассматриваются в логике как общечеловеческие, наднациональные формы или способы отражения мира.

В круг вопросов, изучаемых семасиологией, разумеется, не могут входить любые подобные наднациональные категории. В качестве одного из разделов науки о языке семасиология рассматривает лишь такие формы обобщенного отражения, которые являются составной частью лексических единиц (слов) какого-то конкретного национального языка. В то же время, с точки зрения логики, все формы обобщенного отражения — как являющиеся частью системы языка, так и не входящие в язык (хотя и выраженные в речи на базе языка²), одинаково попадают в разряд понятий.

Всякое понятие возникает только на базе языка, но далеко не всякое выражение понятия является частью языковой структуры. Возьмем понятие, выражаемое следующим словосочетанием: *высокий дом на крутом берегу реки*. Это понятие, разумеется, не существует вне материального выражения, но последнее, хотя и созданное средствами языка, представляет собой единицу речи, а не самого языка. Конкретное содержание такой единицы также является обобщенным отражением какого-то «кусочка» действительности, но изучение этого обобщенного отражения как единого целого лежит за пределами семасиологии.

Говоря о лексическом значении слова как о предмете семасиологии, мы имеем в виду только ту форму обобщенного отражения «кусочка» действительности, которая выражена звучанием одного слова. Последнее обстоятельство оказывает большое влияние на характер обобщенного отражения, являющегося лексическим значением слова. Лексическое значение слова, как и все слово в целом, является частью общей системы языка, развивающейся по своим внутренним законам. Различные части этой системы взаимообусловлены и влияют друг на друга. Поэтому, в частности, и лексическое значение слова формируется в определенной зависимости от всех других имеющихся в языке лексических значений слов, с которыми оно образует единую семантическую систему³. Зависимость от этой системы качественно отличает лексическое значение слова от тех форм обобщенного отражения действительности, которые не имеют однословного выражения.

¹ В дальнейшем изложении мы будем использовать для обозначения этих моментов термины «понятийный момент» или «понятийная сторона значения»; «предметная сторона», «предметная соотнесенность» или «предметный момент».

² Термины «речь» и «язык» употребляются в статье в том же значении, в каком они употребляются в работе А. И. Смирницкого «Объективность существования языка» (М., 1954).

³ По-видимому, в семантическую систему языка, помимо значений, выраженных одним словом, входят и значения устойчивых словосочетаний. Но этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Благодаря существованию этой зависимости стдельное лексическое значение слова может иметь особенности, не обусловленные непосредственно предметным или понятийным моментами. Так, например, значение английского слова *high* «высокий» должно обобщать соответствующие признаки всех предметов, обладающих сравнительно большой протяженностью по вертикали, т. е. высотой. Но оказывается, что из обобщенного отражения, выражаемого словом *high*, выпадает целая группа «предметов», обладающих такими качествами: слово *high* не употребляется для обозначения физической «высоты» человека. Невозможность употребления слова *high* для обозначения роста человека нельзя объяснить никакими особенностями предметной или понятийной сторон значения слова. Это тем более очевидно, что в среднеанглийском языке значение указанного слова не обладало такой особенностью, которая отсутствует и в значении русского слова *высокий*. Интересно, что сопоставление значений существительных *height* и *высота* выявляет обратное соотношение. Значение русского слова *высота* не включает в себя мысль о вертикальных размерах человека, а значение английского слова *height* не имеет таких ограничений. Слово является единицей конкретного национального языка не только по своей звуковой форме и грамматическим особенностям, но и благодаря языковой обусловленности своего лексического значения.

Семантическая система языка играет важную роль в формировании и становлении отдельного лексического значения слова. Определенное обобщенное отражение «кусочка» действительности может закрепиться за словом в качестве его значения только в том случае, если это отражение будет существовать как языковое явление, т. е. если слово будет регулярно воспроизводиться в общественном употреблении для выражения именно этого обобщенного отражения.

Поскольку слово воспроизводится не изолированно, а в сочетании с другими словами, возможность и характер такого воспроизведения непосредственно зависит от отношений, которые устанавливаются между значением такого слова и значениями других слов языка.

*

Переходя к рассмотрению вопроса о сущности антонимии, отметим, что хотя научно-лингвистическое осмысление этого явления связано со значительными трудностями, само существование в языке слов-антонимов ясно осознается и не может быть подвергнуто сомнению. В дальнейшем изложении речь будет идти о словах, которые обычно относят к антонимам, и наша задача будет заключаться в выяснении семантических особенностей, оправдывающих выделение таких слов в особую группу.

В связи с тем, что обычно при рассмотрении семасиологических проблем оперируют термином «понятие», при анализе сущности антонимии неизбежны экскурсы в область логики.

В лингвистической литературе замечания по вопросу о сущности антонимов весьма скудны. Подавляющее большинство авторов не делает никаких попыток вскрыть сущность антонимии, выяснить, что такое «противоположное значение». Обычно дается традиционное определение, в котором говорится, что антонимы — это слова с противоположным значением, а затем приводится ряд слов, являющихся, по мнению автора, антонимами¹. При этом в таких списках

¹ Именно так рассматривают данный вопрос многие советские исследователи. См., например: А. Н. Г о з д е в, Очерки по стилистике русского языка, М., 1952; В. А. И л ь и ш, Современный английский язык, М., 1948; М. А. С о л о н и н о, Ан-

имеются обычно слова с совершенно различной семантической характеристикой¹.

Авторы многочисленных работ, в которых делаются попытки раскрыть особенности лексического значения слов-антонимов, обычно оперируют исключительно логическими категориями. Антонимы рассматриваются ими как слова, которые выделяются лишь в связи с особенностями выражаемых ими понятий. Для таких работ характерно следующее определение антонимов: «Антонимы — это слова с противоположным значением, т. е. слова, выражающие полярные понятия»². При этом под «полярными» (или «контрастными») понятиями обычно понимаются понятия, являющиеся крайними точками в качественном родовом ряду; например, понятия «белый» и «черный» являются крайними точками в ряду понятий, выражающих признак ахроматического цвета. Развивая эту мысль, автор интересной статьи об антонимах в русском языке М. Д. Лесник пишет: «Не все понятия могут иметь контрастное себе, напр. *голубой, серый*, не являясь двумя крайними точками в одном родовом ряду, в данном случае цвета не получают антонимов»³.

Наиболее полный анализ понятий, выражаемых словами, которые обычно относят к антонимам, содержится в предисловии к словарю синонимов Вэбстера. Авторы этого предисловия приходят к заключению, что антонимами следует считать слова, выражающие особый тип понятий⁴, которые в логике обычно именуется «несовместимыми понятиями».

При изучении проблемы антонимов нельзя обойтись без анализа отношений между соответствующими типами понятий. Однако, поскольку в первую очередь речь идет об отношениях между словами, исследователя должны интересовать собственно языковые средства выявления отношений между понятиями.

Забвение того факта, что антонимы — это особые группы слов, а не понятий, легко может привести к пренебрежению языковыми фактами и к смешению логических и языковых категорий. Например, в статье М. Д. Лесник мы все время наталкиваемся на утверждения типа: «Не все понятия могут иметь антонимы», «...понятие *сладкий* может иметь одновременно два антонима...» (разрядка наша.—В. К.)⁵ и т. д. Иногда автор приходит к фактическому отрицанию объективности существования антонимов как языкового явления. Так, в статье содержится утверждение, что «значение антонимичности может исчезать при различном аспекте рассмотрения понятий»⁶. Это утверждение приведено в самом начале статьи в качестве одного из основных положений, из которых следует исходить при рассмотрении вопроса об антонимах. В дог

¹ Среди работ последнего времени, посвященных антонимам, характерна в этом отношении статья В. Н. Клюевой «Проблема антонимов» («Уч. зап. [1-го Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков]», т. IX, 1956), в которой, вопреки ее названию, рассматриваются группы слов, связанных не только антонимическими, но и любыми другими отношениями.

² А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1947, стр. 36 (в издании 1955 г. это определение отсутствует).

³ М. Д. Лесник, Об антонимичности прилагательных *большой, малый, маленький* и сфере их употребления в современном русском литературном языке, «Уч. зап. ЛГУ», №161, Серия филол. наук, вып. 18, 1952, стр. 84.

⁴ См. «Webster's dictionary of synonyms», Springfield, Mass., 1942.

⁵ М. Д. Лесник, указ. соч., стр. 85 и 84.

⁶ Там же, стр. 85.

казательство этого положения автор приводит слова *северный* и *южный*¹. Эти слова автор считает антонимами лишь потому, что они называют противоположные направления и связаны с различными климатическими условиями. При этом один из показателей (климатические условия) объявляется основным². Отсутствие этого показателя в сочетаниях *Северный полюс* и *Южный полюс* уже лишает их антонимичности (хотя противоположность по направлению и сохраняется). Вряд ли можно найти какие-либо объективные основания для такого выбора. При этом автор не учитывает лингвистическую сторону вопроса. Он сопоставляет явления, совершенно разные с лингвистической точки зрения, игнорируя тот факт, что в сочетании *Северный полюс* первый элемент не является самостоятельным словом *северный*, а представляет собой составную часть термина-словосочетания и поэтому обладает иной семантической характеристикой.

Недостаточно внимания уделяет способам языкового выражения семантических категорий и Э. Сэпир — автор работы, имевшей целью подчеркнуть необходимость разграничения логического, психологического и собственно языкового в семасиологии³. Рассматривая языковые средства выражения отношений градирования (*grading*), Э. Сэпир не делает различия между качественно различными единицами языка и речи. Поэтому в его классификации слова-антонимы оказываются в одном ряду как с отдельными словами типа *capacious*, так и с группами типа *bad, averagely good, good*, которые включают в себя не только слова, но и свободные словосочетания.

*

Поставив перед собой задачу — выявить семантические особенности, выделяющие слова-антонимы среди других типов слов в языке, исследователь, естественно, должен стремиться связать эти особенности с теми моментами, которые обуславливают качественную определенность значения слова.

Сразу можно отметить, что противоположность значений слов-антонимов не связана непосредственно с какими бы то ни было особенностями отражаемых ими явлений. Нет оснований утверждать, что слова-антонимы называют какие-то особые предметы или явления, противоположные по самой своей природе. Вряд ли можно говорить, например, что цвета *белый* и *черный* по самой своей природе больше противопоставлены друг другу, чем крайние точки спектрального ряда *красный* и *фиолетовый* (*инфракрасный* и *ультрафиолетовый*). Или что *небо* от *земли* объективно дальше, чем *небо* от *воды*. Напротив, рассмотрение характера предметов и явлений, называемых словами-антонимами, показывает, что с точки зрения предметной соотнесенности такие слова обнаруживают определенную близость значения. Эта близость заключается в том, что все члены антонимической группы называют предметы и явления одного рода, принадлежащие к одной и той же категории объективной действительности. Например, английские антонимы *hot* «горячий» и *cold* «холодный» называют температурные явления, антонимы *high* «высокий» и *low* «низкий» называют вертикальные размеры предметов и т. д. Невозможно представить себе антонимическую группу, члены которой называли бы совершенно различные, не имеющие ничего общего, предметы и явления. Такая близость с предметной стороны вообще обязательна для объединения слов в какие бы то ни было группы по их лексическому значению.

¹ См. там же, стр. 84.

² При таком подходе у слова *полюс* оказался бы целый ряд антонимов типа *тропики, экватор, баня* и т. д., что явно противоречит обычному пониманию антонима.

³ E. Sapir, *Grading: A study in semantics*, «Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality», Berkeley and Los Angeles, 1951.

Таким образом, особенности предметной стороны значений слов-антонимов обуславливают наличие у этих значений общих элементов. Естественно предположить, что противопоставленность связана с особенностями понятийной стороны. В классификации понятий, принятой в логике, мы обнаруживаем группу понятий, которые выражаются словами, воспринимаемыми нами как антонимы. Это — тот вид соподчиненных понятий, которые в логике называются «несовместимыми понятиями»¹. Отличительной чертой таких понятий является то, что признаки, входящие в содержание одного понятия, отрицают признаки, входящие в содержание другого понятия. «...Понятия, у которых различные объемы, а содержание одного отрицает содержание другого..., называются несовместимыми понятиями»².

Все несовместимые, т. е. взаимоотрицающие понятия делятся на противоположные и противоречащие. К противоположным относят такие понятия, которые являются крайними членами определенного логического ряда, между которыми возможно третье, среднее, и которые не только отрицают друг друга, но и несут в себе нечто положительное взамен отрицаемого в несогласном понятии. Таковы понятия, выражаемые словами *высокий — низкий, белый — черный, горячий — холодный* и т. д.

Характерным признаком противоречащих понятий является полное исключение друг друга при отсутствии промежуточных, средних переходных ступеней. Отношения между такими понятиями можно представить как отношение между А и не-А, например, отношения между понятиями «стол» и «не-стол». Возникает вопрос, обуславливает ли специфика несовместимых понятий появление каких-либо собственно языковых особенностей? На этот вопрос можно ответить утвердительно, по крайней мере по отношению к противоположным понятиям.

Языковая реальность логической противопоставленности выражается в следующих основных особенностях значений соответствующих слов:

1. Противопоставленность становится элементом значения слова, независимым от конкретного контекста, т. е. становится явлением языка, а не речи. Противопоставляться в речи могут значения любых двух слов, даже очень близких по значению синонимов. Например, в романе А. Фадеева «Молодая гвардия» мы находим яркий пример противопоставления слов *глаза и очи*: «...у Ули глаза были большие, темнокарие, — не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками...»³.

Такое окказиональное противопоставление значений слов *глаза и очи* в контексте отнюдь не делает эти слова антонимами. Антонимы возникают в языке лишь тогда, когда противопоставление слов в контексте регулярно воспроизводится и закрепляется в значениях таких слов. Это противопоставление уже не зависит от конкретного контекста, а принадлежит значению слова⁴. Принадлежность противопоставленности самому значению слова-антонима ярко демонстрируется и тем фактом, что значение такого слова отражает эту противопоставленность, даже если слово берется изолированно от его антонима. Если написать ряд английских слов, имеющих антонимы, например:

¹ В ряде работ по логике используется также термин «несогласные понятия».

² Н. И. Ко н д а к о в, Логика, М., 1954, стр. 316.

³ Этот пример приводится Р. А. Будаговым для иллюстрации отношений между синонимами (см. Р. А. Б у д а г о в, Очерки по языкознанию, М., 1953, стр. 30).

⁴ «On peut dire que le contraire d'un mot abstrait fait partie du sens de ce mot» (Ch. Vallu, Traité de stylistique française, vol. I, 2-e éd., Heidelberg, 1921, стр. 42).

<i>hot</i> —	<i>war</i> —	<i>to begin</i> —
<i>black</i> —	<i>love</i> —	<i>to give</i> —
<i>strong</i> —	<i>day</i> —	<i>to ascend</i>
<i>wet</i> —	<i>hope</i> —	<i>to open</i> —
<i>good</i> —	<i>life</i> —	<i>to like</i> —

то любой человек, знающий английский язык, без труда укажет их антонимы.

Отражение в значении слова его противопоставленности значению другого слова — основная семантическая особенность слова-антонима.

2. Слова-антонимы регулярно воспроизводятся в речи в противопоставлении друг другу. Регулярное противопоставление слов-антонимов в речи — обязательное условие, без которого слова не могут ни стать антонимами, ни оставаться ими. Разумеется, это не значит, что, например, слово *хорошо* не может употребляться самостоятельно, не противопоставляясь в конкретном случае своему антониму *плохо*. Но оно должно регулярно употребляться и в противопоставлении, иначе антонимическая пара перестанет существовать. Это обычно и происходит при изменении значения одного или обоих антонимов, если изменение делает невозможным их регулярное противопоставление. Примером распада антонимической пары может служить потеря антонимической связи словами *добрый* и *худой*, вследствие того, что в современном русском языке эти слова редко употребляются в значении «хороший» и «плохой»¹.

С другой стороны, известны случаи, когда противопоставленность значений слов-антонимов оказывала значительное влияние на развитие значений этих слов, вследствие чего изменение значения слова влекло за собой соответствующее изменение значения его антонима. Такова история развития значений английских антонимов *large* «большой» — *small* «малый», имевших ранее значения «широкий — узкий», антонимов *right* «правильный» — *wrong* «неправильный», развившихся из значений «прямой — кривой» и т. д.

Особенно ярко противопоставленность значений слов-антонимов обнаруживается в регулярном совместном употреблении таких слов в качестве однородных членов одного и того же предложения. При этом с предельной четкостью подчеркивается несовместимость значений слов-антонимов. Вот несколько примеров из современной английской и американской литературы: «...the phone had been ringing all night, with constant inquiries about me — where I was, whether I was *alive or dead*» (H. Fast, Peekskill, USA); «He thought no longer of the *rights and wrongs* of this particular conflict» (H. G. Wells, Mr. Britling Sees It. Through); «„Own“ applies to all things, *good or bad, great or small*, which one takes as his own» (J. C. Fernald, English Synonyms...).

Такое употребление характерно как для разнокорневых антонимов, так и для антонимов, образованных при помощи отрицательных префиксов: «He neither *believed nor disbelieved* her, but he knew that he had made a mistake in asking» (J. Galsworthy, The Forsyte saga); «At this moment glancing out of the bay window.... his eye *unfortunately*, or perhaps *fortunately*, chanced to light on the figure of Soames» (The Forsyte saga).

Контрастность значений слов-антонимов может закрепляться в устойчивых словосочетаниях. Имеется целый ряд таких словосочетаний, образованных на основе отношений между словами-антонимами. Подобные единицы состоят из двух антонимов, соединенных либо сочинительной,

¹ Следы такой связи могут сохраняться в устойчивых словосочетаниях, пословицах, поговорках и т. д. Ср. *Худой мир лучше доброй ссоры*.

либо разделительной связью, например английские словосочетания: *to search high and low; the long and the short of it, through thick and thin, by fair means or foul* и др.

Интересно отметить, что такие словосочетания на основе сталкивания двух слов с противоположным значением приобретают новое значение всеобщности, например: «*The public was profoundly concerned; they searched high and low, they dragged the river for his body*» (M. Twain, *Adventures of Tom Sawyer*); (*they searched high and low* — т. е. «они искали везде»).

3. Слова-антонимы обладают в общем одинаковой сферой лексической сочетаемости, т. е. сочетаются с одним и тем же кругом слов. Без этой особенности было бы невозможно их регулярное противопоставление в речи. В большинстве случаев использования одного из антонимов в речи его можно непосредственно заменить другим антонимом, получая прямо противоположное значение всего сочетания.

Так, английские антонимы *high* «высокий» и *low* «низкий» в своих основных номинативных значениях одинаково свободно сочетаются с названиями любых предметов, имеющих вертикальную протяженность. В то же время сочетаемость обоих прилагательных в этом значении ограничена неупотребительностью их для характеристики роста человека. В современном английском языке «человек высокого роста» — это не *a high man*, но *a tall man*, а «низкорослый человек» — не *a low man*, но *a short man*. Такое полное совпадение сфер лексической сочетаемости слов *high* и *low* делает их противопоставленность в указанном значении особенно четкой.

Правда, в большинстве случаев совпадение сфер лексической сочетаемости слов-антонимов не имеет абсолютного характера. У каждого из этих слов обнаруживаются некоторые собственные особенности употребления. Например, если рассмотреть возможности лексической сочетаемости английских антонимов *long* «длинный» и *short* «короткий» с названиями предметов, обладающих вертикальной протяженностью, то окажется, что антонимичность этих слов в данном случае является ограниченной, вследствие различия в характере их лексической сочетаемости. *Short* в сочетании с подобными словами используется главным образом для характеристики роста человека (*short man*), а *long*, широко сочетаясь с названиями неодушевленных предметов (*long stack, long window, long mirror* и т. д.), сравнительно редко используется для обозначения человеческого роста.

Различия в лексической сочетаемости слов-антонимов могут иметь и более частный характер, когда они сводятся к особенностям сочетания каждого из антонимов не с каким-то определенным классом слов, а с отдельными словами. Например, английское прилагательное *broad* «широкий» сочетается со словом *smile* «улыбка», а его антоним *narrow* «узкий» не сочетается и т. д.

Хотя формирование и развитие значений у слов-антонимов часто происходит параллельно, каждый из антонимов представляет собой самостоятельное слово, которое, естественно, может обладать своими собственными особенностями употребления. Такие частные отклонения не снимают противопоставленности данной пары значения в целом.

Совокупность этих трех семантических особенностей и дает основание говорить о существовании особого языкового явления — антонимии. Таким образом, оказывается, что специфика одной группы несовместимых понятий, а именно так называемых противоположных понятий, находит определенное отражение в собственно языковых особенностях. Однако семантические особенности, свидетельствующие о существовании в языке особых групп слов — слов-антонимов, выявляются также у мно-

гих слов, не связанных с теми понятиями, которые в логической классификации относятся к разряду несовместимых.

Напомним, что несовместимые понятия должны либо быть крайними членами логического ряда, между которыми возможны средние, промежуточные члены (если это противоположные понятия), либо относиться друг к другу как А и не-А (если это противоречащие понятия). В то же время значения многих слов-антонимов не связаны друг с другом ни одним из этих двух типов отношений. Подобными антонимами являются такие антонимические пары, как *жизнь — смерть*, *небо — земля*, *день — ночь*, *давать — брать* и т. д.

В ряду *рождение — жизнь — смерть* логически несовместимыми являются *рождение* и *смерть* как крайние точки ряда. Однако антонимические отношения существуют лишь между словами, выражающими второй и третий члены логического ряда. Значения слов *небо* и *земля* вообще трудно представить в виде членов какого-либо ряда и т. д.

Нельзя отнести к типу отношений, существующих между несовместимыми понятиями, отношения, выявляющиеся внутри большой группы антонимов, образованных при помощи отрицательных префиксов, например англ. *pleasant* «приятный» — *unpleasant* «неприятный», *worthy* «достойный» — *unworthy* «недостойный», *possible* «возможный» — *impossible* «невозможный» и др.

С одной стороны, эти пары не являются крайними членами какого-либо ряда (так как между ними невозможен средний член такого ряда), а с другой, отношения между ними не могут быть сведены к отношениям типа А и не-А. Вторые элементы этих антонимических пар не просто отрицают значение противоположного слова, а несут в себе нечто положительное. Прилагательное *неприятный* не просто отрицает значение прилагательного *приятный*, но и содержит утверждение противоположного признака. Поэтому с точки зрения языка логики не правы, когда в качестве примера отношений А и не-А приводят отношения между антонимами типа *большой — небольшой*. В языке *небольшой* — это не просто «все, что нельзя назвать большим», а и «малый, маленький». Отношения типа А и не-А существуют отнюдь не между словами *worthy* и *unworthy*, а между словом *worthy* и словосочетанием *not worthy*, которые, разумеется, не являются антонимами, так как их противопоставление не связано с особенностями лексического значения слова, а обусловлено окказиональным сочетанием в речи этого слова с отрицательной частицей. Противопоставления *worthy* и *not worthy* в языке не существует, ибо в языке нет единицы *not worthy*, представляющей собой речевое образование.

Вообще метод классификации, принятый в логике, часто бывает непригодным для анализа отношений между значениями слов-антонимов. К какому типу связи можно, например, отнести отношения между антонимами *официальный — неофициальный*, *хороший — плохой*, англ. *right* «правильный» — *wrong* «неправильный» и др.? С одной стороны, *неофициальный* полностью отрицает *официальный*, а с другой, возможно и промежуточное *полуюфициальный*, что характерно для отношений между понятиями противоположными, а не противоречащими. По отношению к таким парам, как *хороший — плохой* или *right — wrong*, вообще трудно сказать, возможен ли здесь средний член.

Все эти логические нюансы не влияют на характер языкового явления — антонимии. Независимо от того, какова степень их связи с несовместимыми понятиями и существует ли эта связь вообще, все слова, являющиеся антонимами, обнаруживают три основные семантические особенности¹,

¹ См. выше, стр. 54—56.

выделяющие их как особый тип слов в языке. При изучении вопроса об антонимах, как и при исследовании любой другой семасиологической проблемы, следует, выявляя соотношения между логическими и языковыми элементами исследуемой проблемы, уделять главное внимание последним, так как они и составляют предмет семасиологии как части науки о языке.

Сформулируем некоторые выводы из вышеизложенного:

1. Антонимами следует называть слова, в лексическом значении которых отражена их противопоставленность друг другу. Такая противопоставленность присуща значению слова и не зависит от конкретного контекста.

2. Особенность лексического значения слов-антонимов находит свое выражение в регулярном противопоставлении таких слов в речи. Для употребления слов-антонимов характерен тип контекста, который подчеркивает противопоставленность их значений. Особенно ярко противопоставленность значений слов-антонимов выявляется при их совместном употреблении в качестве однородных членов одного и того же предложения.

3. Для слов-антонимов характерно полное или почти полное совпадение сфер лексической сочетаемости, что делает возможным их регулярное совместное употребление в различных контекстах, выражающих противопоставление.

4. Часть слов-антонимов по характеру существующих между ними отношений соотносится с определенным типом понятий, а именно — с так называемыми противоположными понятиями.

5. Задачей семасиологии является прежде всего изучение собственно языковых особенностей лексического значения слов. При рассмотрении соотношения между логическим и языковым в значении слова необходимо четко различать эти факторы, прослеживая их взаимодействие.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Г. О. ВИНОКУР

ЭПИЗОД ИДЕЙНОЙ БОРЬБЫ В ЗАПАДНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ¹

В течение 1944 г. на страницах журнала «Language» — органа Американского лингвистического общества — появились две взаимно полемизирующие статьи, принадлежащие двум крупнейшим представителям современной лингвистической мысли на Западе — американскому германисту и специалисту по американским языкам Леонарду Блумфилду и немецкому романисту Лео Шпицеру — и посвященные обсуждению основных принципов не только самой по себе лингвистической науки, но и общих философских основ современного научного мировоззрения. Знакомство с позицией обоих ученых, с содержанием и самой формой их полемики, несомненно, представляет большой интерес и для советских ученых. Поэтому я и решаюсь кратко изложить на этих страницах содержание упомянутых статей и предложить небольшой собственный комментарий к этой любопытной полемике.

Напомню, что оба названные ученые принадлежат к диаметрально противоположным школам в современной западной лингвистике, расходясь между собой не только по кругу научных интересов, по научной традиции, в которой они воспитались, но и по общему складу своего научного мировоззрения. Кратко разницу их позиций можно охарактеризовать как разницу между воззрениями современного американизированного позитивизма с четким механико-материалистическим уклоном и воззрениями прямолинейного идеализма с уклоном в субъективизм. Традиции, к которым, если и не прямо, то в конечном итоге, восходит методология Блумфилда, — это своеобразное американское преломление поздних отзвуков младограмматического направления, от которого эта методология, однако, заметно отличается сознательной и последовательной механистической концепцией. Что касается Шпицера, то хотя он в юности прошел основательную младограмматическую школу в области романистики, в более зрелые годы он примкнул к направлениям, резко полемизировавшим с младограмматиками, а именно — к школе Шухардта, с одной стороны, и к школе Фосслера — с другой. От Шухардта Шпицер заимствовал особый стиль этимологических разысканий, отрицающих понятия звукового закона и сближающих возводимый к общему корню языковой материал преимущественно по мотивам культурно-историческим и психологическим. У Фосслера Шпицер перевял взгляд на язык как явление творчески-эсте-

¹ От редакции. Впервые публикуемая статья покойного советского лингвиста профессора Московского государственного университета Г. О. Винокура посвящена полемике между одним из родоначальников американской дескриптивной лингвистики — Л. Блумфилдом и известным представителем так называемого «менталистского» направления — Л. Шпицером. Статья дает характеристику концепции этих ученых и их критическую оценку. Написанная Г. О. Винокуром около 10 лет назад статья сохраняет свое значение до настоящего времени. Анализ взглядов Блумфилда в статье Г. О. Винокура представляет особый интерес в связи с дискуссией о структуральной лингвистике, которая происходит на страницах нашего журнала.

тическое и связанный с этим интерес к проблемам стилистики, методами которой он пытается решать не только грамматические и лексические вопросы, но также фонетические и чисто этимологические, в соответствии с убеждением, что в жизни языка примат принадлежит творческому почину индивидуальности. Сейчас Шпицер живет в Америке, куда он эмигрировал после установления фашистского режима в Германии.

В № 2 (апрель—июнь) 1944 г. журнала «Language» напечатана статья Л. Блумфилда под названием «Secondary and tertiary responses to language», что можно перевести «Вторичные и третичные реакции на язык». В виде подзаголовка статья снабжена аннотацией, которая гласит: «Обсуждение обычных популярных высказываний о языке и некоторых характерных реакций, возникающих, когда эти реакции оспариваются». Заглавие этой статьи, как и вся обширная первая ее часть, представляющая самостоятельный интерес по собранному в ней материалу, вовсе не предвещают ее острого полемического содержания и не дают предвидеть, что и она в свою очередь послужит предлогом для столь же резкой полемической отповеди.

Блумфилд поднимает в этой статье очень любопытный, хотя для самой лингвистики и не очень существенный вопрос о том, как переживаются факты языка в рефлектирующей психологии профана. Вообще всякие высказывания о языке он называет вторичными на него реакциями. Сюда он относит и научные работы по языкознанию. Но его в данном случае интересуют реакции не ученого-лингвиста, а именно профана. Он видит в этих реакциях своеобразную систему, в том смысле, что известные привычные, конвенциональные, как он говорит, представления о языке повторяются неизменным образом, хотя и под разной наружностью, складываясь в особую стойкую традицию. Профан при этом имеется в виду интеллигентный, принадлежащий к культурному общественному слою. Блумфилд иллюстрирует эти «вторичные реакции на язык» красочным букетом мастерски подобранных примеров, аналогичные которым, несомненно, припомнит из собственного опыта всякий лингвист. Ряд примеров относится к тем представлениям, которые имеются у профана в области взаимоотношений между литературным, нормализованным языком и диалектами или же вообще живой речью. Диалектные формы, отклоняющиеся от форм стандартного диалекта, говорят Блумфилд, определяются как испорченные стандартные, как «ошибки», формы «неграмотные». Известные формы теоретически, по примитивным «логическим» соображениям, предписываются стандартному диалекту, как, например, употребление связок *shall* и *will* в формах будущего времени, с различием по лицам, какого различия живая речь даже культурного слоя вовсе не знает. «Когда замечаешь,— продолжает Блумфилд,— что носители стандартного диалекта не употребляют этих предписываемых форм или употребляют другие, то эти отклонения снова клеймятся как „ошибки“ или приписываются „употреблению“, понимаемому как нечто, что нарушает более законные критерии речи».

Другие примеры касаются популярных высказываний в области истории языка. Так, в «New York Times» (26 XI 1939) была помещена заметка под заглавием «Рыбаки говорят на среднеанглийском языке», в которой сообщается, что в одной из отдаленных местностей Англии можно услышать слова и фразы, настолько похожие на английский язык эпохи королевы Елизаветы, что филологи и историки могут установить определенную связь между данным диалектом и языком Елизаветинской эпохи. В качестве смутного отклика на слышанное о родстве языков можно услышать заявление о том, что финны (суоми) и мадьяры, или бенгальцы и литовцы, или баски и малайцы «без труда понимают друг друга». Обычно утвержде-

ние о том, что те или иные дикие племена имеют в своем языке не более нескольких сот слов и т. д.

Далее следуют примеры из области популярных представлений об отношении письма к языку. Блумфилд подробно, цитируя газетные документы, рассказывает о почти анекдотическом, по-диккенсовски звучащем движении, которое возникло в 1941 г. в штате Оклахома в пользу введения в школьное преподавание силлабического алфавита, изобретенного в 1821 г. черокезом Секвойей для своего родного языка. Изучение этого алфавита, постоянно отождествляемое с изучением черокезского языка, пропагандировалось, между прочим, потому, что этот алфавит «содержит буквы для каждого и любого звука, который может быть издан человеческим голосом» и что его можно заучить в три дня со всеми его 85 знаками, тогда как английский язык требует для своего изучения нескольких лет, а наконец, также и потому, что этим алфавитом (или языком *cheokee*?) можно сбить с толку военного врага — немцев.

Блумфилд приводит далее образцы любительских этимологий вроде, например, происхождения немецкого слова *Reich* «государство» от *reichen* «достигать», так что слово *Frankreich* должно было означать область, достигнутую франками, а уже потом (!) от этого слова образовалось новое слово *France* и пр.

Заканчивает свою серию примеров Блумфилд попыткой психологического портрета носителя такой системы «вторичных реакций» на язык. «Говорящий, осуществляющий вторичную реакцию, — пишет Блумфилд, — обнаруживает живость. Его глаза широко раскрыты, и он явно доставляет себе удовольствие. Как бы близко его мнение ни стояло к традиции, он предлагает его как нечто новое, часто как свое собственное наблюдение или наблюдение своего знакомого, и оно ему кажется интересным. Если он знает, что говорит с профессионалом-языковедом, он прежде всего говорит о своем невежестве и скромно признается в том, что плохо владеет своим языком, но вслед за тем воспроизводит традиционное учение уже вполне авторитетным тоном. В общем весь процесс совершается, как мы выражаемся, с удовольствием».

Как должен вести себя в подобных случаях лингвист — другой вопрос, продолжает Блумфилд. Но если он, следуя естественному импульсу, пытается просветить говорящего, он наталкивается на «третичную реакцию» на язык, что возникает почти неизбежно, когда традиционная вторичная реакция испаривается. При этом третичная реакция всегда враждебна. Говорящий усваивает презрительный тон и становится сердитым. Он с нетерпением подтверждает вторичную реакцию. При этом почти всегда объяснения лингвиста объявляются оригинальничанием, склонностью к парадоксам. Если становится известным, что ученый, с которым ведется беседа, лично занимался обсуждаемым вопросом, то это несколько не меняет дела. Следует рассказ о враче, очень образованном и воспитанном человеке, который, охотясь в области языка *chirrewa*, за столом у Блумфилда стал ему рассказывать, что в языке *chirrewa* всего лишь несколько сот слов. На вопрос, откуда он это знает, он сослался на своего проводника-туземца. Когда Блумфилд стал ему разъяснять действительное положение вещей, гость-врач быстро и со знаками неудовольствия повторил свои сведения и «повернулся спиной» к Блумфилду. Третье лицо, заметив эту невежливость, объяснило ему, что Блумфилд обладает некоторым опытом в изучении данного языка. Но это не имело никакого действия.

Далее Блумфилд указывает, что объяснение истинных отношений живой речи к стандарту воспринимается всегда как защита «порчи языка». Следуют возгласы вроде: «Неужели же вы думаете, что я стану говорить:

I seen it или *I done it?*) (т. е. вместо *I have seen it* или *I have done it*). В особенности лингвистические разъяснения отношений между языком и письмом кажутся столь противоречащими очевидности, что они воспринимаются исключительно как извращенное нежелание считаться с фактами. Следует ряд примеров, из которых один заимствуется у Есперсена. В своей известной книге «Grundfragen der Phonetik» Есперсен рассказывает, что один русский ученый, увидев в элементарном руководстве по русскому языку для американцев фонетически записанные слова вроде *тiúpka, sat, búdjít*, стал ссылаться в своих жалобах «на письменный и разговорный язык Тургенева, Толстого и Чехова» и на тот факт, что «один из его школьных друзей стал впоследствии известным поэтом».

Нельзя отказать всему изложенному в занимательности. Популярная психология языка, «лингвистический фольклор», как называет ее Шпицер в своем ответе Блумфилду, действительно может стать предметом особых наблюдений и изучений. Однако последующая часть статьи Блумфилда показывает, что весь этот невинный с виду разговор о вторичных и третичных реакциях на язык представляет собой всего лишь полемический прием, цель которого — поставить в положение профанов, способных лишь на «третичные реакции», тех ученых, которые оспаривают возглавляемое Блумфилдом научное направление.

Вот как переходит Блумфилд к действительному предмету своей статьи. Третичные реакции, говорит он, возникают обычно только тогда, когда говорящий наталкивается на опровержение своих вторичных реакций. Но, продолжает Блумфилд в более высоком и полуученом плане, третичные реакции возникают в носителе языка и просто при знакомстве с лингвистическими явлениями, когда он достаточно проинципален для того, чтобы увидеть, что эти заявления противоречат его привычным вторичным реакциям. Следуют две выписки из дилетантских сочинений, в которых содержатся насмешки над «гробокопателями», превратившими изучение классических языков и литератур в нудное и скучное занятие по разыскиванию корней слов, в разного рода «морфологии» и т. п. А затем, закончив свою своеобразную «артиллерийскую подготовку», Блумфилд переходит к прямому штурму на врага, т. е. к описанию третичных реакций со стороны инакомыслящих лингвистов.

«Получилось так, — пишет Блумфилд, — что в области лингвистики я являюсь одним из работников, которые думают, что анимистическая и телеологическая терминология вроде *mind* (разум), *consciousness* (сознание), *concept* (понятие) и т. д. не приносит пользы, а наоборот, приносит много вреда лингвистике, как и всякой другой науке. При таком положении приходится встречать, в более высоком и специальном плане, конечно, реакции того же самого типа, как популярные реакции, описанные до сих пор. Я не имею здесь в виду разумные дискуссии о научном методе или о специальных постулатах и методах лингвистики. Этого в действительности бывает очень мало. Анимистическая терминология так глубоко укоренилась в нашей культуре, что ее применение кажется чем-то самоочевидным. ...Во всяком случае, исследователь, который ставит себе задачей искоренение менталистской терминологии из своей работы, встречается с реакциями, напоминающими популярные реакции на лингвистическую науку вообще».

Надо заметить, что уже и выше, в одном из примечаний к тексту статьи, Блумфилд дает читателю понять, что надо понимать под его «анимизмом» или «механизмом» в науке. Так, когда он говорит, что процесс вторичной реакции доставляет реагирующему удовольствие, Блумфилд замечает в списке: «Неопределенные популярные термины, как *удовольствие* или *гнев*, употребляются здесь только потому, что у нас не хватает

(или мне лично не хватает) сведений из физиологии и социологии, чтобы определить их заново. Точно так же я употребляю термин *механист* или *антименталист*: в обществе, в котором почти каждый был бы уверен, что луна сделана из зеленого сыра, исследователь, составляющий морской альманах без упоминания сыра, был бы назван каким-нибудь термином, вроде *антисырист* (*noncheesist*).

Речь, следовательно, идет о таком направлении научной мысли, которое отрицает возможность говорить о явлениях сознания, умственной жизни, о душевных явлениях до тех пор, пока они не представлены в анализе как совокупности некоторых биологических и, как прибавляет Блумфилд, социологических (разумеется, это социология тоже биологическая) факторов. Продолжая свои жалобы на ученых, не понимающих его антиментализма и оказывающихся, по его мнению, в роли третично реагирующего на положения лингвистики, Блумфилд в особенности подчеркивает, что отказ антименталистов говорить о таких предметах, как *понятие, значение, душа* и т. п., толкуется враждебным лагерем как отказ исследовать самые явления, стоящие за этой, как он ее называет, анимистической терминологией. Между тем, уверяет Блумфилд, такие толкования несправедливы. Антименталисты вовсе не отрицают самого наличия соответствующих явлений, но, по их мнению, задача заключается в том, чтобы перевести все эти «ментальные» явления в биолого-социологический план. Вместе с тем Блумфилд в особенности вооружается против тех, кто разумную дискуссию по этим вопросам заменяет «более непосредственно социологические обусловленными реакциями». Так, обычно антименталистов обвиняют в невежестве. Они объявляются людьми, повторяющими ошибки ранних философов-материалистов. К их груди, говорит Блумфилд, приставляется бутафорский пистолет солицизма: в конце-концов антименталист может работать только при помощи собственного сознания, но оно оказывается гораздо ниже сознания великих философов прошлого. Антименталист берется за решение сложных вопросов грубо, жестко, как невежда. Он циничен и лишен способности чувствовать, он не умеет «объяснять» тонкие аспекты человеческой культуры и ее достижений. В качестве примера подобных инвектив против антименталистов Блумфилд и приводит обширную выдержку из статьи Шпицера, появившейся в 1943 г. под заглавием «Почему языки изменяются».

В этой статье Шпицер противопоставляет свой эстетико-психологический метод антименталистическому методу американских лингвистов, выдвигая против них следующие положения:

1. Антименталисты боятся оперировать «неизвестным» — тем, что не прослежено в деталях, и потому предпочитают вовсе не принимать во внимание это «неизвестное». Но раз, по крайней мере, известно, что это «неизвестное» все же существует, то игнорирование его — грех против того, что известно.

2. Антименталисты не хотят видеть, что ученый, исследующий язык, одновременно является и просто человеком, воспринимающим и чувствующим, как и все другие. Они резко разобщают лингвиста как исследователя и лингвиста как особь, имеющую право на «неофициальные частные вкусы». Этим антименталисты капитулируют перед современной умственной дезинтеграцией, перед духовным распадом, в котором Шпицер обвиняет современную западную культуру.

3. Антименталисты не замечают, что их отрицание философии, которую они характеризуют как «окаменелость» в системе современной культуры, как средневековый пережиток, само по себе есть известная философская позиция и что их лингвистические исследования, основанные на антифилософской философии, неизбежно опираются на своеобразный ментализм.

4. Когда антименталисты говорят, что языковые факты не могут объясняться психологическими процессами, так как единственными свидетельствами этих процессов служат сами же объясняемые языковые факты, то они не понимают того, что выражено в известном афоризме Гёте: «Самое высшее — понять, что все фактическое есть уже теория». Шпицер предлагает антименталистам доказать, что такие понятия, как «прагерманский язык», «германские языки», не предполагают никакой теории, а между тем они этими понятиями охотно пользуются. «Они принимают, — горячо говорит Шпицер, — результат чужих размышлений, окаменелый плод их, отвергая живое древо самого размышления; они хотят жить мертвыми и результатами прошлого, но не в живом настоящем. И эта школа хочет быть школой будущего?»

Не останавливаясь более подробно на частностях этого выступления Шпицера — выступления, содержащего, между прочим, защиту стилистики как равноправной, по меньшей мере, дисциплины в кругу прочих лингвистических дисциплин, ограничусь приведенными наиболее существенными положениями цитируемой Блумфилдом статьи в той ее части, в которой осуждается антиментализм. Но мы еще встретимся со Шпицером — борцом против антиментализма — несколько ниже.

После этой пространной цитаты из Шпицера Блумфилд прямо переходит к заключению. Этой цитатой он хочет доказать, что возражения Шпицера против антиментализма отличаются тем же «сердитым тоном», той же нерассуждающей злобностью, которая подменяет собой убедительность, что и обычные «третичные реакции». По словам Блумфилда, с самого же начала, символизируемого именем Галилея, современную науку обвиняли в цинизме и нечестивости. «Наши деды, — говорит Блумфилд, — выдержали эту борьбу в области геологии и биологии. Интересная черта культуры состоит в том, что научные работники областей, из которых анимизм и телеология изгнаны, требуют употребления таких понятий в менее развитых областях науки, как наша». Указывая на практическую беспомощность современных социальных наук, лишенных дара предвидения и умения решать социальные проблемы, Блумфилд далее пишет:

«Единственное исключение в этой области заключается в том, что мы относительно хорошо знаем строй и историю языков. Это отрасль знания, которая, вопреки предрасположениям и ожиданиям ее основателей, стала обходиться без анимистических и телеологических факторов. Хотя это положение и не дает нам полной уверенности, оно делает все же очень правдоподобным более широкое распространение методов, которые успешно заменили собой прежние безуспешные. Человечество всегда находило такие шаги трудными и сопротивлялось им не только по инерции. Обскурантизм, ярко выраженный авангард такого сопротивления, никогда не прибегал к рациональной аргументации, но только к инвективам и, от Галилея до наших дней, ко всевозможным видам иррациональных санкций». Этими словами статья Блумфилда заканчивается.

Легко себе представить, как должно было задеть обвинение в обскурантизме пылкого идеалиста Шпицера. Он отвечает на это обвинение специальной статьей (см. «Language», 1944, № 4). Статья эта, названная «Ответ г-ну Блумфилду», написана с обычным для Шпицера литературным блеском. Шпицер начинает с благодарности по адресу своего антагониста за то, что тот дал возможность ознакомиться с его аргументацией читателям журнала «Language» (этот журнал Шпицер обвиняет в пристрастии к антименталистам). Шпицер, однако, констатирует, что Блумфилд так и не дал ответа на два основных вопроса, которые были подняты Шпицером: 1) как может антименталист Блумфилд пользоваться такими основными для современной лингвистики понятиями, как, например, «индо-

европейский праязык» или «вульгарная латынь» и т. п., которые имеют несомненное менталистское и даже спекулятивное происхождение; 2) почему стилистические исследования, вроде тех, которыми занимается Шпицер, нужно считать делом более дерзновенным, чем реконструкция романского праязыка.

Блумфилд уверяет, что он не отрицает реальности явлений, именуемых менталистскими терминами. Более того, он убежден, что своим методом он опишет эти явления лучше, чем это делают менталисты. По этому поводу Шпицер иронизирует: «Я бы очень хотел дожждаться, например, лучшего, чем до сих пор, описания какого-нибудь поэтического стиля кем-либо из антименталистов. Но я вообще не нахожу на страницах «Language» каких-либо стилистических исследований, и, таким образом, этот журнал, вопреки своему заглавию, не покрывает всей области лингвистики... Откровенно говоря, я вообще не вижу, каким образом антименталист может писать по вопросам стилистики». Поэт не ждет, продолжает Шпицер, пока биология и социология дадут новые определения тому, что в языке названо словом *душа*, и рассчитывает на то влияние, которое его язык оказывает на души его современников. Блумфилд не отрицает, что то, что мы называем душой, входит в предмет биологии и социологии, но откладывает пользование этим предметом до тех пор, пока данные науки не дадут ему своего определения. Может быть, допускает Шпицер, *душа* и мифологема, но не более, чем то, что было когда-то названо словом *дождь*, которым люди для разных практических нужд стали пользоваться задолго до того, как это явление, называемое нами *дождем*, было проанализировано наукой. Таким образом, антименталист ведет себя, как такой примитивный человек, который не стал бы пользоваться дождем для орошения своих полей в ожидании того дня, пока он не проанализирует «понятие дождя». Иными словами, заключает Шпицер, антименталист игнорирует тот человеческий опыт, который аккумулирован человечеством в своем языке. Антименталист, продолжает Шпицер, извиняется, что принужден пользоваться таким неопределенным термином, как *гнев, злоба (anger)*, биолого-социологическая замена которого ему еще неизвестна. Но мы не можем ждать, пока ученый типа Блумфилда займется влиянием злобы на язык — это влияние есть реальность: примем во внимание хотя бы стиль (даже один фонетический стиль) речей Гитлера!

Шпицер имеет в виду здесь то соображение, что всякое слово языка обозначает нечто, познанное человеком в действительности, т. е. различное им среди прочего и остающееся живой и цельной реальностью, независимо от успешности анализа данного явления. Более того, такое название, продолжает Шпицер, всегда дает больше анализа, так как последний разрушает цельность соответствующего явления, а еще Платон знал, что целое содержит больше, чем простая сумма слагаемых. В этом, говорит Шпицер, — творческая сила языка, который, синтезируя опыт, идет в данном отношении впереди науки. Поэтому, отказываясь от помощи языка, антименталисты лишают себя творческих возможностей в научном исследовании. В качестве примера Шпицер ссылается на одно ученое заседание, в котором участники никак не могли дать единого определения французской революции. Значит ли это, что французской революции вообще не было? В результате антименталисты предпочитают работать в областях, в которых механическая сторона дела преобладает, т. е. в области фонетики и морфологии. «Фонологическая мода, — добавляет при этом Шпицер, — никого не обманывает». Существует взаимное притяжение между научными областями и личностями ученых: механист предпочитает пмечь дело с механическим. Поэтому и преобладание антименталистских статей в «Language» — не случайность, а результат умерщвляющего

действия механической идеологии на исследователей. В самом деле, не станет же автор с капиталистическими воззрениями посылать свои статьи в «Daily Worker».

И разве это действительно так, продолжает Шпицер, что механисты описали хоть что-нибудь в языке лучше своих предшественников? Пусть мне назовут, восклицает Шпицер, хоть один языковой факт, открытый или лучше прежнего описанный с помощью биолого-социологических знаний. Блумфилд верит, будто чистая наука, освобожденная от анимизма, дала человеку власть над природой, в то время как сохранение анимистических предрассудков в социальных науках делает их беспомощными. Но никакая чистая, не-менталистская наука пока не спасает человечество от наводнений Миссисипи или взрывов в шахтах, как не спасла и от взрыва гитлеризма. И это, сентенциозно добавляет Шпицер, — не от недостатка знаний, а от того, что наша воля и наше воображение отстают от знаний. От того, что человеческая душа будет сведена к биолого-социологическим факторам, человечество мало выиграет. Наоборот, это лишь способно подорвать веру человека в самого себя и вызвать катастрофы, еще невиданные. Отсутствие в человеке веры в себя уже вызвало гитлеровскую катастрофу, которая, по мнению Шпицера, была бы невозможна, если бы Гитлер не строил своих расчетов на том, что есть в человеческой натуре автоматического, «бихевиористского», в конце концов — животного, обезьяньего и поддающегося укрощению.

Шпицер решительно отвергает право Блумфилда сравнивать себя с Галилеем и обвинять в обскурантизме тех, кто с ним не согласен. Где, в самом деле, те открытия антименталистов, которые можно было бы сопоставлять с деяниями Галилея? Вообще у Шпицера такое впечатление, что антименталисты преимущественно занимаются защитой своей программы и опорочиванием чужих достижений. Параллель Блумфилда неверна еще и потому, говорит Шпицер, что Галилей был верующий человек и полагал, что истина, открываемая математикой, есть часть божественной мудрости. И другие великие математики и исследователи природы, как Декарт, Паскаль, Мальбранш, Лейбниц, Ньютон, были верующими людьми, т. е. менталистами, включая нынешнего Эйнштейна. «Я один из тех обскурантов, — заключает Шпицер, — которые веруют вместе с блаженным Августином: не ходи наружу, в глубине души живет истина». Шпицер призывает к возрождению науки на почве единения с религией, с верой, которая, как он думает, есть основание всякой науки и цивилизованной жизни вообще.

*

Как видим, полемика под конец принимает уже вовсе не лингвистический характер и превращается в спор по вопросам общего мировоззрения. Однако было бы неправильно думать, будто участники спора или один только Шпицер отклонились от своего предмета. На самом деле полемика Блумфилда и Шпицера очень хорошо показывает, что всякая научная проблема, а тем более проблема научной методологии, в конце концов непременно приводит к общим мировоззрительным вопросам. И можно быть только благодарным обоим выдающимся представителям современной западной лингвистики за то, что они с такой откровенностью, так серьезно, с такой глубиной чувства развернули каждый свое кредо. Со своей стороны, считаю возможным к изложению их полемики вкратце присоединить следующее.

Нетрудно прежде всего понять, что каждый из двух участников спора очень далек от таких воззрений на лингвистику, на науку вообще и на отношение науки к жизни, которые можно было бы считать верными и

плодотворными. Поэтому нет и речи о том, чтобы можно было полностью и безоговорочно отдать свои симпатии какой-нибудь одной из спорящих сторон. Но, мне кажется, было бы неправильно с полным безразличием, огульно отвернуться от всего, высказанного обоими учеными, как от чего-нибудь совершенно бессодержательного и незначительного. Задача заключается в том, чтобы в оценке обеих изложенных позиций верно разглядеть распределение света и тени.

Несмотря на откровенный, совершенно обнаженный фидеизм Шпицера, составляющий отнюдь не новую черту его лингвистических сочинений, в его позиции есть некоторые особенности, способные с первого взгляда привлечь к нему читателя в большей мере, чем к его антагонисту. Я не думаю, чтобы в мою задачу сейчас входило спорить со Шпицером как с носителем религиозного мировоззрения. Но мы не можем не прислушаться к Шпицеру, когда он обвиняет современных механистов, антименталистов, бихевиористов и т. п. в том, что они вообще не знают никакого «во имя», такого объемлющего этического принципа, который делал бы научную работу действительно творческой и жизненно содержательной. В конце концов Шпицер вооружается против мертвящей безыдейности, которую он наблюдает в научной жизни современного Запада и которая с несомненностью свидетельствует о серьезном кризисе в западном научном мировоззрении. Нельзя жить, а следовательно, и заниматься наукой без идеала. Блумфилд, несомненно, скажет, что пока биология и социология не дадут своего определения тому, что мы называем словом *идеал*, он ничего не может сказать по данному поводу. Тем не менее нельзя было бы отрицать, что уже и в простом указании на безыдейность проповедуемого им антиментализма есть что-то действительно человеческое и живое. Ведь и в самом деле: не человек для субботы, а суббота для человека. И уже совсем другой вопрос составляет личное несчастье Шпицера и ему подобных, вообразивших, будто нет иного пути для ищущего живых идеалов, кроме веры в бога, не видящих, что есть идеалы подлинно человеческие, общественные.

С другой стороны, Шпицер может показаться более привлекательным и для тех, кто законно стремится к расширению границ лингвистического знания, к включению в эти границы вопросов стиля, художественного языка, вопросов не только в широком смысле слова грамматических, но также и таких, которые касаются различных явлений практического языкового употребления. Разумеется, грамматика остается грамматикой, и без нее нельзя сделать и шагу в изучении языка и его истории. Но язык — это не только грамматика, не только структура: ведь реально он дан нам только в живых актах чувственно воспринимаемой речи. Рядом с «анатомией» языка существует его «физиология». Потому-то и нельзя изучать язык вне общества, вне различных форм общественного и индивидуального сознания, вне человеческих чувств. И вот, в то время как Шпицер в течение всей своей деятельности настойчиво пропагандирует стилистику, антименталисты, действительно, не занимаются вопросами этого рода сколько-нибудь пристально. Однако спрашивается, что конкретно понимает Шпицер под «стилистикой», как практически преломляются широкие взгляды Шпицера на границы лингвистики в его исследовательской работе? Сколько-нибудь близкое соприкосновение с этой стороной дела сразу же обнаруживает глубокую порочность всей его концепции.

Обратим внимание на то место рассуждений Шпицера, в котором он упрекает антименталистов в их преимущественном влечении к механическим сторонам жизни языка, и именно — к фонетике и морфологии. Значит, и для Шпицера есть в языке нечто механическое? Шпицер не последний из числа жалующихся на «засилье» фонетики и морфологии

в лингвистике, причем он явно исходит из дилетантских представлений, будто в языке для науки есть более и менее «важные» стороны, будто, например, лексика «важнее» фонетики, синтаксис «важнее» морфологии и т. д. Нечто в этом роде Шпицер заявляет и прямо, говоря, например, что антименталистам из числа младограмматиков Бругман ближе, нежели Дельбрюк, так как последний все же занимался синтаксисом, т. е. чем-то, как никак, «ментальным». Это мнение об относительной важности тех или иных сторон языка для науки есть чистый предрассудок. Человек не может жить без мозга, но может жить с вырезанным желудком. Значит ли это, что хирург, оперирующий желудка, занимается менее важным делом, чем хирург, оперирующий мозг? Нет языка без звуков речи, но звуки речи в языке, действительно, непременно что-то означают, т. е. различают слова и морфемы. Фонетика, которая игнорирует эту функцию звуков речи, т. е. фонетика «механическая», есть поэтому абсурд. Но Шпицер, очевидно, думает иначе, судя по его выпаду против «фонологической моды». Ему, по-видимому, очень бы хотелось, чтобы язык состоял из чего-либо совершенно эфемерного, воздушного, спиритуалистического, представлял бы собой своеобразное средство телепатии. Но в действительности дело обстоит иначе. Мы хорошо помним слова Маркса об отягощении сознания материей как о его своеобразном «проклятии».

Впрочем и в самом деле есть основания жаловаться на «засилие» фонетики и морфологии. Это ведь все-таки наиболее полно обработанные области лингвистики. Причиной этому — естественный способ восприятия речи, начинающегося с чувственных примет, а потому и естественный ход развития лингвистической науки, заставивший изучать язык именно в таком порядке. Однако этому «засилию» способствует еще и то, что «ментальные» области языка, к сожалению, большей частью изучаются до сих пор так, что у серьезно ищущих лингвистов не может воспитаться устойчивая склонность к их исследованию. То, что здесь сказано, лучше всего можно показать на примере самого Шпицера. Вот как Шпицер сам характеризует свой «стилистический» метод в одном из параграфов статьи, приводимой Блумфилдом: «Когда я замечаю, — говорит он, — то, что я называю „стилистическим фактом“ в языке писателя, я пытаюсь найти возможный его психологический корень, а потом проверить, годится ли предположенный психологический корень также для объяснения прочих стилистических явлений, которые могут быть наблюдаемы в индивидуальном языке автора».

Трудно подыскать более убедительное доказательство того, что Шпицер занимается вовсе не языком, а психологией поэта, материалы для которой он ищет в языке. В других случаях Шпицер и прямо заявлял, что он изучает «душу писателя» по ее отражениям в языке. Что это не лингвистика, а психология, ясно уже из того, что подлинная лингвистика не «объясняет», а а н а л и з и р у е т язык просто потому, что она и не в силах сама что-нибудь действительно о б ъ я с н и т ь в языке. Под объяснением языка я понимаю сведение фактов языка к таким действующим причинам, которые создают язык и его историю, — ясно, что эти причины лежат не в самом языке, а вне его и что, следовательно, с в о и м и средствами лингвистика не в силах это сделать. Лингвист, следовательно, и не должен стремиться к таким «объяснениям» на своей собственной, лингвистической почве. Его обязанность заключается не в том, чтобы изучать содержание (в данном случае — «психологию поэта»), нашедшее себе выражение в известном языковом акте, а в том, чтобы исследовать, каким образом, какими средствами и особенностями своей организации язык выразил то, что в нем выражено. Я готов идти дальше и утверждать, что изучение самого по себе языка в о о б щ е н е м о ж е т открыть нам,

что именно в нем выражено. Это нам открывается только историей, социальным опытом, обычаями и т. п. той среды, язык которой изучается. Поэтому лингвисту все это должно быть дано заранее, в качестве результатов опыта, долженствующего быть названным *ф и л о л о г и ч е с к и м* в точном смысле слова. Сколько бы вы ни смотрели в книгу или вслушивались бы в живую речь, ничто вам не откроет, что значит звуко сочетание *дуб*, пока вам не станет откуда-нибудь известно, из каких-нибудь сообщений, например, из филологической интерпретации текста и т. п., что этим звуко сочетанием в данной среде принято обозначать известного вида дерево. Но раз вы уже знаете, что именно обозначается данным звуко сочетанием, вы далее можете изучить тот способ, которым в данном языке выражено это содержание, в отличие от других содержаний.

Потому-то и позволительно утверждать, что Шпицер занимается не языком писателя, а его психологией, что он спрашивает себя не о том, каким образом язык писателя передает его мысли, а ч т о говорит писатель своим языком. Ясно, что на этот вопрос, поскольку он не разъясняется до конца общепринятым языковым узусом, т. е. усвоенными нами от общества, из практического опыта, связями, существующими в данной среде между фактами языка и предметами мысли, могут отвечать только те науки, объектом которых непосредственно служит самый этот опыт, т. е. история литературы, история вообще, психология и т. д. Лингвистика же сама по себе здесь бессильна.

Но это не только психология, но еще и плохая психология. Если уж изучать психологию, то надо ее изучать по всем доступным данным, а не только по языку. В противном случае неизбежно заходишь в тупик формализма и своеобразной лингвистической метафизики, для которой вся вообще действительность есть какой-то род «языка». Конечно, и язык дает для этого данные, но ведь вовсе не только язык, причем язык здесь, может быть, наименее прямой и достоверный свидетель из-за своей *к о н в е н ц и о н а л ь н о й* природы. В итоге я прихожу к выводу, что, будучи типичным идеалистом в философском смысле, притом — субъективным идеалистом и психологистом, Шпицер, испугавшись механического подхода к языку, просто и целиком выбрасывает самый язык как объект изучаемого из лингвистики. И это потому, что ему не хватает того, что должно быть душой всякой науки, т. е. *д и а л е к т и к и*, понимания диалектической связи языка с мыслью, понимания того, что язык *п р е д а е т* мысль, *в о п л о щ а е т* ее, но с а м в с е б е еще не содержит указания на то, что именно он передает.

Однако было бы совершенно неправильно заключать из сказанного, будто, с моей точки зрения, антименталисты оказываются правыми в своих возражениях Шпицеру. Я совсем далек от таких выводов. Явное преимущество Блумфилда по сравнению со Шпицером только в одном — в том, что он более близко держится почвы самого языка. Это, однако, происходит у него не от большой добродетели. Антименталисты тоже хотели бы *о б ь я с н я т ь* язык, но только существующие способы объяснений их не удовлетворяют. Те принципы объяснения, которые им мерещатся, безусловно, заслуживают самого резкого осуждения с нашей стороны, во-первых, потому, что это попытки объяснить язык из самого языка, объяснения имманентные, а во-вторых, потому, что они покоятся на принципах механистической философии, игнорирующей специфичность социального предмета. *О т р и ц а т е л ь н а я* сторона суждений Шпицера об этих принципах, хотя он и не представляет себе ясно их корней, сохраняет свою силу. Все это вопросы не лингвистические, а общеметодологические. Над ними и лингвист, понятно, не может не задумываться. Однако дело

повертывается так, что, не умея «объяснять», антименталисты фактически и не «объясняют» языковые явления и это заставляет их в своей практической работе ближе держаться почвы самих по себе фактов языка. Как они работают над практическим материалом своей науки — это уже совсем особый вопрос. Можно догадываться, что их работа не всегда будет казаться нам удовлетворительной, но здесь уже наш спор с ними должен быть и будет спором непосредственно лингвистическим. Пусть антименталисты явно плохие философы, но все же им трудно было бы отказать в квалификации дельных лингвистов. Между тем Шпицер, философ не лучше своих противников, со строго принципиальной точки зрения в своих стилистических штудиях (которые он сам считает для себя основными) вообще не есть лингвист.

1947 г.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. Б. ШАПИРО

К УЧЕНИЮ О ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Уже больше ста лет в нашем синтаксисе существует деление второстепенных членов предложения на три разряда: определение, дополнение и обстоятельство. Немало споров велось о том, насколько верна и соответствует реальному положению вещей эта триада, и еще больше — о принципах отнесения второстепенных членов предложения к тому или иному из этих разрядов. И тем не менее существенных сдвигов в данной области до сих пор нет. Во введении ко II тому «Грамматики русского языка» АН СССР, несмотря на утверждение, что «традиционное учение о второстепенных членах предложения нуждается в коренном пересмотре»¹, это учение все же полностью сохраняется, правда, с оговоркой о необходимости более углубленного решения данного вопроса. В настоящей статье делается попытка установить, имеются ли основания для деления всех второстепенных членов на небольшое число обобщающих разрядов — в виде ли существующей традиционной схемы или какой-либо иной, основанной на том же принципе «обобщения».

Как известно, уже в грамматиках первой половины XIX в. второстепенные члены предложения делятся на разряды. Три разряда — те же, которые существуют в наше время, — мы находим, например, у Перевлеского² и у многих других авторов. По-иному обстоит дело у Востокова. Он устанавливает, что в предложении к подлежащему и сказуемому «...присовокупляются другие слова, для определения и для дополнения обеих частей предложения. В первом случае присовокупляемые слова называются определительными, во втором случае дополнительными»³. Эти два разряда второстепенных членов включают в себя и те второстепенные члены, которые в настоящее время относят к обстоятельством. Но дело не только в этом, а в самом существе понимания функций второстепенных членов. По Востокову, определительные слова бывают при существительных, при личных местоимениях, при прилагательных, при глаголах и причастиях (при этом Востоков подробно указывает, какими частями речи выражаются определительные слова). Дополнительные слова — это существительные и местоимения, «коими означаются другие предметы, прикосновенные к подлежащему или к сказуемому; предметы, на которые обращено действие сказуемого или от которых зависит подлежащее...»⁴. Дополнительными словами являются также инфинитивы, сочиненные «с другим глаголом или существительным, прилагательным или причастием»⁵.

¹ «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 97.

² См. П. П е р е в л е с с к и й, Начертание русского синтаксиса, 2-е изд., М., 1848.

³ А. В о с т о к о в, Русская грамматика, 7-е изд., СПб., 1848, стр. 178—179.

⁴ Там же, стр. 179

⁵ Там же.

В основе учения Востокова о второстепенных членах лежат, с одной стороны, функция, выполняемая второстепенным членом, а с другой — часть речи, выполняющая соответствующую функцию. Так, наречие, обозначающее место или время действия, выражаемого глаголом, является определительным словом, а существительное в косвенном падеже с предлогом, выполняющее ту же функцию, является дополнительным словом. Ср. приводимое Востоковым предложение *Праотец наш Адам недолго жил в раю*, в котором *недолго* — определительное слово к *жил*, а *в раю* — дополнительное слово к этому глаголу. Для Востокова решающим является то, как морфологически выражается функция, выполняемая второстепенным членом предложения: если бы вместо *недолго* в приведенном примере было существительное (например, *с год*), то этот второстепенный член был бы дополнительным словом; если бы вместо *в раю* было наречие (например, *там* или *далеко*), то этот второстепенный член был бы определительным словом.

Однако классификация второстепенных членов не разработана Востоковым в деталях и поэтому оставляет некоторые вопросы неясными. Так, дополнительными он называет существительные и местоимения, обозначающие другие предметы, прикосновенные к подлежащему или сказуемому, т. е. принимает во внимание, к какому члену предложения и к какому члену предложения они относятся, тогда как определительные слова выделяются на основании их отношения к существительному, прилагательному и т. п., т. е. на основании того, к какой части речи они относятся. Но ведь та или иная часть речи (например, существительное) может быть и подлежащим, и дополнительным словом, и определительным словом (приложением). С другой стороны, сказуемым, например, могут быть и глагол, и краткое прилагательное, и другие части речи. Возникает и такой вопрос: если в предложении *Учитель брата заболел* слово *брата*, как существительное, обозначающее предмет, «прикосновенный к подлежащему», является дополнительным словом, то будет ли также дополнительным словом существительное *брата* в предложении *Я уважаю учителя брата*, в котором слово *учителя* — не подлежащее, а само является дополнительным словом? Неясно также, как следует понимать «предмет, от которого зависит подлежащее», если подлежащее — это независимый член предложения, что выражается постановкой его в именительном падеже.

Изложенное общее учение Востокова о членах предложения дополняется тщательно разработанными двумя главами, посвященными одна — согласованию слов, а другая — управлению слов.

Как известно, дальнейшая судьба вопроса о второстепенных членах предложения складывалась не в направлении, намеченном Востоковым. Русские грамматисты середины XIX в. (Буслав, Давыдов и др.) укрепили традицию трех второстепенных членов предложения, не создав для нее подлинной грамматической основы. Буслав выдвинул двойкий критерий для классификации второстепенных членов предложения: чисто «смысловой» («по значению», с подстановкой вопросов) и формальный («по синтаксическому употреблению»), в результате чего члены предложения, на основании одного критерия относящиеся к одному разряду, на основании другого критерия попадают в другой разряд. Потехина, убедительно отвергнувший метод классификации второстепенных членов предложения «по значению», не отказался, однако, от признания тех же трех разрядов и только подвел под них формально-грамматическую основу. Его схема привела к отождествлению синтаксических категорий с категориями морфологическими: определение — второстепенный член, согласующийся с определяемым; дополнение — второстепенный член, выраженный косвенным падежом (без предлога или с предлогом) имени существитель-

ного или предметно-личного местоимения; обстоятельство — второстепенный член, выраженный наречием или деепричастием.

После Буслаева и Потебни проблема второстепенных членов предложения продолжала оставаться еще более спорной. Школа крепко держалась за классификацию, основанную на «смысловых» признаках. Показательно, что принцип классификации Потебни (пропагандировавшийся его последователями, например Овсянко-Куликовским), несмотря на кажущуюся его простоту, не удовлетворял школу: она не видела в нем того обобщения значений, которое, хотя и в несовершенном виде, все же можно было усмотреть в объединении под наименованием определения, отвечающего на вопрос «чей», таких конструкций, как *отцовская шуба* и *шуба отца*, или под наименованием обстоятельства образа действия, отвечающего на вопрос «как», таких конструкций, как *двигаться бесшумно* и *двигаться без шума* (ср. также *переправляться повзводно* и *переправляться взводами*), и т. п.

Между тем идея, лежащая в основе классификации Потебни, в принципе и глубока, и верна: конечно, очень существенно в грамматическом отношении, как именно второстепенный член поясняет какой-либо член предложения: посредством слова, выражающего предметное понятие или понятие признаковое (*шуба отца* — *отцовская шуба*), посредством слова, выражающего понятие действия или предметное понятие (*стремиться властвовать* — *стремиться к власти*). Эта классификация основана на обобщении не менее, а более существенном, чем то, которое находит свое выражение в соответствии одному и тому же вопросу: в классификации Потебни за основной признак берется единство грамматической (морфологической) категории, используемой для выражения поясняющего слова. Но крупным недостатком учения Потебни о второстепенных членах предложения является отсутствие в нем широкой перспективы: традиционных трех второстепенных членов предложения явно недостаточно для синтезирования многообразных отношений, наблюдающихся в словосочетаниях с второстепенными членами в качестве зависимых слов. Ведь, например, согласуемые второстепенные члены далеко не являются синтаксически цельной категорией. В этом легко убедиться, сопоставив так называемое приложение с собственно определением. Хотя то и другое характеризуется одинаковым признаком — согласованием, различие их морфологической природы сильно дает себя знать: приложение дает поясняемому слову предметную характеристику, тогда как собственно определение дает характеристику признаковую. Определения со значением притяжательности также представляют собой неоднородный тип: в таких притяжательных прилагательных, как *материна*, *отцова*, *купцов*, *шуринова*, *помещичий* (в особенности в образованиях от собственных имен, например, *Марусина*, *Петины*) и т. п., в гораздо большей степени налицо значение принадлежности лицу, чем в таких, как *материнский*, *отцовский*, *купеческий* и т. п., могущих употребляться и не в «притяжательном» значении.

Далеко не однородны по характеру своих значений как дополнений второстепенные члены, выражаемые формами косвенных падежей. Конечно, все второстепенные члены этого разряда обозначают лиц или предметы, с которыми так или иначе связано действие, или другое лицо, или предмет, но этим в сущности и исчерпывается их функциональная общность. А то, что одни из них обозначают лицо или предмет, на который переходит действие (*зову сестру*), другие — предмет, служащий орудием действия (*рублю топором*), третьи — предмет, которому «адресовано» действие (*дарю сестре*), и т. п., или то, что одни обозначают лицо, которому что-либо принадлежит (*книга сестры*), другие — предмет, наличием ко-

торого характеризуется лицо или предмет (*книга рассказов*), — не находит отражения в системе второстепенных членов предложения Потебни.

*

Из дальнейших попыток разрешения вопроса о второстепенных членах предложения наибольшего внимания заслуживает учение Шахматова. Шахматов описывает восемь разрядов второстепенных членов предложения. При этом первоначально намеченный им план оказался осуществленным со значительными изменениями. Намеченный план: I. Приложение; II. Дополнение; III. Релятивное дополнение; IV. Дополнительный глагольный член; V. Определение; VI. обстоятельство; VII. Связка; VIII. Неразложимые словосочетания. Реализованная схема: I. Приложение; II. Определение; III. Простое дополнение; IV. Дополнительный субстантивный и адъективный член; V. Релятивное дополнение; VI. Дополнительный глагольный член; VII. обстоятельство; VIII. Неразложимые словосочетания¹. Это свидетельствует о том, что для Шахматова данная проблема была предметом усиленных и, возможно, еще не завершённых поисков.

Вместе с тем основная идея Шахматова представляется достаточно ясной. Шахматов не порывает полностью с традиционной классификацией второстепенных членов предложения. Он принимает все три общепринятых разряда (определение, дополнение, обстоятельство), но не ограничивается ими, так как не видит возможности разместить все второстепенные члены в рамках этих трех разрядов. Основным критерием классификации является для Шахматова функция, выполняемая второстепенным членом как выразителем синтаксического отношения, заключенного в словосочетании; она кладется в основу определений второстепенных членов. Например, при определении приложения сначала дается указание на его функцию: «Приложением выражаются аппозиционные отношения, возникающие между названиями субстанций и явлений, следовательно, между существительными, а также между существительными и местоимениями субстантивными (личными и предметными)»². Тут же указывается, что такое аппозиционные отношения. После этого формулируется самое определение: «...приложение — это то зависимое слово, которым в форме существительного обозначается свойство-качество или родовой признак господствующего слова»³. Таким образом, в этом определении после указания на функцию приложения находим и формальную характеристику его.

Определение также характеризуется сначала указанием на его функцию. «Определением выражаются атрибутивные отношения, существующие между субстанцией или явлением и их признаками»⁴. После разъяснения, что следует разуметь под признаком, и деления признаков на основные типы указывается, какими формами выражается определение каждого типа.

Удалось ли Шахматову по существу построить учение о второстепенных членах предложения? На этот вопрос приходится дать отрицательный ответ, хотя как самый разрыв с традицией, так и углубленное внимание к многообразию формальных выразителей категории второстепенных членов представляют собою сильную сторону его учения.

Шахматов идет обычно от готовых представлений о синтаксических отношениях к способам их выражения. Самые эти отношения он заимствует из области психологии мышления. Так, приступая к описанию дополне-

¹ См. А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 279.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 290.

ния и выясняя его отличие от приложения и определения, в которых «...видим ясные следы расчленения одного общего представления: в центре осталось господствующее представление о субъекте, носителе признака, но при нем отложилось другое зависимое представление об аппозиции или атрибуте...», Шахматов пишет: «Совсем иные отношения имеют место там, где процесс мышления соединил в одно сложное представление, сблизив их между собою, два по существу своему друг от друга независимые представления. Здесь возникают объектные отношения, которые по своему существу являются отношениями между двумя субстанциями, из которых одна становится в зависимые отношения к другой, становится объектом при субъекте»¹. Априористичностью такого подхода объясняется несоответствие между устанавливаемыми Шахматовым отношениями и их формальным выражением. Разным членам предложения, выделяемым Шахматовым по формальным признакам, нередко свойственны одни и те же функции.

Значительная часть приглагольных дополнений, имеющих форму творительного падежа беспредложного, служит для выражения отношений, выражаемых и обстоятельствами. Таковы творительный причины, творительный образа действия, творительный времени, творительный пространства и некоторые другие. Шахматов усматривает существенное различие между такими дополнениями и обстоятельствами в различии способов их выражения, утверждая, что для обстоятельств характерно выражение их наречиями. Он по существу отождествляет обстоятельство с наречием, что видно из следующих слов: «Обстоятельство соответствует тем функциям, которые имеет в предложении наречие как название отношений. Под понятие отношения подходит несколько различных явлений, выражаемых наречием»². И далее перечисляются эти отношения, которые объединяются общим термином «обстоятельство». Соответственно основным своим функциям обстоятельства делятся на определяющие, дополняющие и сопутствующие. Ранее, в главе о творительном приглагольном, указывалось: «Обстоятельством выражаются отношения, в которых мыслятся признаки; отношения могут быть выражены наречием, сочетанием наречия с именем, а также другою частью речи, в частности именем существительным в творит. падеже; но существительное в косвенном падеже... является дополнением; обстоятельством же мы признаем его тогда, когда оно перейдет в наречие»³. Если обратиться к примерам, приводимым Шахматовым для обстоятельств, то мы найдем здесь существительные в косвенных падежах (без предлогов и с предлогами), переход которых в наречия весьма сомнителен, например: «Тут и там зажигались фонари, ехали почти непрестанной вереницей смутно видневшиеся экипажи», «Старый человек на ветер слова не скажет», «Мало у нас парней на мою статью, а то бы мы его озорничать-то отучили». Что отнесение этих и подобных форм к наречиям сомнительно, видно из того, что аналогичные формы существительных, с предлогами и без предлогов, можно найти и в примерах, приводимых Шахматовым для дополнений. Ср.: «Не слушая слов всадников более, Он мчит его во весь опор», «Все пошло своим порядком», «Князь позвонил и приказал вошедшему лакею, чтобы приго-

¹ См. А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 310. Стоит отметить, что, отправляясь от заранее установленных психологических категорий, Шахматов не выдерживает этого принципа. Это проявляется в ряде случаев, в том числе при описании дополнения. Попытку свести отношение между существительным, выражающим объект, и глаголом или прилагательным к осложненному отношению между названиями двух субстанций нельзя признать удачной.

² Там же, стр. 398.

³ Там же, стр. 340.

товлен был фаэтон *четверней*», «Двор обо двор с ним жил охотник...» (ср. «Тащатся шаг за шаг», где *шаг за шаг* рассматривается как наречие).

Конечно, вопрос о том, перешли ли те или иные падежные формы и предложно-падежные сочетания в наречии, может решаться по-разному. Дело здесь не в возможности различных мнений. Ошибочность классификационного принципа второстепенных членов Шахматова состоит в смешении синтаксических и морфологических явлений, и этого ему не удалось избежать потому, что он, положив в основу своей классификации признак функции второстепенного члена, не выдерживает его до конца, а время от времени исходит только из способа выражения второстепенного члена. Довольно отчетливо это смешение разных аспектов заметно в главе, посвященной дополнительному субстантивному и адъективному члену. Автор указывает, что с точки зрения функциональной можно было бы и «...не выделять особо учение об этом члене...»: последний «...по существу своему в большей части случаев представляется предикативно-атрибутивным приложением или определением к существительному, поставленному в дополнении...»¹. Выделяется же этот член предложения только в силу формального его признака, а именно в силу того, что он не всегда согласуется с господствующим над ним словом: он часто принимает форму творительного падежа. А это дает основание считать, что и согласованные с дополнением предикативные приложения и определения также приобретают независимость от «господствующего» над ними дополнения и должны рассматриваться, вместе с несогласованными, как особый синтаксический разряд. Но такое же употребление — и в именительном, и в творительном падеже — свойственно и именованному сказуемому. Поэтому Шахматов считает, что грамматическую природу творительного падежа сказуемого представляется возможным связать с природой дополнительного члена. А из этого делается вывод о необходимости рассмотреть в данной главе «все явления, связанные с возникновением и употреблением дополнительного члена»². И действительно, вслед за приведенным общим высказыванием Шахматов переходит к рассмотрению дополнительного члена в сказуемом³. Далее рассматриваются дополнительный субстантивный и дополнительный адъективный члены в прямом дополнении, в косвенном дополнении, после инфинитива и после причастия. Имеются в виду такие конструкции: «Ты привыкла видеть меня девочкой», «Сама его безумным называла», «Не мне быть судьей между женой и мужем», «(Он из Казанского собора отправился к графу Салтыкову, бывшему тогда нездоровым».

Во всех приведенных примерах действительно налицо существительные и прилагательные в творительном падеже. Но в одних случаях они связаны только с глаголом, в других — одновременно с глаголом и дополнением. При этом функция дополнительного члена по отношению к глаголу не зависит от того, употреблен ли последний в спрягаемой или неспрягаемой форме, ср. *видеть меня девочкой* — *видела меня девочкой* — *видевшая меня девочкой*; *быть нездоровым* — *буду нездоровым* — *бывший нездоровым*. Присвоение существительным и прилагательным, употреб-

¹ А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 348.

² Там же.

³ В этом вопросе у Шахматова наблюдается непоследовательность. В главе о связочном сказуемом он рассматривает существительное и прилагательное в именительном падеже, стоящие при связке, как второе сказуемое и указывает на возможность замены этого второго сказуемого дополнением в творительном падеже. А в главе о дополнительном субстантивном и адъективном члене существительное и прилагательное в именительном падеже при связке рассматривается не как второе сказуемое, а как дополнительный член; ср. «А молодая-то была первая затейница», «Петр, будь благоразумен» и «И ты смолоду все был кучером?» (там же, стр. 349, 350).

ляемым в подобных конструкциях, названия дополнительного члена вызвано не характером их функций, а, скорее, чисто внешним признаком — употреблением в качестве слова, д о п о л н я ю щ е г о тот или иной член предложения (*видеть девочкой*) либо выражающего лексическое значение аналитической конструкции (*быть судьей*). Любопытно, что дополнительный член в прямом дополнении, будучи выражен формой винительного падежа, может выполнять функции определений различного типа; например, в § 430 находим такие конструкции: «Я привел к ним Марью Ивановну, *бледную и трепещущую*», «Потом отвели меня в тюрьму и оставили *одного* в тесной и темной конюшке», «И через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича *вздернутого* на воздух».

Можно было бы продолжить разбор учения Шахматова о второстепенных членах предложения, указывая в нем много интересного, а также спорного и неправильного. Но из того, что здесь подверглось анализу, вполне достаточно для вывода, что хотя попытка Шахматова углубить рассматриваемый вопрос представляет значительный интерес, однако построенная им схема не выдерживает критики с точки зрения грамматической: общий подход к членам предложения характеризуется психологическим априоризмом; классификация второстепенных членов предложения не исходит из единого основания; намеченные разряды частично перекрещиваются. Кроме того, при характеристике отдельных конструкций иногда неправомерно привлекаются моменты генетические; нередко факты диалектной речи рассматриваются в одном ряду с фактами литературного языка; не всегда конструкции архаические отделяются от современных, явления непродуктивные выступают зачастую рядом с продуктивными.

Как сказано в начале настоящей статьи, «Грамматика русского языка» АН СССР приняла традиционную схему второстепенных членов предложения. «Во второстепенных членах предложения как бы синтезируются, обобщаются по функции те же разнообразные грамматические отношения, — говорится во введении ко II тому «Грамматики», — которые обнаруживаются между словами в строе словосочетаний»¹. Конечно, только в этом обобщении и может состоять смысл сведения всех второстепенных членов к небольшому числу классов. Но только при условии, что каждый из таких классов может быть отчетливо характеризован указанием на его синтаксическую функцию и с полной очевидностью противопоставлен всем остальным классам, может быть признана целесообразной и правильной та или иная классификация. При этом необходимо, конечно, чтобы в основе классификации лежал единый признак и чтобы этот признак был существенным с грамматической точки зрения.

Но такого классификационного признака «Грамматика» не выдвигает. Попытка обратиться к морфологической стороне второстепенных членов, которая могла бы выступать как признак, дифференцирующий отдельные их разновидности, также не дает прочных оснований для классификации. После указания на то, на каких морфологических категориях базируется преимущественно каждый из трех традиционных классов второстепенных членов, в «Грамматике» делается следующая существенная оговорка: «Но функционально-синтаксические оттенки, облекающие морфологическое ядро категорий определения, дополнения и особенно обстоятельственного, оказываются настолько сложными, а иногда и недифференцируемыми и внутренне противоречивыми, что они очень часто выходят за рамки этих категорий или создают ряд переходных, смешанных типов»². К этому следует добавить, что встречается очень много случаев, когда тот или иной

¹ «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1, стр. 94.

² Там же, стр. 95—96.

второстепенный член предложения вообще не может быть включен, даже с паяжкой, ни в один из существующих классов. Таковы многие из «дополнительных» членов, выделяемых Шахматовым, как, например: «Вдовой уже взял ее, с тройми детьми, мал мала меньше», «И как могла она, зная себя *неверной*, быть попрежнему спокойной, ласковой и доверчивой с ним», «Пьер, с раннего утра уже стянутый в неловком, сделавшемся ему узким, дворянском мундире, был в залах», «Нетерпение *доехать* до Тифлиса исключительно овладело мною», «Спешу *ответить* на ваше письмо» (ниже будут приведены и другие примеры).

И, конечно, правильно заключение, делаемое после приведенных рассуждений во введении ко II тому «Грамматики»: «... выделение трех второстепенных членов предложения и распределение по их рубрикам всего многообразия живых синтаксических связей слов в составе предложения связано с искусственной схематизацией структуры предложения и далеко не всегда основано на грамматических принципах¹. Сохраняя традиционную классификацию второстепенных членов предложения, «Грамматика» все же пытается формулировать значения каждого из них, обобщить и формулировать многообразные отношения между членами словосочетаний, которые в той или иной мере близки между собою. Вот эти формулировки:

«Второстепенный член предложения, относящийся к члену предложения — слову с предметным значением (существительному, местоименному существительному, количественному числительному, а также к любому субстантивированному слову) и характеризующий называемый этим словом предмет со стороны его качества, признака или свойства, называется **о п р е д е л е н и е м**².

«Второстепенный член предложения, относящийся к члену предложения, выраженному глаголом, существительным, местоименным существительным, прилагательным, числительным или наречием и обозначающий предмет, на который переходит действие, который является результатом действия, по отношению к которому совершается действие или проявляется признак, либо обозначающий действие как объект, на который направлено другое действие, называется **д о п о л н е н и е м**³.

«Второстепенный член предложения, относящийся к члену предложения, выраженному глаголом, отглагольным существительным, прилагательным или наречием и служащий для характеристики действия или признака в отношении его качества или интенсивности либо для указания способа совершения действия, времени, места, причины, цели, условия, с которыми связано действие или проявление признака, называется **о б с т о я т е л ь с т в о м**⁴.

Вслед за приведенными формулировками делается несколько оговорок: о том, что в зависимости от форм слов, которыми выражаются второстепенные члены, они квалифицируются с различной степенью определенности, о том, что квалификация второстепенного члена часто зависит от лексического значения поясняемого им слова, о возможности в ряде случаев двойного толкования функции второстепенного члена и др.

Нужно сказать, что определения второстепенных членов, данные в «Грамматике», сравнительно с определениями, даваемыми обычно как в учебной, так и в теоретической литературе, наиболее удачны, насколько это вообще возможно в рамках традиционной схемы.

Безусловно положительным элементом этих определений является то, что в них указывается, ч е м (какой частью речи) в ы р а ж е н в каждом

¹ «Грамматика русского языка т. II, ч. 1, стр. 96—97.

² Там же, стр. 522.

³ Там же, стр. 523.

⁴ Там же.

отдельном случае п о я с н я е м ы й член предложения. Однако на основании этого признака второстепенные члены не могут быть отчетливо противопоставлены друг другу, так как разными второстепенными членами могут поясняться слова, принадлежащие к одной и той же части речи: при существительных могут быть в качестве поясняющих слов как определения, так и дополнения, а при прилагательных, так же как и при глаголах, возможны как дополнения, так и обстоятельства. Весьма обстоятельно в приведенных определениях указывается, с какой стороны характеризует второстепенный член предложения то слово, которое им поясняется. Однако эти указания верны большей частью лишь постольку, поскольку они общи: в самом деле, понятие признака или свойства по отношению к предмету очень неопределенно, так же неопределенно понятие предмета, «по отношению к которому совершается действие или проявляется признак». В примерах определений, данных в «Грамматике», мы находим такие (здесь приводятся только словосочетания с определениями, извлеченными из предложений): *артист труппы, непрерывность движения, щель в ставне, разрешение говорить* и т. п. По-видимому, эти определения характеризуют «признак» предмета, но остается неясным, можно ли сюда же отнести второстепенные члены в таких примерах: *начало зимы, в разгаре споров, глубина мыслей, обилие плодов, стакан воды* и т. п.?

Далее, вряд ли можно подвести под понятия качества, признака, свойства функции некоторых типов приложений, в частности приложений — собственных имен, например: «А дочка его, *Екатерина Александровна*, поверь мне, замечательная красавица...».

Если дополнениями признаются все формы существительных, служащие для пояснения отглагольных существительных, соотносительных не только с переходными, но и с непереходными глаголами, то к дополнениям должны быть отнесены второстепенные члены не только типа *ему вручена награда за храбрость* (ср. *наградить за храбрость*), но также, по-видимому, и *ему вручена медаль за храбрость*, хотя в обоих случаях *за храбрость* выражает «признак» (ср. *награда за усердие, медаль за спасение утопающих*). Куда следует отнести второстепенные члены в таких примерах: *прыжок с парашютом* (ср. *прыгнуть с парашютом*; но *с парашютом* служит и указанием на признак, вид прыжка), *вступление к опере* и *увертюра к опере*? К ним в равной мере можно применить термины «определение» и «дополнение», — а причиной этого является то, что определения этих членов предложения слишком «вместительны». Еще больше такого рода замечаний можно сделать относительно обстоятельств, но это здесь излишне, так как много раз отмечалось в литературе.

Но безусловно следует отметить, что в классе обстоятельств уже издавна принято объединять совершенно различные по своим функциям типы второстепенных членов. Функциями обстоятельств, как это формулировано в приведенном выше определении, являются, во-первых, «характеристика действия или признака в отношении его качества или интенсивности», во-вторых — «указание способа совершения действия» и, наконец, в-третьих — указание «времени, места, причины, цели, условия, с которыми связано действие или проявление признака»¹.

¹ Здесь, кстати, нужно отметить непоследовательность во внутреннем размещении функций обстоятельств: в основном определении, как видно из текста, «способ совершения действия» выделен как отдельная функция; в § 796 («Классификация обстоятельств по значению») функция «способа» раскрывается в виде «пространственной, временной, количественной» характеристики, а дальше, в §§ 805—812, в которых описываются только «обстоятельства, определяющие способ совершения действия», пространственные, временные и количественные характеристики отсутствуют; обстоятельства места, времени, меры описываются в другом отделе вместе с обстоятельствами причины, цели и условия (§§ 813—833).

По существу своему функция обозначения качества, интенсивности, а также способа действия соответствует функции определения в словосочетаниях с именами существительными; ср. *глядят ровно, спокойно* — *ровный, спокойный взгляд*; *сильно беспокоиться* — *сильное беспокойство*; *ездил целым домом* — *поездка целым домом*; *живет по-цыгански* — *жизнь по-цыгански*. Правда, таких примеров (с существительными) в главе об определении мы не находим, но их нет и в главе об обстоятельстве, а между тем в языке-то они существуют, и в соответствии с данными в «Грамматике» определениями второстепенных членов имеются одинаковые основания отнести приведенные второстепенные члены и к обстоятельствам, и к определениям. Не так обстоит дело с второстепенными членами, относимыми к обстоятельствам места, времени, меры, причины, цели и условия. В отличие от второстепенных членов, обозначающих качество, интенсивность действия или признака, а также способ совершения действия или проявления признака, т. е. то, что как бы заключено в самом действии при его совершении или в самом признаке при его проявлении, другая группа второстепенных членов обозначает то, что действительно можно называть обстоятельствами, т. е. внешними по отношению к действию или признаку предметами, явлениями, признаками, так или иначе характеризующими действия или признаки¹. То, что под названием обстоятельства объединяются очень разнородные по функциям второстепенные члены, между прочим, находит отражение в большом разнообразии морфологических средств выражения членов предложения, относимых к этому классу.

К сделанным в «Грамматике» после определений второстепенных членов предложения оговоркам следует прибавить еще одну, пожалуй, наиболее существенную: в русском языке много конструкций с такими второстепенными членами, которые вообще невозможно отнести ни к одному из традиционных классов, так как функции этих второстепенных членов не соответствуют ни одному из даваемых определений. Ср., например, такие: *пришел в шляпе, получил в итоге, вернулся из командировки, кричал в бреду, попали в окружение, вступить в партию, ты еще молод учить, рад видеть, плакать во сне, опоздать на доклад* и многие другие. Конечно, ко многим из приведенных второстепенных членов, поскольку они выражены существительными, можно поставить вопрос (иногда, впрочем, и это не легко) и, в соответствии с вопросом, чисто механически сказать, что в одном случае перед нами дополнение, а в другом обстоятельство, например: *пришел в чем?* — *в шляпе* (дополнение), *вернулся откуда?* — *из командировки* (обстоятельство места), *вступить во что?* (*куда?*) — *в партию* (дополнение? обстоятельство места?). Но уже из этих нескольких примеров ясно, насколько нелеп такой прием квалификации второстепенных членов. А ведь к другим конструкциям даже и таких вопросов нельзя поставить, например: *плакать во сне, получил в итоге, ты еще молод учить*.

При изучении второстепенных членов предложения нередко наблюдаются некоторые упущения исследуемых фактов. Как на пример таких упущений можно указать на игнорирование второстепенных членов сложного состава. В языковом употреблении часто встречаются слившиеся в одно целое сочетания двух и более второстепенных членов, из которых каждый в отдельности и мог бы быть отнесен к особому классу. В таких

¹ Второстепенные члены со значением «способа» действия охватывают несколько неоднородных функциональных типов: ср. *жить вдвоем; слушать с улыбкой; закричал в бешенстве; смотреть сквозь слезы; ползет червяком; покачивались, точно колосья* (больше сюда подходит термин «образ действия»).

предложениях, как *В лесу ночью очень страшно*, *У нас дома всегда было многолюдно*, *В лице у нее ни кровинки*, тесно сцеплены второстепенные члены с разными функциями: один обозначает место, другой — время, или один обозначает время, другой — обстановку и т. п. Но в таких случаях мы имеем дело не с двумя самостоятельными, отдельно сочетающимися с общим для них поясняемым словом, членами предложения. Это видно хотя бы из того, что они произносятся без какого бы то ни было интервала и с одним ударением. К какому же из числа традиционных классов можно отнести такие второстепенные члены? Ясно, что ни к одному из них. Да и при более «совершенной» классификационной системе они должны были бы остаться вне классификации. Ведь большую роль при выяснении функции второстепенного члена предложения играют, помимо установления морфологического способа его выражения и морфологической принадлежности поясняемого члена предложения, лексические значения того и другого, что отмечается и во введении к «Грамматике». Однако эта сторона вопроса, ощущаемая чисто эмпирически, совершенно еще не изучена и поэтому ничего не может дать в настоящее время для какой бы то ни было систематизации второстепенных членов.

*

После Шахматова вопросу о второстепенных членах предложения было посвящено несколько журнальных статей, из которых наибольший интерес представляет статья Р. И. Аванесова «Второстепенные члены предложения как грамматические категории»¹. Автор названной статьи считает более правильной так называемую логическую точку зрения на второстепенные члены предложения, которая «по-своему схватывает сущность изучаемого явления, а не скользит по поверхности». «Хотя в современном русском языке нет полного параллелизма между частями речи и членами предложения, все же каждая морфологическая категория, исторически выделившись в качестве определенного члена предложения, и до сих пор представляет собой специфический способ выражения данного члена предложения... Поэтому в современном русском языке каждый член предложения может быть морфологизованный (т. е. выраженный предназначенной для данной категории синтаксической функции формой) и неморфологизованный, чисто синтаксический (т. е. выраженный формой, не специализировавшейся для данной синтаксической функции)»². Так как морфологические категории, которыми выражаются второстепенные члены, не могут служить критерием для их классификации, то последняя должна основываться на других признаках. Главным таким признаком должен служить, по мнению автора статьи, вопрос, который может быть поставлен от поясняемого члена предложения к поясняющему его второстепенному члену. В этих вопросах находит свое истинное выражение синтаксическая сущность второстепенных членов. Кроме соотносительности вопроса и ответа, для выделения второстепенных членов предложения важное значение имеют «соотношения в пределах одного предложения», т. е. возможность сочинительной связи внутри предложения между разноформенными второстепенными членами. Если с «морфологизованным» членом предложения может быть соединен как однородный «неморфологизованный» член, то это означает, что второй принадлежит к тому же классу второстепенных членов, что и первый (*Он пишет чисто и без ошибок* — два обстоятельства, *худой и высокого роста мальчик* — два определения). Что касается первого признака — соответствия второстепенного

¹ «Р. яз. в шк.», 1936, № 4.

² Там же стр. 56.

члена тому или иному вопросу — то он, как известно, выдвинут в нашей грамматике еще в начале прошлого века и в рассматриваемой статье только более глубоко мотивирован. Нельзя отрицать, что многие второстепенные члены действительно соответствуют различным вопросительным местоимениям. Но для того, чтобы ответить, к какому классу принадлежит второстепенный член, отвечающий на тот или иной вопрос, необходимо знать, каким членом предложения следует считать соответствующее вопросительное местоимение. Есть ли у нас достаточные основания утверждать, что *над чем?*, *на что?* — всегда дополнения, *для чего?* — всегда обстоятельство цели, *сколько?* — всегда обстоятельство меры и т. п.? Ср. *Самолет пронесся над рощей* (дополнение?), *Туша остановилась над Смоленском* (дополнение? обстоятельство?); *Собрались для переговоров* (обстоятельство цели?), *Продаются камеры для велосипедов* (дополнение? определение?); *Это стоит рубль* (обстоятельство меры?), *Истратил сто рублей* (дополнение? обстоятельство меры?). Судя по приведенным примерам (а число их легко умножить), таких оснований у нас нет. Несомненно, что в ряде подобных случаев можно поставить и одни и другие вопросы. А в очень многих случаях, как показано было выше, «разумных» вопросов и вообще поставить нельзя; ср. еще такие конструкции: *заплатил десять рублей серебром, нос картошкой, потери убитыми и ранеными, порода гусей, вернулась больным, помню его юношей, сидели за ужином, приходил три раза в неделю* и т. п.

А может быть, плоха не вообще идея сведения многообразия отношений, выражаемых второстепенными членами, к небольшому числу обобщающих классов, а неудача существующая система т р е х к л а с с о в? Не разрешается ли данная проблема увеличением числа второстепенных членов до такого количества, которое, обобщая, охватило бы все возможные отношения? Но если искать решения вопроса на этих путях, то это значит — признать, что существующий принцип классификации в о с н о в е с в о е й правилен и что требуется лишь более тщательно обобщить функции второстепенных членов. Однако, как должно быть ясно из всего сказанного ранее, именно те принципы, по которым до сих пор пытались устанавливать принадлежность второстепенного члена к тому или иному классу, не отвечают существу дела.

Р. И. Аванесов, выдвигая положение о морфологизованных и неморфологизованных членах предложения (эта же мысль проводится и в «Грамматике»), надо думать, прав с точки зрения истории формирования классов второстепенных членов¹. Но по отношению к современному русскому языку нет решительно никаких оснований утверждать, что для определения «стандартной» формой является согласуемое слово, для дополнения — косвенный падеж субстантива, для обстоятельства — наречие и дееспричастие (кстати, так называемые обстоятельства существовали задолго до того, как сформировалось дееспричастие). Именно то, что в предложении, как правильно указывает Р. И. Аванесов, могут объединяться сочинительной связью однородные члены предложения, выраженные различными морфологическими категориями, свидетельствует о том, что в данной своей функции эти категории равноправны и что не может быть речи о «приоритете» одних из них по отношению к другим. Конечно, нель-

¹ Утверждать это приходится с оговорками, так как данный вопрос совсем не изучен. К тому же несомненно, что классы второстепенных членов складывались не «фронтально», а одни раньше, другие позже; есть все основания полагать, что так называемые обстоятельства сложились позже, чем так называемые определения и так называемые дополнения, и притом на базе последних. Все это происходило в тот период жизни языка, от которого до нас не дошло никаких фактических данных (в древнейших памятниках и в диалектах картина в целом та же, что и в современном литературном языке).

зя отрицать того, что если *худой* при слове *мальчик* — определение, то и *высокого роста*, соединенное посредством союза *и* со словом *худой*, — тоже определение; что если *чисто* при слове *пишет* — обстоятельство образа действия, то и *без ошибок*, соединенное со словом *чисто* посредством союза *и*, — тоже обстоятельство. А отсюда, понятно, мы вправе сделать вывод, что определение может выражаться не только согласуемым словом, но и другими формами, что обстоятельство может выражаться не только наречием, но и другими формами. Но это верно лишь в той мере, в какой мы в с я к о е прилагательное считаем определением и в с я к о е зависимое наречие — обстоятельством. А ведь не мало таких случаев, когда, встречая второстепенные члены, соединенные сочинительной связью с другими второстепенными членами, выраженными другой частью речи, мы не можем сказать, к какому классу причислить как тот, так и другой, например: «...Сняли голову — *не большой горой, а соломинкой...*» (Кольцов, Лес)¹. Иногда даже и более простые конструкции вызывают затруднения относительно квалификации второстепенных членов, связанных сочинительным союзом, например: «*Сердитый и ни на кого не глядя*, он вышел из комнаты». В «Грамматике» о подобных случаях говорится, что здесь прилагательным выражается обстоятельственное определение, почему оно и «...может входить в один ряд с второстепенными членами — обстоятельствами, выраженными деепричастиями, наречиями и косвенными падежами имен существительных»². Но какие здесь обстоятельственные значения? Если *ни на кого не глядя* еще можно с натяжкой причислить к обстоятельству образа действия, то *сердитый* никак не подойдет к этой разновидности обстоятельств.³ Нужно сказать, что вообще члены предложения, находящиеся в «обособленном» положении, в значительной своей части не поддаются или поддаются с большими оговорками традиционной классификации. Присущий им элемент предикативности может очень резко ослаблять их функцию как второстепенного члена предложения. Это почти всегда относится к конструкциям, возглавляемым сочетаниями существительных в косвенных падежах без предлогов и с предлогами и служащим для описания внешнего вида лица или предмета либо для выражения других отношений, например: «*Шабашкин, с картузом на голове*, стоял подбочась и гордо взирал около себя» (Пушкин, Дубровский), «*Сегодня она, в новом голубом капоте*, была особенно молода и внушительно красива» (М. Горький, Жизнь Климса Самгина)⁴, «*Восемнадцатого марта эшелон Луганского отряда ворвался через закрытый семафор на станцию Ворожба — в одном перегоне от Конотопа*» (А. Н. Толстой, Хлеб), «*Я, тоже с узлом на спине, семенил за нею...*» (Гладков, Вольница). То же можно сказать о конструкциях, вводимых в предложение предлогами *вместо, кроме, помимо, подобно, включая, исключая* и т. п., например: «*Подобно Василию*, она любила независимость...» (Тургенев, Три портрета), «...Правда, мы можем, *по нашим бабушкам*, судить о степени образованности дворянок времен Екатерины...» (Тургенев, Три портрета), «*У нее никто не бывал, кроме нас...*» (Чехов, Моя жизнь). Об обособленных конструкциях второго типа в «Грамматике», где они помещены в самом конце раздела «Обособленные второсте-

¹ В «Грамматике» (т. II, ч. 1, стр. 632) однородные члены этого предложения рассматриваются как дополнения, с чем, если только не исходить из того, что здесь существительные в косвенном падеже, нельзя согласиться. Это как раз такой случай, когда невозможно отнести второстепенный член ни к одному из существующих классов.

² Там же, стр. 646.

³ А. А. Шахматов, как известно, рассматривает такие конструкции в разделе двусказуемых предложений (см. указ. соч., стр. 226).

⁴ Эти два примера взяты из «Грамматики» АН СССР.

пенные члены предложения», сказано: «Слова с таким значением в предложении являются относительно самостоятельными и лишь условно могут рассматриваться как дополнения»¹.

*

Итак, следует признать, что существовавшие до настоящего времени учения о второстепенных членах предложения не отвечают современным принципам научной грамматики. Самая двойственность в подходе к второстепенным членам, выдвигнутая в свое время Буслаевым, свидетельствовала о том, что ни один, ни другой аспект не схватывает существа явления в целом, а между тем грамматическая квалификация всякой языковой категории должна покоиться на единстве формы и выражаемого ею значения. Большинство ученых, уделявших внимание второстепенным членам, по разным мотивам не считали нужным или возможным порвать с традицией «триады» и искали решения вопроса в подведении той или иной базы под старое здание. Время от времени делались попытки построения новой схемы. Наиболее интересной из этих попыток является теория Шахматова, однако и его классификация оказалась неудачной. Наконец, некоторые русские синтаксисты (как, например, Петерсон, Пешковский) вовсе отказались от классификации второстепенных членов, предпочтя ей подробный анализ синтаксических отношений, вскрываемых в словосочетаниях различных типов. «Грамматика» АН СССР сделала попытку объединить учение о второстепенных членах предложения с учением о словосочетании. Но в главе «Второстепенные члены предложения» оговорено, что излагаемая в ней классификация членов предложения «охватывает наиболее ясные и бесспорные типы»². А ведь неясных и спорных типов, пожалуй, не меньше, а больше. И они так и остаются неясными и спорными. До каких же пор? И почему это так? Почему, например, принцип определения подлежащего не вызывает возражений? Почему не должно вызывать сомнений отнесение к классу определений второстепенных членов, выраженных согласуемыми формами?

Объяснить это следует тем, что у подлежащего и у определения, выраженного согласуемыми формами, способ их выражения и синтаксическая их функция находятся в полном соответствии: подлежащее — абсолютно независимый член предложения, им обозначается субъект действия или носитель признака, названного в сказуемом; определение — подчиненный член предложения, уподобляемый по формам числа и падежа, а в единственном числе и по форме рода, подчиняющему члену предложения и выражающий признак, который принадлежит лицу или предмету, названному подчиняющим членом. То же можно сказать и об обстоятельствах, выраженных наречиями. Но обо всех других членах предложения этого уже сказать нельзя: учение о второстепенных членах предложения в целом — предмет не только грамматики, но и лексики.

В слове, когда оно выступает в роли члена предложения, взаимно перекрещиваются значения грамматические, т. е. категориальные, и значения лексические, т. е. индивидуальные.

В связи с этим, несмотря на одинаковость форм многих слов, отношения между ними как членами словосочетания (и, соответственно, как членами предложения) могут быть различными. Например, в словосочетании *чтение Маяковского* оба слова, оставаясь в пределах одинаковой формы одной и той же части речи, могут иметь неодинаковые лексические значения: *чтение* может обозначать и «зрительное восприятие письменного

¹ «Грамматика...», т. II, ч. 1, стр. 659.

² Там же, стр. 523.

или печатного текста» и «произнесение вслух литературного текста», *Маяковский* может обозначать и «произведения поэта, носившего фамилию *Маяковский*» и «поэт, носивший фамилию *Маяковский*». Отсюда — и возможность различных синтаксических отношений между членами приведенного словосочетания: в одном случае второй его член называет объект действия, выраженного первым членом, в другом случае второй член называет субъект действия, выраженного первым членом. Еще очевиднее это оказывается в таких, например, словосочетаниях, как *урок химии, роль химии, закон химии, раздел химии; склад шерсти, цвет шерсти, остатки шерсти; пятна на руках, пирожок на дрожжах, концерты на праздниках; пожимать плечами, питаться фруктами, идти лесами*.

Означает ли все это, что учение о второстепенных членах предложения вообще невозможно, что постановка этой проблемы бесперспективна? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ясно представить себе, в чем должна состоять сущность данной проблемы.

Выше было показано, что ограничиться установлением способов морфологического выражения второстепенных членов — значит не продвигнуться вперед по пути синтаксического осмысления явления. В результате применения противоположного метода — от тех или иных «смысловых» категорий к способам их выражения — оказывается, что распределение второстепенных членов по этим трем разрядам ни к чему не приводит, так как многие конструкции не подходят ни к одному из них и тем самым «компрометируют» и всю эту схему.

Конечно, правильен путь «от форм к функциям». И в этом смысле «Грамматика» АИ вполне правомерно начинает описание синтаксического строя современного русского языка с обзора словосочетаний. Но обобщение всех отношений, обнаруживаемых в словосочетаниях, в традиционных трех классах второстепенных членов не могло дать и не дало положительных результатов. При нынешнем состоянии разработки данной проблемы целесообразнее ограничиться изучением словосочетаний, не добиваясь пока во что бы то ни стало сведения обнаруженных в них синтаксических отношений к тому или иному числу более общих категорий.

Перед тем как приступить к такому «высшему» обобщению, необходимо проделать серьезную работу по объединению в группы уже обследованных словосочетаний под разными углами зрения, как-то: 1) с точки зрения морфологической категории «поясняемого» слова, с дальнейшей группировкой «поясняемых» слов каждой из категорий по их лексическому значению; 2) с точки зрения морфологической категории «поясняющего» слова, с дальнейшей группировкой «поясняющих» слов каждой из категорий по их лексическому значению; 3) с точки зрения наличия или отсутствия предлогов при «поясняющих» словах, выраженных косвенными падежами существительных, личных и лично-предметных местоимений, с дальнейшим подразделением предложных словосочетаний по выражаемым в них отношениям в соответствии со значениями имеющихся в них предлогов. Это большая и длительная работа, требующая значительных усилий, но останавливаться перед ней нельзя, ибо только таким путем можно прийти к построению подлинно научной теории о классах второстепенных членов предложения в современном русском языке.

О. Н. ТРУБАЧЕВ

К ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ
ТЕРМИНОВ РОДСТВА

(и.-е.**ǵenə-*, слав. *rodъ*, *plemę*, **obytjo-*)

В предлагаемой статье мы рассмотрим некоторые индоевропейские основы, которые в славянских языках дали названия главных единиц семейно-родового устройства. Сравнительный анализ помогает определить древнейшие и более новые образования.

Несомненно, общиндоевропейским является корень **ǵen-* (**ǵene-*, **ǵenə-*), образующий во многих индоевропейских языках название рода, а также название действия [«рождать(ся)»]. Следы этого корня находим в др.-инд. *jānas* «род», *jānati* «рождает», ср. *janitā* «родитель, отец», *jñātis* «родственник»¹, лат. *genus, generis* «потомство, род»², сюда же *gigno, -ere* «рождать, производить», греч. γεννάω «рождать», γίγνομαι «делаться, становиться», γένος, -ους «род», готск. *kuni* «род, поколение»; ср. также производные в роли терминов родства: др.-исл. *kundr* «сын», нем. *Kind* «дитя», греч. γυνάτις «родственник, брат», γυνή «сестра», латыш. *znuōtis* «зять»; сюда же и литовск. *gentis* «родственник» (*g* вместо *ž* под влиянием *gimti* «рождаться»), ср. лат. *gēns, gentis* «род, родня»³. Корень широко известен индоевропейским языкам. Отсутствие его в некоторых из них явилось, по-видимому, результатом определенных местных перемещений в словаре, в ходе которых за счет и.-е. **ǵen-* распространились другие основы, нередко тоже древние, индоевропейские, но употреблявшиеся ранее в иных значениях. Такова роль разбираемого ниже и.-е. **erad(h)-* и его разнообразных производных. Во всяком случае, отсутствие непосредственных рефлексов и.-е. **ǵen-* в некоторых индоевропейских языках (в частности, в славянских) не может рассматриваться как свидетельство того, что эти языки никогда не знали корня **ǵen-*.

Типичным для славянского и отличающим его от других индоевропейских языков, в том числе и от балтийских, является исключительное употребление в значениях «род, рождать(ся)» местных названий, ср. ст.-слав. *rodъ*, *rodити*. Это чисто славянское новшество, которое, однако, представляет собой в сущности лишь новое использование весьма древних индоевропейских морфем⁴. В славянском существует ряд слов, фо-

¹ См. С. С. Uhlenbeck, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache, Amsterdam, 1898/1899, стр. 96, 103.

² См. А. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 2-e Aufl., Heidelberg, 1910, стр. 339.

³ См.: А. Walde — J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Bd. I, Berlin — Leipzig, 1930, стр. 576 и сл.; А. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, t. I, 3-e éd., Paris, 1951, стр. 481 и сл.; S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, 3-e Aufl., Leiden, 1939, стр. 316; А. Jóhannesson, Isländisches etymologisches Wörterbuch, Bern, 1952, стр. 330—331.

⁴ К сожалению, весьма чувствительный пробел в балтийском словаре отрицательно сказался на изучении этого слова, история которого до сих пор не вполне выяснена.

нетический облик которых близок к *родъ*, *родити*: русск. *радеть* «стараться», сербск. *рад* «работа», русск. *рад*, ст.-слав. *расти*. Сопоставим семантически более близкие *родъ*, *родити*: *расти*. Эти формы сравниваются с санскр. *ṛdhāti* «процветает, удается; совершает»¹, латыш. *rads* (= ст.-слав. *родъ*)²; форма с начальным плавным считается здесь исконной³.

Противоположная точка зрения наиболее ярко представлена А. Брюкнером⁴. Брюкнер справедливо указывает на отсутствие в известной работе Торбьернссона⁵ формы *-ord-*, к которой в итоге славянской метатезы плавных могут восходить формы с основой *rad-*. Брюкнер критикует также упомянутое место «Балто-славянского словаря» Траутмана, который выделяет целых шесть особых древних форм: *rada-* «рождение», *rada-* «радостный», *rādei* «для, ради», *radeiō* «заботиться», *rādītei* «показывать», *randō* «находить». Однако мысль о метатезе проведена Брюкнером недостаточно последовательно, он говорит лишь о слове *pad* < **arda-*, ср. имя 'Αρδύγαστ «Φιλόζενος» (VI в.) = *Radigost*.

Известную опору старой точке зрения о ст.-слав. *родъ*, балто-слав. **rada-* представляет специальный закон, выдвинутый Лиденом⁶, согласно которому в этом случае, как и в ряде других, в балто-славянском перед *r* выпало начальное неслоговое *ц*, т. е. **rada-* < **urada-*. Это дает возможность сравнить его с санскр. *vrādhant* «торчащий, выдающийся»⁷. С этим, однако, далеко не все согласны⁸. Вообще закон Лидена не принадлежит к числу вполне проверенных достижений сравнительного языкознания; так, отдельные случаи, на которые распространяли упомянутый закон, можно объяснить иначе⁹, в других случаях в том же положении *v* в славянском сохранилось (*спать* — ср. санскр. *vratām*)¹⁰. Далее, ст.-слав. *родъ* состоит в очевидном родстве с формами, не имеющими ничего общего с и.-е. **ueredh-*, **ueradh-*, из которого некоторые исследователи объясняют ст.-слав. *родъ*, *родити*¹¹, а именно: ср.-в.-нем. *art* «происхождение, род», нем. *Art* «вид, способ», которое Р. Мерингер¹² сопоставляет со ст.-слав. *родъ* «происхождение, род»; арм. *ordi* «сын», которое Х. Педерсен¹³ вслед за Видеманом сопоставляет со ст.-слав. *родъ*; сюда

¹ См. С. С. Uhlenbeck, указ. словарь, стр. 34.

² См. И. Эндзелин, Славяно-балтийские этюды, Харьков, 1911, стр. 195. Специально о латыш. *rads* «родственник», *radīt* «родить» см. K. Müllenbachs, *Latviešu valodas vārdnīca*, sēj. III, Riga, 1927—1929, стр. 462.

³ См. R. Trautmann, *Baltisch-slavisches Wörterbuch*, Göttingen, 1923, стр. 234.

⁴ См. A. Brückner, *Wörter und Sachen*, «Zeitschrift für vergl. Sprachforschung auf dem Gebiete der indogerm. Sprachen», begründet von A. Kuhn («Kuhn's Zeitschrift»), Bd. 45, Heft 2, 1912, стр. 108, примеч. 1; его же, *Mythologische Thesen*, «Archiv für slavische Philologie», Bd. 40, 1926, стр. 12—14.

⁵ T. Torbjörnsson, *Die gemeinslavische Liquidametathese*, Upsala: I—1901; II—1903.

⁶ E. Lidén, *Ein baltisch-slavisches Anlautgesetz*, в кн. «Göteborgs Högskolas Årsskrift», Bd. V, Göteborg, 1899.

⁷ См. также: K. Brugmann, *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen*, Strassburg, 1904, стр. 108; W. Vondrák, *Vergleichende slavische Grammatik*, Bd. I, Göttingen, 1906, стр. 283.

⁸ См. необходимые библиографические сведения: А. Преображенский, *Этимологический словарь русского языка*, т. II, М., 1914—1916, стр. 209.

⁹ Например, слав. *rota* «клятва, присяга» — не из **urota*: санскр. *vratām*, а из **rokti*: **rekti* (об этом подробнее см. в моей статье, печатающейся в сборнике статей в честь С. Младенова, в Софии).

¹⁰ См. А. Преображенский, указ. словарь, т. I, М., 1910—1914, стр. 100.

¹¹ См. A. Walde — J. Pokorny, указ. словарь, Bd. I, стр. 289—290.

¹² R. Meringer, *Wörter und Sachen*, II, «Indogermanische Forschungen», Bd. XVII, Heft 1—2, стр. 123—124.

¹³ H. Pedersen, *Armenisch und die Nachbarsprachen*, «Kuhn's Zeitschrift», Bd. XXXIX, N. F. Bd. XIX, Heft 3, 1904, стр. 360.

же относят санскр. *rādhnōti* «выполняет, совершает» < **erdh-/*ordh-*, **redh-/*rodh-*; ср. также арм. *urju* (< **ordyu : ordi*) «пасынок»¹. Сюда же, по-видимому, следует отнести и хетск. *hardt-* ср. род «правнук (?); го-томок», и хетск. иероглифич. *hardt-* «праправнук»², с *h* ларингальным, т. е., возможно, из п.-е. **ardho-*.

Ср., далее, группу, близкую по значению к ст.-слав. раст \bar{X} (< **orstg*) и родственную ему в этимологическом отношении: др.-исл. *ordugr* «крутой, возвышенный»³, лат. *ardu-os*, ирл. *ard* «высокий, большой»⁴. Р. Фаукес объединяет вокруг п.-е. **rdh-uo-* (**erdh-uo-*) галльск. *ardu-*; ср. *Arduenna silva*, ирл. *ard*, валлийск. *ardd-* «высокий»⁵, сюда же лат. *arduus* «возвышающийся, высокий», лат. *arbor* «дерево», слав. **orstg* «расти» (**ordh-*, **ordh-tō*), тохарск. *Aorto* «вверх»⁶. Представленные индоевропейские формы правильно объясняются из **ardh-*, **arddh-*; лат. *arduus* точно соответствует п.-е. **ard(h)-uo-* (*a* перед гласным, как обычно, не оставляет следов, \check{d} индоевропейское > \check{a} южных индоевропейских языков, согласно Е. Куриловичу). Объясненное таким образом лат. *arduus* не может быть сооставлено с греч. $\alpha\rho\delta\acute{\alpha}\varsigma$ $\Phi\omicron\rho\delta\acute{\alpha}\varsigma$ ⁷, поскольку **ardh-* не соответствует **urdh-* греческого слова. Точно так же, видимо, следует отграничить от форм **ardh-* и все остальные формы, восходящие, как и греч. $\Phi\omicron\rho\delta\acute{\alpha}\varsigma$, санскр. *vr̥dhant*, к **urdh-*, **urdh-*.

После необходимых уточнений остается группа слов, близких в фонетическом и относительно близких в семантическом отношении. Очевидно, что значения ст.-слав. *rodъ*, арм. *ordi*, *urju* («сын, пасынок», хетск. *hardt-* «правнук, праправнук» представляют собой результат вторичного развития определенного первоначального значения, которое представилось удобным для такого развития. Это первоначальное значение, возможно, отражено в слав. **orstg*, ст.-слав. *раст \bar{X}* , *раст \bar{u}* , ср. лат. *arbor* «дерево», а также многочисленные примеры значений «высокий», «верх», которые можно понять как «выросшее, выросший» и т. п.⁸ Таким образом, считаем п.-е. **ardh-* и его рефлексы замкнутой самостоятельной группой слов с впадие закономерным развитием значений «расти//растить» > «рождать». А. Брюкнер, по-видимому, был довольно близок к истине, когда говорил, что *rodъ*, *roditi* означало первоначально «успех, процветание», «урожай, прибыль», «забота»⁹. Таким образом, ст.-слав. *rodъ*, *roditi* представляет собой результат вторичного развития значения и фонетической формы (**ordъ*, **orditi*).

После краткого рассмотрения истории нескольких терминов со значением «род, рождаться» в индоевропейском и славянском обратимся к очень интересному вопросу о сохранении следов п.-е. **gen-* «рождать(ся)» в славянских языках.

¹ См.: S. B u g g e, Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache «Kuhn's Zeitschrift», Bd. XXXII, N. F. Bd. XII, 1893, стр. 23; ег о ж е, Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache, «Indogermanische Forschungen», Bd. I, 1892, стр. 451.

² Формы приведены в словаре: J. F r i e d r i c h, Hethitisches Wörterbuch, Heidelberg, 1952—1954, стр. 61, 335.

³ См. S. B u g g e, Zur etymologischen Wortforschung, «Kuhn's Zeitschrift», Bd. XIX, Heft 6, 1870, стр. 402—403.

⁴ См. К. В r u g m a n n, указ. соч., стр. 521.

⁵ См. R. A. F o w k e s, The Phonology of Gaulish, «Language», vol. 16, № 4, 1940, стр. 295.

⁶ См. J. P o k o r n y, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Lief 4, Bern, 1950, стр. 339.

⁷ См. J. K u r y ł o w i c z, Études indo-européennes, I, Kraków, 1935, стр. 111.

⁸ Упомянувшееся выше ср.-в.-нем. *art* «происхождение, род» значило в др.-в.-нем. только пахота, *aratio* (< «выращивание»?); выяснение отношений этого корня к **ord-* «рождать» выходит за рамки настоящей работы.

⁹ А. В r ü s k n e r, указ. соч., стр. 12—14.

Согласно общепринятому мнению, давно ставшему одним из «общих мест» специальных исследований, славянские языки не обнаруживают следов этого корня (исследователи называют обычно только *zěť «зять»). Однако в некоторых славянских корнях как будто можно найти его рефлекс, хотя и в сильно завуалированном виде.

Русск. *зно́битъ* (и близкие формы *озно́бъ* «дрожь», *заяно́ба* «любовь, любимая») стоит совершенно обособленно в кругу русской и вообще славянской лексики¹. Попытки объяснения этого слова путем сопоставления его с другими славянскими словами неудачны: Миклошич² и Погодин³ сближают его с семантически близким *зъбнуть* «мерзнуть», причем Погодин предлагает совершенно невероятное *zъm-no-b-ī-ti (к *zima*), что можно без колебаний отбросить⁴. Этимология слова, таким образом, остается неясной. Вероятнее всего, это объясняется произошедшим в какую-то эпоху жизни слова резким сдвигом его значения. Современное, на наш взгляд, вторичное значение русск. *зно́битъ*: *меня знобит* «я испытываю дрожь от холода, простуды и т. п.» сменило какое-то первоначальное значение в этом, очевидно, древнем слове, для которого закономерно предположить первоначальную фонетическую форму *ǰnǒbh-. Эта форма хорошо объясняется как производная при помощи суффикса -bh- от и.-е. *ǰen- «рождать(ся)»: *ǰ(e)nǒbh- со значением «родной, родственной»; она вполне естественно была использована, например, для обозначения «мальчика (сына)» в псм. *Knabe*. Использование этого же производного для обозначения дрожи, простудной лихорадки, т. е. недуга, тоже в природе вещей. Здесь мы, по-видимому, имеем дело с одним из примеров древних табу: лихорадочная дрожь, воспринимавшаяся как действие злых сил, эвфемистически называлась «родная», «родственная». Таких эвфемизмов среди народных названий болезней известно много. Доводом в пользу приведенного предположения может служить факт употребления глагола *зно́битъ* только в безличных конструкциях: *его знобит*, ср. порожденные теми же представлениями: *лихорадит*, *громом убило*.

В этой связи очень поучительна история слав. *zěbati и *zěbnǒti. Значение первого — «проращать, расти», ср. русск. (из ст.-слав.) *прозябати*⁵, сербск. *zěbati* с тем же значением, сюда же русск. *зять* «поле, вспаханное осенью для посева весной». Сравнение с лит. *žėmbėti* «проращать» показывает известную древность названных значений. В форме и.-е. *ǰembh-, которую обычно указывали как исходную (вариант *ǰebh-⁶ никогда не существовал, ср. ниже), мы опять-таки видим *ǰenbh-, *ǰenabh- (см. выше); развитие значений здесь совершенно очевидно: «рождаться, быть рожденным» > «проращать, давать ростки».

Русск. *зъбнуть* и родств.⁷, несомненно, того же происхождения, что и *zěbati. Их внешняя близость достаточно ясна: *зъбнуть* — форма с суффиксом -ну- (-но-) от этой же глагольной основы. Менее выяснены смысловые отношения: *зъбнуть* «мерзнуть» — *прозябать* «расти». Значение «мерзнуть», несомненно, вторично, о чем говорят точные индоевропейские этимологические связи слова. Было бы неправильно разбивать

¹ См. А. Преображенский, указ. словарь, т. I, стр. 254.

² См. F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien, 1886, стр. 401.

³ См. А. Л. Погодин, Следы корней-основ в славянских языках, Варшава, 1903, стр. 197.

⁴ Обстоятельная попытка реабилитации этого старого сближения предпринята в последнее время В. Махком [См. V. Machek, Česká a slovenská slovesa typu hanobiti (odvozená ze jmen na -oba), «Naše řeč», ročn. XXXVIII, seš. 7—8, 1955, стр. 207 и сл.].

⁵ См. А. Преображенский, указ. словарь, т. I, стр. 259—260.

⁶ См. там же.

⁷ См. там же, стр. 260.

это единое этимологически слово на два омонима, что чувствовал уже Миклошич¹. Искусственный характер поисков для *збнуть* «мерзнуть» «своей» этимологии очевиден². Вторичный перенос значений («мерзнуть») либо аналогичен переносу в случае с *знобѣть*, либо объясняется абстракцией от конкретного значения, связанного с земледелием: вспашка, посев в начале холодной поры, прорастание в холодную пору, «мерзнуть вообще», сербск. даже «бояться».

Наконец, сюда же слав. *zobъ*, *zub*, лит. *žambas* «край»: др.-исл. *kamb* «гребень»: санскр. *jāmbha-* «челюсть». Их обычно объясняли из **ḡombho-s* «зуб, орудие раздробления»³, однако вряд ли эта этимология может считаться точной. Нетрудно прежде всего заметить, что предположенное первоначальное значение совершенно не объясняет всех исторически засвидетельствованных значений; ср. лит. *žambas* «край», нем. *Kamm* и родств. «гребень». К тому же древнее индоевропейское название зуба широко известно в совершенно иной форме. Поэтому **ḡombho-s* точнее объясняется из **ḡon-bho-s* с вокализмом *o* к тому же **ḡen-* «рождать(ся)»: **ḡon-bho-s* «выросшее» > «выступ»; ср. значение «край» в литовском, «гребень» в германском, факультативное в некоторых индоевропейских диалектах — «зуб», вытеснившее старое название. Такое семантическое развитие имеет много близких аналогий; ср. выше примеры «расти» > «высокий». Ср. у Пр. Скарджюса⁴: лит. *žėmbėti* «прорастать»: *žambas* «край». На связь слав. *zobъ*, греч. *γόμφος*, санскр. *jāmbha-* с **ḡen-* через **ḡon-bho-s* указывал еще Герман Гюнтерт⁵, но в его рассуждении известные нам отношения поставлены на голову: видя в греч. *γόμφος* «колено», *γέυος* «подбородок» древнее значение «угол, изгиб», Гюнтерт объясняет из последнего значение «род» как вторичное (!).

Наконец, ст.-слав. *zъbъ* «dilacerare»⁶ стоит в прямой связи со ст.-слав. *zъbъ* «зуб».

Общииндоевропейскому словарю известны на первый взгляд различные основы **ḡen-* «род, рождаться» и **ḡen-* «знать». Глубокие семантические различия, а также самостоятельное развитие обеих основ во всех индоевропейских языках побудили большинство лингвистов считать их случайными омонимами⁷. Соответственно этому обычно считалось, что балто-славянский язык совершенно утратил **ḡenā*, **ḡnē-* «рождать(ся)», сохранив только **ḡenā-*, **ḡnē-* «знать»⁸.

Однако почти полное тождество и.-е. **ḡen-I* и **ḡen-II* вплоть до отдельных форм служило постоянным источником сомнений в верности их разграничения. Сомнения эти высказывались неоднократно и с разных точек зрения. К. К. Уленбек⁹ считает вероятным для них общее древнейшее значение «мочь, быть в состоянии». Г. Гюнтерт¹⁰ определенно видит в них

¹ F. Miklosich, указ. соч., стр. 400 и сл.

² См. А. Л. Погоди н, указ. соч., стр. 197 (там же дано: **zīm-b-non-ti k zima*).

³ А. Преображенский, указ. словарь, т. I, стр. 258; там же дана литература вопроса.

⁴ P. Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vilnius, 1943, стр. 28.

⁵ H. Güntert, Weiteres zum Begriff «Winkel» im ursprünglichen Denken, «Wörter und Sachen», Bd. XI, 1928, стр. 124 и сл., 136.

⁶ См. F. Miklosich, указ. соч., стр. 400, (*zemb-1*).

⁷ Ср.: O. Bremer, Germanisches *ē*, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. XI, 1886, стр. 277; S. Feist, указ. словарь, стр. 316—317; A. Walde—J. Pokorny, указ. словарь, Bd. I, стр. 578; J. Pokorny, указ. словарь, стр. 373—376.

⁸ См. A. Meillet, Les origines du vocabulaire slave, «Revue des études slaves», t. 5, 1925, стр. 6.

⁹ C. C. Uhlenbeck, указ. словарь, стр. 98.

¹⁰ H. Güntert, указ. соч., стр. 130 и сл. В омонимичности **ḡen-* I и **ḡen-II* сомневается А. Мартинет (см. A. Martinet, Non-Apophonic *o*-vocalism in Indo-European, «Word», vol. 9, № 3, 1953, стр. 258).

единую основу, исходя при этом, однако, из ошибочных оснований (см. выше). Подробно резюмирует состояние этого вопроса в литературе А. В. Исаченко¹, одновременно предлагающий на основании некоторых новых материалов оригинальное решение. А. В. Исаченко подчеркивает специальную заслугу Джорджа Томсона в установлении семантической близости понятий «знать» и «родиться»². Решающей при этом Исаченко считает вслед за Д. Томсоном близость понятий «знак», «имя» и «родство, род, родить». Томсон акцентирует тот факт, что член рода знает своих сородичей по родовому знаку. Соответственно этому и Исаченко обращает главное внимание на связь и.-е. **ġenos* «род» и **ġenə-mŋ* «родовой знак; члены рода, объединенные общим родовым знаком»³. В принципе не вызывает возражений мысль Исаченко о том, что «новейшие исследования в области родового устройства индоевропейцев показывают тесную как семантическую, так и материальную связь между понятиями «род» и «родовой знак»⁴. Вместе с тем значение, которое А. В. Исаченко придает именно понятию «родового знака» в генезисе значений «знать», представляется нам весьма преувеличенным. Выходит, что «знаю» (**ġnō-*) первоначально имело смысл: «знаю по родовому знаку».

Этот ход мыслей нельзя назвать удачным прежде всего потому, что он отнюдь не вытекает с необходимостью из известных фактов, которые говорят о происхождении значения «знать» и всех близких вторичных значений, включающих и названия родового знака, из значений «род, рождаться» (в данном случае речь идет только о семантическом развитии индоевропейской основы **ġen-*, а не обо всех случаях происхождения разведения терминов «знать» в индоевропейских языках). В то же время мысль о первичности значения «родовой знак» ничем не поддерживается. Исторически несомненное существование таких знаков, понятно, само по себе ни к чему не обязывает при исследовании истории значения «знать». Несколько предвзято выглядит также стремление видеть в образованиях с *-men|mŋ*, более того — в самом суффиксе *-men|mŋ* древнее значение «знак»⁵. Во-первых, область применения *-men|mŋ* в индоевропейском несравненно шире; ср. несомненно древние, отнюдь не аналогические образования и.-е. **ġhei-mŋ* «зима», **sreŋ-mŋ* «поток»: греч. *ῥεῦμα*, франк. *Ström*, польск. *strumień*. Очевидно также, что слав. *znamę* «знак», «метка» имеет вторичное значение, если учесть древность типа *-men|mŋ*; ср. этимологически тождественное лат. *germen* «зародыш», а не «родовой знак», как известно, — из **gen-men* < **ġenə-mŋ*, типично отглагольного имени. Во-вторых, нет никаких оснований для поисков знаменательного значения у и.-е. **men|mŋ*, которое, несомненно, относится к числу древнейших словообразовательных формантов индоевропейского. Это так же бесполезно, как, например, видеть вместе с Г. Хиртом в суффиксальном оформлении и.-е. **ġenos*, род. падеж ед. числа **ġenosos* следы и.-е. *es-* «быть».

На основании вышесказанного нам представляется необходимым для выяснения реального генезиса значения «знать» указать, что между ним и значением «рождаться» не стояли какие-либо названия «родового знака». Напротив, значение «знак» вторично, оно произведено в ряде случаев от основы с уже сложившимся значением «знать»; ср. слав. *znakъ*, лит.

¹ А. В. Исаченко, *Príspevok k štúdiu najstarších vrstiev základného slovného fondu slovanských jazykov*, «Studie a práce linguistické», I, Praha, 1954.

² G. Thomson, *Aeschylus and Athens*, London, 1950, стр. 429—430, примеч. 58.

³ А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 122.

⁴ Там же.

⁵ Там же, стр. 122.

*ženklas*¹. Значения «рождаться ∞ быть в родстве» и «знать» связаны непосредственно.

Об этом говорит интересная особенность словоупотребления, не случайно хорошо сохранившаяся в ряде индоевропейских языков. Так, наряду с упомянутым **ǵenə-* «знать» индоевропейские языки знают другой корень: **uoid-*; ср. греч. *οἶδα*, слав. *věděti* и родственные. Сравнение **ǵenə-* и **uoid-* показывает, что они не были синонимичны и имели четко разграниченные сферы употребления. Приведем несколько характерных примеров из разных индоевропейских языков и разных эпох. По-гречески в выражениях «знать человека» употреблялся обычно только глагол *γινώσκω*, продолжающий **ǵnō-*: *γινώσκεις τὸν Δύσχυδρα*, *γινώσκω τὸν ἄνδρα*, но не *οἶδα τὸν ἄνδρα*. Это последнее — греч. *οἶδα* — достаточно ясно обнаруживает «вещное» значение: «знаю что»². Это довольно последовательное употребление **ǵnō-* «знать» в указанной выше ситуации, не смешивавшаяся первоначально с употреблением **uoid-* «знать» в других ситуациях, прослеживается и в других индоевропейских языках, в том числе в современных. Так, известным правилом немецкого языка является словоупотребление, аналогичное греческому: *ich kenne den Menschen* «я знаю (этого) человека», где *kennen* восходит к тому же **ǵ(e)nō-*, что и *γινώσκω*. Немецкий, сохранивший очень употребительный рефлекс и.е. **uoid* — *wissen*, до сих пор использует *wissen* только в исконом «вещном» значении, а *kennen* — в описанных типичных ситуациях. В отдельных славянских языках также сохранились определенные сферы употребления рассматриваемых индоевропейских основ: польск. *znam tego człowieka*, но *wiem co mię czeka*, чешск. *znám tého člověka*, но *vím, co mě čeká*.

Нарушения отмеченного древнего разграничения в упомянутых языках в общем, насколько известно, происходили в порядке экспансии рефлексов **ǵen-*, **ǵnō-* «знать» в семантическом отношении за счет рефлексов **uoid-* в различных «вещных» значениях и употреблениях последнего, ср. нем. *ich kenne das Buch*. Вообще употребление рефлексов и.е. **uoid-* сокращалось в ряде индоевропейских языков — в одних незначительно, в других весьма последовательно, примером чего являются русский и английский с их абсолютным употреблением в обоих значениях, в первом — глагола *знать*, во втором — родственного *know*. Уже эти показания нескольких языков говорят о том, что мы имеем дело с закономерными отношениями.

Следует вывод: если и.е. **ǵenə-*, **ǵ(e)nō-* «знать» исконно употреблялось в индоевропейском только в словосочетаниях типа «знаю человека» (в отличие от **uoid-*), то в этом нужно видеть еще один, весьма веский довод в пользу этимологического происхождения **ǵen-* «знать» от **ǵen-* «рождать, рождаться, быть родственным». Примерное развитие значений: «быть родственным, единокровным (человеку)» > «знать (человека)». Таким образом, **ǵen-* II «знать» обозначало, по-видимому, знакомство между людьми первоначально как родовую, кровнородственную близость. Для большей ясности приведем один очень интересный санскритский пример, использованный в свое время В. Шульце³ для подкрепления мысли об этимологической связи санскр. *jñāti* «родственник» и *jñā* «знать» (к сожалению, без каких-либо дальнейших комментариев): *purusam upatāpinam*

¹ Повторяем, что это никак не ставит под вопрос существование и важность самих родовых знаков.

² В менее ясных случаях, где *οἶδα* как будто выступает в значении «знаю человека» (ср. *ᾔδεται αὐτὸν τεθνήκωτα* «знали, что он умер»), на самом деле представлена типично греческая конструкция с двумя винительными, выражающая прежде всего отношение *οἶδα* к факту, событию, а не к человеку непосредственно; «знали, что умер».

³ См. W. S c h u l z e, *Lesefrüchte*, «Kuhn's Zeitschrift», Bd. 63, 1936, стр. 113.

ĵnātayah paryupāsate jānāsi mām jānāsi māmīti «Вокруг смертельно больного человека сидят его родственники (*ĵnātayah*) и спрашивают его: „Узнаешь ты меня? Узнаешь ты меня? (*ĵnā*)“».

Рассмотренными формами, по-видимому, далеко не исчерпываются все следы и.е. **ġen* - в славянских языках. Назовем предположительно еще чешск. *paznak* «навзничь, на спину» (например, *uaznak*, *paaznak*, *bedostacno jasně*). Его членение: *pa-znak*; ср. польск. *wznak*, *paawznak*, *podg. eźznak*. Возможно, оно восходит к **ġ(e)nō-* в значении «спина, позвоночник», т. е. часть тела, а в конечном итоге — к **ġen-* «рождаться». По характеру распространения основы ср. нем. *Knochen* «кость» < **ġ(e)nō-k-*, ср.-в.-нем. *knoche*, которое мы также относим к **ġen-*. Подобное развитие значения ср. и.е. **ost-*, хеттск. *ḥāštai-* «кость»: хеттск. *ḥaš-* «производить, рождать». Толкование чешского слова *paznak* у И. Голуба — Ф. Копечного¹, которые сопоставляют его с др.-инд. *nākas* «небо», маловероятно. В то же время слав. *zveno*, русск. *звено*, которое Миккола² относил к греч. ζών «колени», по-видимому, сюда не относится и лучше объяснено А. Вайаном, возводящим его к *ġhu-s* «рыба», ср. русск. *звено рыбы*³. Однако рассмотрение этих следов **ġen-* в славянском относится уже к самостоятельной проблеме образования названий частей тела.

Остановимся теперь на некоторых общих терминах родственной, родовой организации, обозначающих различные виды родственных коллективов. Несмотря на то, что речь будет идти о категориях весьма древних, здесь также немало образований разновременных, отчасти поздних.

Слав. *plēte*: ст.-слав. *плѣма* «плѣра, семен»⁴, др.-русск. *плѣма*, *плѣма* «потомство; семья; родня; племя; колени; народ, род», *племьныиѣ*, *плѣмьныиѣ* «родственнику»⁵, русск. *племя*, словенск. *plēte*, *ēna* «1. Die Fortpflanzung eines Geschlechtes... 2. der Zeugungsstoff, der Same... 3. der Schlag, die Race»⁶ и др. Слово не имеет надежной этимологии, в чем нужно согласиться с А. Мейе⁷. Это объясняется, видимо, возможностью двоякого толкования его фонетического развития. Так, фонетически вполне приемлема древняя форма **pled-men-(dm > m)*, однако вполне законно предположить также и древнюю форму **ple-men-*. Признание большинством лингвистов⁸ формы **pled(h)-men-* объясняется стремлением сопоставить ее со слав. *plodъ* «плод», чему не препятствует ни фонетическая, ни смысловая сторона. Не лишне, однако, еще раз проверить сопоставляемый материал. И действительно, оказывается, что многие моменты в этом сопоставлении не учтены, учтенные же объяснены далеко не лучшим образом.

Известно, что образования на *-men-mŋ* в индоевропейском обычно являются отвлеченными отлагательными именами, для которых можно, как правило, указать соответствующие глаголы. Какой же глагол соответствует слав. **pled-meŋ*? Слав. **plediti* неизвестно, *ploditi* носит слишком

¹ См. J. Holub—F. Kopečný, *Etymologický slovník jazyka českého*, Praha, 1952, стр. 240.

² См. J. J. Mikkola, *Slavica*, «Indogermanische Forschungen», Bd. VI, Heft 5, 1896, стр. 351—352.

³ См. A. Vaillant, *L'ancien nom slave du «poisson»*, «Revue des études slaves», t. XVIII, 1938, стр. 246—248.

⁴ См. F. Miklosich, *Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum*, Vindobonae, 1862—1865, стр. 571.

⁵ См. И. И. Срезневский, *Материалы для словаря древнерусского языка*, т. II, СПб., 1902, стб. 959—960.

⁶ M. Pleteršnik, *Slovensko-nemški slovar*, del II, Ljubljana, 1895, стр. 55.

⁷ A. Meillet, *Etudes sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*, 2-e partie, Paris, 1905, стр. 424.

⁸ См. А. Преображенский, т. II, стр. 72 (там же основная литература). Ср. также J. J. Mikkola, *Urslavische Grammatik*, Teil II, Heidelberg, 1942, стр. 159: *plēte* из *pled-men* к *plodъ*.

очевидный поздний деноминативный характер. Приходим, таким образом, к исходному *plodъ*. Другие индоевропейские языки располагают близкими формами: ср. лат. *plēbēs, plēbs* «народные массы», форма происходит из **plē-dh¹*, которое лежит также в основе синонимического греч. *πληθος, πληθους* «масса, толпа». Слав. **plodъ*, вокализм которого, видимо, неисконен, восходит к **pledъ*, которое через **pledh-* близко подходит к названным выше словам. Эти формы **ple-dh-*, **plē-dh-* содержат корень **ple-*, который мы в согласии с теорией индоевропейского корня, развернутой Э. Бенвенистом², пойдем как вариант корня **pel-* в значении «производить, рождать»³ (ср. редуцированное **po-pel-os* в лат. *populus*⁴ «народ»), возможно также — «наполнять», что, однако, для нас здесь не имеет значения. Формант *-dh-*, как это четко сформулировал для массы примеров Э. Бенвенист в названной книге, является суффиксом, характеризующим достигнутое состояние. Таким образом, **ple-dh-* — это «те, кто произведен, рожден», древнее собирательное название крупного человеческого коллектива, первоначально — родственного объединения, затем перенесенное на широкое, политическое объединение, что более характерно для лат. *plebs*, греч. *πληθος*, семантическое развитие которых аналогично позднему слав. *narodъ*; кроме того, **ple-dh-* — это также «то, что родилось, произведено», почему оно оказалось удобным и для обозначения растительных плодов (слав. *plodъ*).

Возвращаясь теперь к слав. *plemę*, отметим, что сомнения в обязательности формы **pled-men-* усилились: отглагольные имена на *-men-* обычно образуются от чистой глагольной основы, вследствие чего гипотетическое **ple-dh-men-* (особенно, когда нам известна древняя роль **-dh-*) лишено смысла. Остается предположить, что более вероятной древней формой слав. *plemę* было **ple-men-*, именное производное от упоминавшегося выше **ple-/pel-*.

Славянская основа **oby-tjo⁵*, проявляющаяся в ст.-слав. *обыць*, русск. диал. *обчий*, сербск. *обчи* и в представляющем иное значение польск. *obcy* «чужой», первоначально была реализована в слове, обозначавшем территориальную общественную единицу. Лучше всего это древнее значение сохранило чешск. *obec* ж. род «деревня, селение, населенный пункт», ср. также несущее на себе следы старославянского источника, но чрезвычайно характерное для старого экономического уклада русской деревни слово *община* «вид владения землей сообща». Сам институт общины скорее относится целиком к сфере экономической истории и мало дает для специально лингвистического исследования: с лингвистической точки зрения мы имеем дело, так сказать, с этимологически прозрачным словом. Известно, что **oby-tjo-* представляет собой производное с суффиксом *-tjo-* от предлога-приставки со значением места *ob-* (ср. русск. *об-*), вернее — его более полной формы *obi⁶*, сохранившейся в ряде славянских примеров (ст.-слав. *обьдо*, русск. *обиход* и др.). Роль суффикса *-tjo-(-ti-)* в общем ясна: он означает принадлежность, отношение к чему-либо, выраженному основой, оформленной суффиксом. Как же понимать значение оформленной таким образом основы **oby-ti-*? Нередко ограни-

¹ См.: A. Walde, указ. словарь, стр. 591; A. Ernout et A. Meillet, указ. словарь, стр. 909—910.

² См. E. Benveniste, *Origines de la formation des noms en indo-européen*, Paris, 1935.

³ Ср. алб. *pjel* «производить, рождать» (G. Meyer, *Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache*, Strassburg, 1891, стр. 342).

⁴ A. Walde, указ. словарь, стр. 599.

⁵ См. A. Meillet, *Études...*, стр. 381.

⁶ См.: А. Преображенский, указ. словарь, т. I, стр. 633; A. Vaillant, *Grammaire comparée des langues slaves*, t. I, Lyon — Paris, 1950, стр. 218—219.

чиваются обобщением наиболее распространенных современных значений, полагая, таким образом, что **obъ-ti-* — это «общая собственность, общинная собственность»¹. Однако при этом возможно смещение в одну хронологическую плоскость весьма далеких друг от друга фактов. Хотя слово **obъ-ti* типично славянское новообразование, тем не менее оно достаточно старо, ср. его общеславянское распространение. Чтобы предположить существование реального значения «общая, общинная собственность» у славян времен их общности, надо быть уверенным в существовании уже тогда значения «частная собственность» и соответствующего ему института, ибо только такая четкая противопоставленность реальных отношений земельной собственности могла создать коррелятивную пару терминов в полном смысле слова. Все это, однако, очень сомнительно. В наиболее вероятных условиях родового устройства времен славянской общности не было надобности в специальном термине «общинная собственность», поскольку никакой другой собственности не было.

Проанализируем форму **obъ-ti-* со структурной, семантико-морфологической точки зрения. Слав. *ob-*, *obi-* обозначает движение по кругу («вокруг»), а также «круглое», причем последнее значение, как самостоятельное адъективное значение, естественно, выступает в соответствующем оформлении: ср. слав. *obъlъ* с суффиксом *-lъ*, чешск. *oblý* и др. «круглый». Аналогичное значение видим в другом именном производном — с суффиксом *-ti-*: **obъti-* «круглый, круглое». Что могло обозначать это образование?

Нам кажется не лишним вспомнить здесь о мнении ряда археологов и историков, считающих типичной для древних славян именно «круглую деревню» (нем. *Runddorf*), действительно, широко распространенную на древних славянских землях в бассейне Балтийского моря². Не случайно, по-видимому, что употребление формы, продолжающей слав. **obъti-* именно со значением «селение, деревня» — чешск. *obec*, совпадает с частью районов распространения «круглой деревни».

Слав. **obъti-* «круглое» могло быть, таким образом, использовано для обозначения круглого поселения у древних славян. Суффикс *-ti-*, использованный в этом производном, был особенно удобен, объединяя адъективные и собирательные функции. Нам представляется допустимым считать древнейшим именно это значение. Итак, в слав. **obъtъ* мы имеем своеобразный древний славянский термин общественного устройства. Значения «общий» и «чужой» (последнее представлено в польск. *obcy*) явились уже в результате вторичного развития. Имущественные, земельно-дворянские отношения выражены, собственно, только в производном с притяжательным суффиксом *-ina*: ст.-слав. *obъщина*, болг. *община*, серб. *обѣина*.

Таким образом, если слав. *rodъ*, *plemę* обозначали родственную группу в собственном смысле, то слав. *obъtjo-* служило первоначально, по-видимому, обозначением типичного раннеславянского поселения родственной группы.

¹ Ср. J. Holub—F. Koreň, указ. словарь, стр. 249.

² Ср. обобщение нужных сведений у Л. Нидерле (L. Niederle, *Rukovět' slovanských starožitností*, Praha, 1953, стр. 109, 347—350). Надо сказать, что сам Нидерле смотрел на теорию первичности «круглой деревни» у древних славян скептически, но из его материалов видно, что эта форма характерна для ряда старых славянских областей и, напротив, исчезает в областях позднейшего расселения (Восточная Европа и Балканы), где широко представлены уличный и разбросанный типы. Из других свидетельств о круглой деревне на древних славянских землях ср. J. Kostrzewski, *Wielkopolska w pradziejach*, Warszawa — Wrocław, 1955, стр. 288—289 (дается указание на раннепоздновскую круглую деревню в Седлецине повята Яроцин); М. И. Семиряга (см. «Лужичане», М.—Л., 1955, стр. 93) приводит сообщение Э. Мюллера (E. Müller, *Das Wendentum in der Niederlausitz*, Kottbus, 1921, стр. 99) о том, что еще в последней четверти XIX в. в некоторых маленьких лужичских деревнях дома были расположены по замкнутому кругу.

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ *чем—тем*

Данная статья представляет собой попытку выяснить грамматические особенности сложных предложений с союзом *чем — тем* типа «Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг» (Горький, В людях), квалифицируемых в «Грамматике русского языка» АН СССР как «сложные предложения с придаточным сопоставительным»¹.

Как известно, деление сложных предложений на сложноподчиненные и сложносочиненные не охватывает всего структурного многообразия сложных предложений. В. А. Богородицкий справедливо указывал на некоторую искусственность попыток уложить разнообразные типы сложных предложений в эти две рубрики². А. М. Пешковский говорил о наличии в русском языке такого типа связи между частями сложного предложения, который «...приходится поставить, собственно, и в е подчинения и сочинения как особый вид связи...» и который он условно назвал «взаимным подчинением». Такие отношения он видел в предложениях типа *Только что он вошел, как началась музыка*³. В. В. Виноградов, отмечая неопределенность грани между сочинительными и подчинительными союзами, разделяет точку зрения А. А. Шахматова, предлагавшего вместо сочинения и подчинения предложений говорить о разных формах сцепления предложений и разных степенях их зависимости, выражаемых союзами и другими грамматическими средствами: формами наклонений, формами относительных времен, порядком слов, местоименными словами, интонацией и т. п.⁴

Среди лингвистов, которые рассматривают сложные предложения с союзом *чем—тем* как сложноподчиненные, нет единого взгляда на то, каким следует считать придаточное в таких предложениях. Придаточные в них относят и к придаточным степени⁵, и к сравнительным⁶, и к придаточным «соответствия»⁷, и к придаточным образа действия⁸.

В «Грамматике русского языка» АН СССР сложные предложения с союзом *чем — тем* квалифицируются как сложноподчиненные с придаточными сопоставительными и характеризуются как предложения, в которых «...содержание главного рассматривается с точки зрения сопоставления его с тем, о чем говорится в придаточном»⁹. При этом указывается, что сопоставление в этих предложениях большей частью осложняется дополнительными оттенками отношений, например, уступительностью, противопоставлением и другими.

Самый термин «придаточные сопоставительные», по-видимому, оправдывается существованием определенных смысловых отношений между частями сложного предложения. Но такие отношения могут обнаруживаться не только в предложениях данной группы, но и в сложносочиненных и в сложноподчиненных предложениях с различными придаточными. Вот примеры сопоставительных отношений в сложносочиненных предложениях: «Правда хорошо, а счастье — лучше»; «Видна на боках твоих впалых

¹ «Грамматика русского языка», т. II, ч. 2, М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 348—352.

² См. В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 5-е изд., М.—Л., 1935, стр. 229.

³ См. А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938, стр. 416—417.

⁴ См. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 708.

⁵ См. А. М. Давидовский, Придаточные предложения меры и степени, «Р. яз. в шк.» 1953, № 6.

⁶ См. А. М. Земский, С. Е. Крючков, М. В. Светлаев, Русский язык, ч. II, 3-е изд., М., 1950.

⁷ См. В. М. Березин, Изучение в школе сложноподчиненного предложения с одним придаточным, «Р. яз. в шк.», 1946, № 5—6.

⁸ См. А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., 1952, стр. 319—320. А. М. Финкель и Н. М. Баженов (см. «Современный русский литературный язык», Киев, 1951, стр. 407—408) причисляют сложные предложения с союзом *чем — тем* к сложноподчиненным с придаточным образа действия, осложненным сопоставительным оттенком.

⁹ «Грамматика русского языка», т. II, ч. 2, стр. 348.

кнута не одна полоса, зато на дворах постоянных покушал ты вволю овса» (Некрасов, Мороз-Красный нос). Сопоставительные отношения могут быть и в сложноподчиненных предложениях с придаточным сказуемым, например: «Каков пастух, таковы и овцы», с придаточным образа действия: «Как аукнется, так и откликнется». Ср. также сопоставительные отношения в бессоюзном сложном предложении типа: «Тыше едешь — дальше будешь»; «Лето припасает — зима поедает». Таким образом, сопоставительные отношения, свойственные и сложным предложениям с союзом *чем — тем*, не могут служить основанием для отнесения их к сложноподчиненным с придаточным сопоставительным.

Вместе с тем следует отметить, что предложения, выражающие сопоставительные отношения и названные в Академической грамматике сложноподчиненными с придаточным сопоставительным, отличаются двойственностью грамматической природы. Для составляющих их простых предложений характерна большая самостоятельность и равноценность в отношениях между ними по сравнению с главным и придаточным в составе сложноподчиненного предложения. Поэтому в рассматриваемых конструкциях наблюдаются обратимые отношения¹, являющиеся типичными для сложносочиненных предложений:

«Ей было приятно говорить с этим чужим, с незнакомцем, между тем как Литвинов по-прежнему сидел неподвижно, с тою же неподвижной и нехорошей улыбкой на губах»

(Тургенев, Дым)

«Он сидел в простенке, который скрывал его лицо, тогда как свет от окна прямо падал на нее, и он мог читать, что было у нее на уме»

(Гончаров, Обломов)²

Литвинов по-прежнему сидел неподвижно, с тою же неподвижной и нехорошей улыбкой на губах, между тем как ей было приятно говорить с этим чужим, с незнакомцем.

Свет от окна прямо падал на нее, тогда как он сидел в простенке, который скрывал его лицо, и он мог читать, что было у нее на уме.

Союзы *между тем как, тогда как*, употребленные в приведенных предложениях, не выражают прямого подчинения одного предложения другому, характерного для сложноподчиненных предложений. И. А. Попова, рассматривая вопрос о сложносочиненных предложениях в современном русском языке, говорит, что в сочинении пред³ложений сопоставительные отношения могут выражаться составными союзами *между тем как, тогда как* и др., и отмечает двойственность грамматической природы таких предложений: в них «мы имеем сочинительные, сопоставительные по их смыслу, по их характеру, отношения и подчинительную форму связи»³. Двойственную грамматическую природу имеют и сложные предложения с союзом *чем — тем*.

Наиболее четко определенным критерием для ограничения сложноподчиненных предложений является наличие в них подчинительных союзов. Обращает на себя внимание тот факт, что союз *чем — тем* имеет свои особенности, которые отличают его от подчинительных союзов⁴. Он, собственно, выражает не прямое подчинение одного предложения другому, что характерно для подчинительных союзов, а скорее взаимное подчинение двух предложений, параллельных друг другу. Это сказывается в особенностях его употребления.

Подчинительные союзы всегда включаются в придаточное предложение; лишь в некоторых случаях при выделении сложного по своему составу союза логическим ударением часть его попадает в главное предложение. Союз же *чем — тем* всегда разделяется так, что *чем* попадает в одну часть предложения, *тем* — в другую.

По своей форме союз *чем — тем* похож на так называемые двойные подчинительные союзы: *если — то, если — так, когда — то* и др., отличающиеся от сложных союзов тем, что вторая их часть (*то, так*) находится в главном предложении, а первая — в придаточном. При этом употребление второй части союза не обязательно в главном предложении, например: «Если враг не сдается, [то] его уничтожают» (Горький); «Когда в товарищах согласья нет, [то] на лад их дело не пойдет» (Крылов, Лебедь, Рак и Щука). В составе же союза *чем — тем* вторая его часть, как правило, не может быть опущена. Лишь в очень редких случаях встречается пропуск одной части союза; единичные примеры можно встретить в архаичных конструкциях, например: «... так и слово важнее и великопнее бывает, чем в нем союзов меньше» (Ломоносов, Риторика); единичны подобные примеры и в современном литературном языке. При про-

¹ Ср. S. K a r c e v s k i, Deux propositions dans une seule phrase. Études de syntaxe russe, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 14, 1956, стр. 37.

² Примеры взяты из «Грамматики русского языка», т. II, ч. 2, стр. 349.

³ И. А. П о п о в а, Сложно-сочиненное предложение в современном русском языке, сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 385.

⁴ Проф. С. И. Абакумов даже относил его к сочинительным союзам (см. «Современный русский литературный язык», М., 1942, стр. 112, 146).

пуске второй части союза в таких случаях употребляется слово *все*, указывающее на возрастание признака, например: «Чем дале — деревья все выше, а тени длинней и длинней» (Некрасов, Мороз-Красный нос).

Кроме того, употребление подчинительных союзов обычно не требует определенных грамматических форм тех слов главного предложения, которые поясняются придаточным, и определенных форм слов в самом придаточном. Союз же *чем* — *тем* обязательно соединяется с формами сравнительной степени прилагательного или наречия (в функции сказуемого или обстоятельства) и употребляется только при наличии этих форм и в одной и в другой части сложного предложения, например: «Чем ближе мы будем сотрудничать, тем сильнее будут силы мира. И чем крепче будет наша дружба, тем прочнее будет мир» (Из газет).

Синтаксическая функция союза *чем* — *тем* настолько своеобразна, что его трудно отнести безоговорочно к подчинительным, а тем более к сочинительным союзам. По союзу в данном случае вряд ли можно квалифицировать предложение как сложноподчиненное.

Составные части рассматриваемых сложных предложений как бы лежат в одной плоскости, находясь в своеобразных отношениях параллелизма. Грамматическая взаимосвязь их осуществляется не только при помощи союза *чем* — *тем*, но и при помощи форм сравнительной степени, без которых этот союз не употребляется. Характер грамматической связи в этих сложных предложениях можно показать следующей формулой, выражающей определенные синтаксические отношения: *чем...-ее(-е)... тем...-ее(-е)...*

В предложениях рассматриваемого типа наблюдается очень четко выраженное соответствие видо-временных форм сказуемых. Как правило, в предложениях, связанных союзом *чем* — *тем*, сказуемые в обоих предложениях имеют форму несовершенного вида и одинаковую форму времени. Например: «Чем ближе подходит дневная смена к концу, тем ворчливее и бессердочнее делается землемер» (Куприн, Болото); «Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным» (Добролюбов, Что такое обломовщина?). При этом взаимосвязано и значение этих форм. Так, в первом предложении оба сказуемых в форме настоящего времени констатируют осуществление конкретных процессов, фиксируют возникающие у автора впечатления; во втором предложении оба сказуемых имеют обобщенное значение настоящего времени.

Точно так же обычным является соответствие форм будущего и прошедшего времени в сказуемых обоих предложений, например: «Чем более будут дети знакомиться с разными оттенками выражения мысли, тем легче будет им избегать сочетаний слов неверных, тем легче будут им казаться обороты иностранные» (Срезневский, Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте); «Чем ближе подходил Пастухов к дому, тем глубже всеялось в него энергичное возбуждение» (К. Федин, Первые радости).

Синтаксическое значение времени сказуемого совпадает в простых предложениях и в том случае, если оба сказуемые именные без связок, например: «А чем крупней размах народной деятельности, тем чреватей начальное отклонение даже на полградуса...» (Леонов, Русский лес); «Следует помнить, что чем свободнее ум, тем богаче человек» (Горький, За бортом).

Рассмотренное соответствие видо-временных форм сказуемых в сложных предложениях с союзом *чем* — *тем* является одним из проявлений грамматического параллелизма конструкции этих предложений, параллельной взаимосвязи между простыми предложениями в их составе.

Самое общее значение отношений между простыми предложениями, связанными в составе сложного союзом *чем* — *тем*, состоит в том, что сопоставляемые в них признаки, действия и состояния возрастают или ослабевают в одинаковой степени, изменение одних так или иначе соответствует изменению других. Очевидно, с сопоставлением процессов возрастания или ослабления степени проявления признака или действия, процессов, так или иначе протекающих во времени, связано употребление в таких предложениях глаголов в форме несовершенного вида.

Несоответствие видовых форм глаголов в рассматриваемых предложениях встречается редко, когда речь идет о действиях не одновременных, параллельных, а следующих одно за другим, например: «Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали» (Тургенев, Отцы и дети); «Чем быстрее будет идти поезд, тем скорее приедем» (Из разговорной речи). Редко, главным образом в разговорной речи, встречается и несоответствие временных форм глаголов, например: «Чем больше занимаешься, тем лучше будешь знать». Обе формы глагола имеют здесь обобщающий смысл.

Взаимосвязь между простыми предложениями, связанными в составе сложного союзом *чем* — *тем*, сказывается также и в одинаковой модальности их. Типичным является употребление в каждом из них сказуемых в форме изъявительного наклонения; однако возможно употребление и сослагательного наклонения: «Чем больше за ребен-

ком присматривали бы, тем меньше бы он шалил» (Из разговорной речи); повелительное наклонение в предложениях рассматриваемого типа не употребляется:

Предложения с союзом *чем — тем* могут выражать обусловленность степени развития одного явления степенью развития другого явления, например: «Чем шире социальный опыт литератора, тем выше его точка зрения...» (Горький, О кочке и точке); «Следует помнить, что чем свободнее ум, тем богаче человек» (Горький, За бортом). При этом также наблюдается параллелизм конструкции: соотносятся сказуемые, выраженные прилагательными в форме сравнительной степени. Обстоятельства, выраженные наречиями сравнительной степени, также обычно сопоставляются, например: «И чем сильнее и решительнее немцы с Востока и Запада Германии будут бороться за устранение препятствий на пути к этому (т. е. к воссоединению. — М. В.), тем скорее будет достигнута цель» (Из газет); «Чем глубже прогребался советский фронт, тем более копилась в нем энергия до отказа натянутой тетивы» (Леонов, Русский лес). При этом наблюдается соответствие не только грамматических форм обстоятельственных слов, но и видо-временных форм глаголов в сказуемых каждого предложения, что уже отмечалось выше.

Реже наблюдается сопоставление форм сравнительной степени прилагательного или наречия в роли сказуемого с соответствующими формами обстоятельства, например: «Чем больше по объему сравнительный оборот, тем сильнее ощущается в нем сравнительное значение» (Академическая грамматика).

В предложениях с союзами *чем — тем* и обстоятельствами-наречиями в форме сравнительной степени выражается обусловленность степени усиления признака одного действия соответствующим усилением признака другого действия, например: «Чем дольше он сидел, тем сильнее ему хотелось сказать Ковалевскому и об этой женщине...» (Грани, Искатели); «Чем чаще празднует людей свою святую годовщину, тем робче старый круг друзей в семью стесняется одну» (Пушкин); «И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка» (Чехов, Скрипка Ротшильда). В таких предложениях иногда выражаются противительные отношения между сопоставляемыми частями, например: «Чем больше горе, тем меньше слез» (Леонов, Русский лес).

Особенно часто в связанных противительными отношениями предложениях форму сравнительной степени принимает сказуемое (прилагательное), например: «Казалось, чем слабее и немощнее становилось его тело, тем упрямее и сильнее был его дух» (Полевой, Повесть о настоящем человеке); «Но чем Мазена злей, чем сердце в нем хитрей и ложней, тем с виду он неосторожней и в обходкеи простей» (Пушкин, Полтава); «Чем ночь темней, тем ярче звезды» (Майков, Не говори).

Итак, сложным предложениям рассматриваемого типа свойственно обозначать обусловленность явления, о котором говорится в одной части предложения, явлением, о котором говорится в другой части предложения, причем эти явления сопоставляются между собой в одних случаях по интенсивности проявления признака или действия, в других — по степени усиления или возрастания признака во времени. Кроме того, между простыми предложениями, связанными в составе сложного союзом *чем — тем*, могут быть отношения количественной обусловленности содержания одного из них содержанием другого; союз *чем — тем* употребляется при этом в соединении с наречием меры в форме сравнительной степени (*более, менее* и т. п.), ср. следующие примеры: «Чем больше богатели города, тем больше платейшей требовал сеньор от горожан» (Косминский, История средних веков); «Чем более света науки, тем более и тех правственно обязанных тружеников, исследователей языка, которые помогают другим проникать с ее светом в тайны языка и ими пользоваться» (Срезневский, Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте).

Относительно расположения простых предложений в конструкциях с союзом *чем — тем* важно отметить, что в них никогда одно предложение не может расчленил другое и оказаться в его середине, как это обычно наблюдается при подчинении придаточного главному. Как правило, обуславливающая часть сложного предложения занимает препозитивное положение по отношению к той, в которой содержится обуславливаемый факт. Однако в отдельных случаях встречается и обратная конструкция; при этом *тем* и прилагательное или наречие сравнительной степени в препозитивном положении обычно провозносятся с восходящей интонацией, благодаря чему подчеркивается зависимость степени возрастания обуславливаемого факта от степени возрастания того, о чем говорится в постпозитивной части предложения. Ср. например: «Лечение тем успешнее, чем раньше оно начато» (Из разговорной речи); «Писатель совершенствуется тем успешнее, чем глубже он познает, что народу надо дать бескорыстную, основательно отработанную, целеустремленную, жизнеутверждающую книгу» (Из газет).

Итак, значение рассматриваемых предложений характеризуется отношениями соответствия, сопоставления, которые свойственны сложносочиненным предложениям, но возможны и в сложноподчиненных. Грамматические средства выражения этих отношений в предложениях с союзом *чем — тем* своеобразны. По степени зависимости между простыми предложениями, входящими в их состав, эти предложения сближаются со сложноподчиненными; они не могут расчлениваться раздельной паузой (при со-

хранении союзов). Но характер синтаксической зависимости между ними, грамматические средства ее выражения отличаются от подчинительных отношений. Пожалуй, уместнее в данном случае говорить не о подчинении, а о синтаксической взаимозависимости между предложениями, поскольку грамматические показатели их синтаксической взаимосвязи распределяются обязательно параллельно в каждом из предложений.

Рассматриваемые предложения сближаются со сложносочиненными тем, что простые предложения в их составе обязательно следуют одно за другим; расчленение одного предложения другим невозможно.

Грамматическим своеобразием сложных предложений с союзом *чем — тем* является то, что союз в них органически связан с формами сравнительной степени сказуемых или обстоятельств в обеих частях; эти формы, таким образом, оказываются в числе синтаксических средств, связывающих между собой части сложного предложения. Сложные предложения этого типа представляют собой конструкцию с закрепившимися за ней определенными семантико-синтаксическими отношениями, для которой характерно структурное соответствие между частями, проявляющееся в их одинаковой модальности и в соответствии видо-временных форм глаголов; показатели грамматической связи (союз + форма сравнительной степени) распределяются параллельно между двумя предложениями в составе сложного, причем одно предложение не может оказаться в середине другого; это свидетельствует о наличии обобщенной, взаимной грамматической связи между предложениями.

Таким образом, рассмотренный тип сложного предложения находится за пределами типичных сложноподчиненных предложений и стоит в ряду сложных предложений, которым свойственны черты и сочинения, и подчинения.

М. Л. Ванслова

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Во многих случаях при рассмотрении фонологических казусов возникает вопрос: что надо относить за счет свойств фонем и что — за счет «условий» их существования в пределах того или иного фонетического положения и окружения, той или иной морфемы (корень, префикс, суффикс, флексия) и тех или иных линейно-структурных местонахождений морфем в пределах слова. Предлагаемые читателю две маленькие заметки могут быть иллюстрацией этих трудностей.

1. *К Ире*—*Кире*. Р.И. Аванесов в статье «Вопросы русского литературного произношения», между прочим, писал о согласных в конце слова, и, в частности, о необходимости сохранять в произношении твердость конечной согласной слова независимо от начала следующего: «Игнорирование ее (особенности произношения конечных согласных.—А. Р.) может повести к двусмысленности: фраза *я напíсалъ в'итáль'и́у* — может иметь два значения (*я написал Виталию* и *в Италию*). Напротив того, соблюдение ее дает возможность дифференцировать эти значения: *в'итáль'и́у (Виталию), вытáль'и́у (в Италию)*.

То же, примерно, можно сказать о еще более распространенном произношении *к'-ивáну*, *к'-ин'с'т'итуту*, вместо орфоэпических *к-ивáну*, *к-ын'с'т'итуту*. Правда, *к* и *к'* (в противоположность *с* и *с'*) не образует в русском языке двух разных фонем. Но сочетание *кы* употребляется только на стыке двух слов и потому оно служит ярким средством образования этого положения. Несоблюдение этой особенности русского произношения также может повести к двусмысленности. Фраза — *к'ýр'и н'эль'á им'т'и* может иметь два значения: *Кире нельзя идти* и *к Ире нельзя идти*. Эти значения легко различаются в литературном произношении: *к'ýр'и (к Ире), к'ýр'и (Кире)*¹.

Обращаю внимание на слова: «...служит ярким средством обозначения данного **п о л о ж е н и я**», где суть дела отмечена правильно, но теоретически не разъяснена.

К данному примеру вернулся А. Н. Гвоздев в 1953 г. Приведем его рассуждения: «Для иллюстрации того, что смысло-различительная функция звуков не обязательно связана с их положением в отдельных позициях, любопытны такие соотношения: *Отнеси к Ире (кýр'и)* — *Отнеси Кире (к'ýр'и)*... Различение здесь налично... на худой конец необходимо признать разными фонемами хотя бы одну из этих пар звуков (Разрядка наша.— А. Р.)².

Итак — явно два мнения. Где же истина? Чтобы это выяснить, обратимся к некоторым умозаключениям. 1) Двумя разными фонемами можно считать такие два звуковых различия, когда оба могут встретиться в языке в той же позиции и этим будет дифференцирован смысл³. 2) [к] и [к'] не могут быть в таких условиях; ср. *рука, рукой, руку, рук* — с *к* твердым и *руки, руке* с *к* мягким, причем нельзя иметь: *рука, рукай, руку, рукаь*, с одной стороны, и *руки, рукаь*, с другой.

То же самое следует сказать и об [и] и [ы]. А все-таки *к Ире* и *Кире* различаются! Дело заключается в том, что есть фонетические явления как свойства (Male, distinctive features) самих фонем, и есть то, что н а к л а д ы в а е т с я на фонемы от позиций, от «условий» существования фонем в морфемах и словах.

В данном случае 1) состав фонем тот же: *К Ире* [к-ýр'э] и *Кире* [к'ýр'э], так как [и] и [ы] и [к] и [к'] не разные фонемы, а лишь вариации той же фонемы, 2) по позиции разные: в случае *К Ире* фонема [к] в сильной позиции (конец слова, пусть служебного), а фонема [и] — в слабой (после твердой согласной, где [и] аккомодирует предшествующему соседу и «переходит» в [ы]), а в *Кире* — наоборот: фонема [и] в сильной позиции (после мягкой согласной), а фонема [к] — в слабой (перед [и]).

Тем самым не только фонемы, но и позиции соотносены со смысло-различением, и вопрос о фонемах связан со словом (в данном случае — Auslaut). Итак, в примерах

¹ Р. И. Аванесов, Вопросы русского литературного произношения, «Р. яз. в шк.», 1937, № 3, стр. 91—92.

² А. Н. Гвоздев, О фонологии «смешанных» фонем, ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 1, стр. 51—52.

³ См. А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1955, стр. 176.

К *Ире* и *Кире* состав фонем тот же, но позиции («условия») — разные; отсюда и разное звучание и — возможность смысловаразличения¹.

2. *Купаться* — *пяться*; *ленинградский* — *подадить*. Данные примеры представляют вариации на ту же тему, но здесь вопрос несколько сложнее, так как он связан со строением слова и с грамматическими тенденциями словообразования и словоизменения. В данном случае спор уже внутри так называемой московской фонологической школы.

Что в примерах *купаться* [купáц: ^] и *пяться* [п'áт'с' ^] (где различие [ц:] и [т'с'] — очевидно): 1) разный состав фонем в тех же «условиях» или же 2) тот же состав фонем в разных «условиях»? Мы вотпируем за второе.

Казалось бы, что «условия» одинаковы. [т']² предшествует [с'] на стыке морфем, и фонетический результат этого стыка оказывается различным: *купаться* (-ц-), но *пяться* (-т'с'-) — здесь аффрикаты не получилось.

Соотнеси формы *купаться* [купáц: ^] и *купался* [купáлс' ^], мы «очищаем» [с], а сопоставляя *купаться* [купáц: ^] и *купать* [купáт' ^], — «очищаем» [т']. Для случая *пяться* всего этого не нужно, разве что вспомнить о форме *пять* [п'áт' ^], что, собственно, ничего нового не дает.

Так что же: акцентные «условия» те же, соседство — то же, а результат разный. Можно ли сказать, что здесь та же п о з и ц и я и, значит, разный состав фонем? Нет.

Здесь разная позиция, т. е. не «те же условия». Дело в том, что вопреки мнению многих сторонников «автономии» фонетики, она — член общей структуры языка и через морфонологию теснейшим образом связана с морфологией³. Бодуэн де Куртене всегда подчеркивал теснейшую связь фонем и морфем. Фонемы существуют не «где-то», а только в морфемах, и сами морфемы (их тип: корень, префикс, суффикс, флексия), и характер соединения в слове — необходимые характеристики «условий» для существования фонем.

В данном случае, на наш взгляд, секрет в том, что в *купаться* налицо стык инфинитивного аффикса [т'] с начальным [с'] возвратного аффикса, и это стык фузионный, а в *пяться* — стык конечной согласной корня [т'] с таким же аффиксом, но это стык агглютинирующей тенденции. Поэтому при фузионном стыке в *купаться* [т' + с'] дают долгую аффрикату [ц:], а при агглютинирующем стыке в *пяться* [т' + с'] не дают аффрикаты, а остаются «каждый сам по себе». Следовательно, одинаковые фонемы, находясь в разных морфонологических позициях, дают различный результат при той же линейной расположенности.

Для того чтобы проверить этот сложный случай, возьмем более простой. Примеры: *ленинградский* [л'эн'и³нгрáцкэ] и *подадить* [пéцс'л⁴д'ит']⁴. Опять [д] и [с] встретились рядом, в той же последовательности, но результат разный.

Дело, конечно, в том, что фонемы те же, а «условия» разные. Стык префикса с корнем в русском языке имеет агглютинирующую тенденцию (что подтверждается и грамматическим характером префиксов в русском языке), а стык корней с суффиксами — типично фузионный (ср. *объездчик*, где очень трудно установить, какой корень: [jэзд] или [jэж] и какой суффикс: [-чик] или [-щик]).

В заключение еще раз хотелось бы сказать, что фонологи, боящиеся «морфематизма», морфонологического аспекта, сугубо неправы. Не следует говорить об «автономии» фонетики, гораздо важнее понимать связь структурных ярусов языка и, в частности, фонетики и грамматики, без чего нельзя понять позиции («условия») для функционирования фонем в морфемах и словах⁵. И кроме того, следует еще и еще раз подчеркнуть, что без учения о позициях (в том числе и морфонологических) построить фонологию нельзя.

А. А. Реформатский

¹ Относительно вопроса об [и] и [ы], кроме давно известных рассуждений у Л. В. Щербы («Русские гласные в качественном и количественном отношении», СЛБ, 1912, стр. 50), у Р. И. Аванесова, А. А. Реформатского и др., см. W. Steinitz, *Russische Lautlehre*, Berlin, 1953, стр. 43 с полемикой, направленной против положений А. Н. Гвоздева, (см. сноску).

² Будет ли это фонема [т'] или гиперфонема [т'/д'] — в данном случае несущественно.

³ Ср. N. S. Trubetzkoy, *Gedanken über Morphologie*, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, 1931, стр. 161; ср. также: А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 95 и сл.

⁴ Пример приводится и у Р. И. Аванесова в его книге «Русское литературное произношение» (2-е изд., М., 1954, стр. 100—101). Впрочем, насчет оговорок на стр. 100 «при более отчетливой речи произносится, видимо (? — А. Р.), [цс]: сове[цс]-кий...» мы с Р. И. Аванесовым никак согласиться не можем.

⁵ См. об этом «Отклики на статью С. К. Шаумяна „Проблема фонемы“», ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 4, стр. 373—377 [о заметке М. В. Чапова].

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА В ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СОЧЕТАНИЯХ
С ФОРМОЙ НА -ГАН В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

1

Вопрос о залоговом значении формы на *-ган* в определительных сочетаниях является одним из наиболее спорных в грамматике узбекского и других тюркских языков. Это объясняется тем, что широко употребительные определительные конструкции с формой на *-ган*, трактуемой в тюркологической литературе как причастие, недостаточно изучены не только в историческом плане, но и в современном их состоянии.

Существующему противопоставлению действительного и страдательного залогов в личных формах глагола (которое, кстати сказать, исследовано также сравнительно мало) структурно соответствуют два варианта формы на *-ган* в определительных сочетаниях: с нулевым показателем залогов и с аффиксом страдательного залогов $-(u)l|-(u)n$. Употребление указанных двух разновидностей формы на *-ган* в позиции определения регулируется особыми закономерностями, существенно отличающимися от тех, которым подчиняется функционирование действительных и страдательных причастий, например, в русском языке. Наглядное представление о своеобразии этих закономерностей могут дать два общеизвестных примера. С одной стороны, форма на *-ган* с нулевым показателем залогов может быть определением при именах, являющихся по отношению к форме на *-ган* как субъектом действия (*Ўқиган бол* «читающий ребенок»), так и объектом действия (*Ўқиган китоб* «прочитанная книга»). С другой стороны, при определяемом, которое по значению представляет собой объект действия, выраженного формой на *-ган*, могут употребляться оба варианта формы на *-ган* — с нулевым показателем залогов (*Ўқиган китоб* «прочитанная книга») и с аффиксом страдательного залогов (*Ўқилган китоб* — в том же значении).

Указанные особенности атрибутивного использования формы на *-ган* и являются причиной противоречивости мнений о залоговом значении формы на *-ган*. К этому следует добавить, что из-за недостаточной изученности различных типов определительных конструкций с формой на *-ган* то или иное толкование ее залогового значения часто основывается на анализе лишь некоторых типов определительных сочетаний (преимущественно тех, которые указаны в приведенных выше примерах) без должного внимания к их системе.

В области изучения современной системы определительных сочетаний с формой на *-ган* в связи с залоговыми отношениями намечается несколько тесно сопряженных вопросов. Четкое разграничение функций страдательной и нестрадательной разновидностей формы на *-ган* является первым необходимым условием для понимания сущности залоговых различий в определительных конструкциях с формой на *-ган*. Вместе с тем необходимо выявить различные структурные типы определительных оборотов с формой на *-ган*, способы выражения субъекта действия в них и (что особенно существенно для категории залогов) способы сопоставления субъекта действия с формой на *-ган* (ср., например, типы: *менинг ўқиган китобим* и *мен ўқиган китоб*, оба в значении: «книга, которую я прочитал»). Наконец, представляется чрезвычайно важным установить грамматическую природу отношений между формой на *-ган* и определяемым, так как именно в односторонней трактовке этих отношений заключается причина спорных толкований залогового значения формы на *-ган*. Рассмотрению этого последнего вопроса и посвящается предлагаемая статья.

2

Как уже говорилось, форма на *-ган*¹ от переходных глаголов в тюркских языках может при известных условиях без формального различия действительного и страдательного залогов быть определением как при имени, обозначающем производителя действия, так и при имени, обозначающем объект действия, выраженного формой на *-ган*. Ср. узб. *Ўқиган бол* «читающий ребенок», *Ўқиган китоб* «прочитанная книга». В той или иной степени эта особенность формы на *-ган* привлекала внимание многих

¹ Здесь и в дальнейшем речь будет идти о форме на *-ган*, ее производные на *-ётган* и *-диган* не будут рассматриваться особо, поскольку в характере их связи с определяемым между ними различий нет.

исследователей тюркских языков¹. Аналогичные факты отмечались также исследователями монгольских и тунгусо-маньчжурских языков². На материале тюркских языков в последнее время этот вопрос был рассмотрен Н. А. Баскаковым³.

Н. А. Баскаков определяет залоговое значение формы на *-ган* в определительных сочетаниях каракалпакского языка, тождественных узбекскому обороту *ўқиган китоб* «прочитанная книга», как страдательное на основании объектного (по отношению к форме на *-ган*) значения определяемого⁴.

Однако в современном узбекском языке, наряду с определительными сочетаниями типа *ўқиган китоб* «прочитанная книга», возможны, как указывалось выше, и обороты типа *ўқилган китоб* (в том же значении), т. е. с формально выраженным страдательным залогом. Например: *Уруш тугайли ота-онасиз қолган еа Ўзбекистонга юборилган ёздақлардан эди у* (М. Ойбек) «Он был из тех малышей, которые из-за войны остались без родителей и были отправлены в Узбекистан»; *Ош тосуқ ғўшти блан пиширилган палов эди* (С. Айний) «Еда состояла из плова, сваренного с куриным мясом».

Возможность употребления формы на *-ган* и в страдательном залогом, и с нулевым показателем залога при определяемом, которое является по смыслу высказывания объектом выражаемого формой на *-ган* действия, показывает, что страдательный залог здесь зависит не от характера отношения формы на *-ган* к последующему имени (определяемому), а от других причин. Форма на *-ган* с нулевым показателем залога употребляется в тех случаях, когда субъект действия, выраженного формой на *-ган*, известен, а страдательный вариант формы на *-ган* используется при невыявленном субъекте действия⁵. Следовательно, форма на *-ган* с аффиксом страдательного залога имеет неопределенно-личное значение, т. е. выражает действие без соотнесения его с конкретным производителем действия⁶. Известно, что в староузбекском языке такое значение формы страдательного залога подчеркивалось ее способностью управлять вни- тельным падежом объекта⁷.

Но если залог формы на *-ган* обуславливается не значением определяемого, то из этого следует, что сочетание формы на *-ган* с ее определяемым происходит на какой-то другой основе, нежели категория залога. Ответ на вопрос о том, какова эта основа, может дать лишь анализ типов определительных оборотов с формой на *-ган*, различающихся между собой по характеру смыслового отношения формы на *-ган* к определяемому.

¹ См., например: М. А. К а з е м-Б е к, Общая грамматика турецко-татарского языка, 2-е изд., Казань, 1846, стр. 309, 311; «Грамматика алтайского языка», сост. членами Алтайской миссии, Казань, 1869, стр. 50, 194.

² См., например: Г. Д. С а н ж е е в, Синтаксис бурят-монгольского языка, Улан-Удэ, 1940, стр. 73—74, 99—100; ср. также О. П. С у н и к, Очерки по синтаксису тунгусо-маньчжурских языков. Поссесивный строй предложения, Л., 1947, стр. 147—157.

³ См.: Н. А. Б а с к а к о в, Каракалпакский язык, т. II — Фонетика и морфология, ч. I — Части речи и словообразование, М., 1952, стр. 332—352; е г о ж е, Залоги в каракалпакском языке, Ташкент, 1951.

⁴ См. Н. А. Б а с к а к о в, Каракалпакский язык, т. II, ч. I, стр. 333, 347.

⁵ На последнее в свое время совершенно справедливо указывали авторы «Грамматика алтайского языка» (см. стр. 50 и 194). Возможность употребления страдательного варианта формы на *-ган* при определяемом, которое по своему значению не может быть объектом действия, выраженного формой на *-ган* (ср., например, надпись на документах: *берилган вақт* «дата выдачи»), лишний раз подтверждает правильность мысли о том, что страдательный залог здесь не зависит от характера отношений формы на *-ган* к ее определяемому.

⁶ В оборотах со страдательным вариантом на *-ган* при определяемом, обозначающем объект выраженного формой на *-ган* действия, существует уже вполне сложившийся грамматикализованный способ описательного выражения субъекта действия при помощи служебного имени *томонидан* (буквально: «со стороны»), устраняющий неопределенность действующего лица и поддерживающий тем самым собственно страдательное значение в форме на *-ган*. Например: *Сиз катталик қилиб отангиз томонидан берилган номдан орланар экансиз...* (С. Айний) «Вы важничаете и стыдитесь имени данного (вам) вашим отцом...»

⁷ См. П. М. М е л и о р а н с к и й, Памятник в честь Кюль-Тегина, «Зап. Вост. отд-ния Русск. археол. о-ва», т. XII, выпуски II и III, СПб., 1899, стр. 102. См. также: А. Н. К о н о в о в, Грамматика узбекского языка, Ташкент, 1948, стр. 47 (примечание). В литературе по индоевропейским языкам также отмечалось, что «... в более древнее время переходность не противопоставляется страдательности» (А. В. П о н о в, Сравнительный синтаксис именительн., звательн. и в лительного падежей в санскрите, зенде, греч., латин., немецк., литов., латыш. и сл. наречиях, ФЗ, вып. III, Воронеж, 1880, стр. 175).

3

В современном узбекском языке определительные обороты с формой на -ган могут иметь в качестве определяемого имени существительные (или иные субстантивированные имена) со следующими значениями:

1. Определяемое обозначает производителя действия, выраженного формой на -ган (тип: *ўқиган бола* «читавший ребенок»): *Болаларнинг қўшиғичи эшитган кўп одамларнинг кўзлари ёшга тўлди* (П. Турсун) «У многих людей, слышавших песню детей, глаза наполнились слезами»; *Пул йўқотган Нишонбой йиғламсираб Араббой ёнида турарди* (П. Турсун) «Около Араббая, всхлипывая, стоял Нишанбай, потерявший деньги».

2. Определяемое обозначает объект действия, выраженного формой на -ган. Этот тип определительного оборота имеет несколько разновидностей в зависимости от того, в каком падеже стояло бы дополнение при глаголе:

а) в винительном (тип: *ўқиган китобим* «книга, которую я прочитал»): *Энг севган ёвушим А.М. Горький эди* (Ф. Фулуд) «Моя самым любимым писателем был А.М. Горький»; *Антонина Анатольевна ўтирди-да, столга қўйган папкасини очиб, шидан дафтар олд...* (П. Турсун) «Антонина Анатольевна села п, открыв папку, которую она положила на стол, достала из нее тетрадь»;

б) в дательном (тип: *кирган эшигим* «дверь, в которую я вошел»): *Уни катган томондан кутиб турса, ёнидан чиқиб келди* (П. Турсун) «Он ожидал ее с той стороны, куда она ушла, а она появилась [откуда-то] сбоку»; *Бироздан кейин уйғониб, ўзини гийла энгил ва тетик сездим, ётганда бошини қўйган қўлчини силади ва чой сўради* (М. Ойбек) «Проснувшись через некоторое время, он почувствовал себя легко и бодро, потер руку, на которой лежала его голова (буквально: на которую он положил свою голову), когда он спал, и спросил чаю»;

в) в исходном (тип: *қўрққан ҳодисам* «событие, которого я испугался»): *Бу жавобни эшитган очам қўрққан нарасига бирдан дуч келиб қолган одамдай, титраб кетиб, нафаси қўрагига қисилиб қолгандай бўлди* (С. Айний) «Моя мать, услышавшая этот ответ, задрожала и словно задохнулась, как человек, внезапно оказавшийся перед лицом факта (буквально: вещи), которого он боялся»;

г) в основном падеже с последующим *блан* (тип: *гаплаган одамим* «человек, с которым я разговаривал»): *...ҳарбир гаплаган одамига шу тўғрида ара қиларди* (П. Турсун) «...к каждому человеку, с которым она говорила, она обращалась с просьбой об этом».

3. Определяемое обозначает место действия, выраженного формой на -ган (тип: *ўқиган мактабим* «школа, в которой я учился»): *Одамлар ўтирган ерларида қимирлашиб, диққат блан Холмуродга тикилишиди* (П. Турсун) «Люди задвигались на своих местах (буквально: на тех местах, где они сидели) и со вниманием воззрились на Холмурада»; *Ишларингиз ҳам, турган жойингиз ҳам жуда яхши эмиш...* (О. Ёқубов) «По-видимому, и ваша работа, и место, где вы живете, очень хороши».

4. Определяемое обозначает время действия, выраженного формой на -ган (тип: *ўқиган вақтим* «время, когда я учился»): *Сотволдми ўлдирган қотил шу эканига ва қариган чогида эски касбини яна қўмсаганига ҳечкимда шубҳа қолмади* (П. Турсун) «Ни у кого не осталось сомнений, что именно он убийца Сатвадда, что на старости лет (буквально: в то время, когда он состарился) он стесковался по своему прежнему ремеслу»; *Ҳовлига кирган вақтимда дарвозахонада менга дуч келган Қўтбия: — қўйнингиздаги нима? — деб мандан сўради* (С. Айний) «Когда я вошел во двор, встретившаяся мне в воротах Кутбия спросила у меня: «Что это у тебя за пазухой?».

4

Теперь, после рассмотрения типов определяемых, которые возможны при определении в форме на -ган, перейдем к вопросу о характере отношений между формой на -ган и этими ее определяемыми.

Стремление объяснить связь формы на -ган с определяемым в определительных сочетаниях первых двух типов (*ўқиган бола* «читавший ребенок» и *ўқиган китобим* «книга, которую я прочитал») на основе категории залога естественно, так как отношения определяемых к форме на -ган в этих сочетаниях являются субъектно-объектными. Но сопоставление этих двух типов определительных сочетаний с остальными типами, т. е. анализ системы определительных сочетаний с формой на -ган, показывает, что залоговое значение формы на -ган нельзя выводить из смысловых отношений этой формы и ее определяемого. Можно ли определить залог формы на -ган в оборотах типа *ўқиган мактабим* «школа, в которой я учился» и *ўқиган вақтим* «время, когда я учился», если исходить только из значения определяемого? Ведь это не «учившаяся школа» или «обученная школа», не «учившееся время» или «обученное время»¹.

¹ См. Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 190.

Диапазон возможных по смысловому отношению их к форме на *-ган* определяемых (субъект, объект, место и время действия) позволяет думать, что сочетание определения в форме на *-ган* с определяемым осуществляется на основе более широкой, чем категория залога.

По-видимому, для выяснения характера отношения формы на *-ган* к ее определяемому большее значение, нежели категория залога, имеют семантико-синтаксические связи глагола.

Действие, выражаемое глагольной формой (в рассматриваемом случае — формой на *-ган*), конкретизируется в речи указанием на производителя действия, объекты действия и различные обстоятельства, совокупность которых образует круг семантико-синтаксических связей глагола. По количеству возможных связей, что определяется семантикой глагола, глаголы оказываются как бы «разновалентными». Ср.: *читал* (кто, что, где, когда); *шел* (кто, где, куда [откуда], когда); *спал* (кто, где, когда); *беседовал* (кто, с кем, о чем, где, когда); *напоил* (кто, кого, чем, где, когда). Различия между глаголами проявляются в сфере объектных связей глагола, так как все глаголы могут соотноситься с деятелем и получать пространственно-временную характеристику.

Анализ разобранных выше типов определительных сочетаний с формой на *-ган* показывает, что каждый из указанных «уточнителей» глагола, будучи выражен именем существительным, может попасть в позицию определяемого при форме на *-ган*. Связь определения в форме на *-ган* с определяемым осуществляется на основе обычного для многих определительных сочетаний в тюркских языках примыкания компонентов определительной группы. Что же касается категории залога, то она не имеет непосредственного отношения к характеру связи формы на *-ган* с определяемым.

Любой член предложения, выраженный именем существительным (подлежащее, дополнение, обстоятельство места, обстоятельство времени, а в редких случаях также и сказуемое), может определяться формой на *-ган*. Таким образом, одна из семантико-синтаксических связей формы на *-ган* всегда «занята» определяемым, следующим за формой на *-ган*, а в пределах оставшихся «свободными» связей возможно введение завысимых от формы на *-ган* слов.

Способностью формы на *-ган* сочетаться в определительной группе практически с любым именем существительным объясняется широкое употребление оборотов с формой на *-ган* при различных «обстоятельственных» словах типа *җол* «положение», «состояние»; *тарз* «форма», «манера»; *равиш* «образ»; *вазипт* «положение»; *җибҗа* «облик»; *дараҗа* «степень» и др. Определяемые указанного типа имеют несколько ослабленное лексическое значение и употребляются преимущественно в местном падеже. Лексическая неполновесность определяемых в оборотах этого типа объясняет в их особое положение в намеченной выше схеме семантико-синтаксических связей формы на *-ган*: если субъект, объект, место и время действия представляют собой те объективные условия, в которых протекает действие глагола, то определяемые «обстоятельственного» типа обозначают положение, состояние, манеру и т. д., в роли вводимые самими действиями. Иначе говоря, определяемые, обозначающие субъект, объект, место и время действия, являются полнозначными словами, содержание которых расширяется посредством определения действием, а определяемые с ослабленным лексическим значением (*җол*, *тарз* и т. п.) служат лишь грамматической опорой для оборотов, выражающих само действие, которое в качестве обстоятельственной характеристики сопровождает другое действие. В оборотах этого типа сочетание формы на *-ган* с определяемым также осуществляется безотносительно к категории залога.

5

Попытки установить залоговое значение формы на *-ган* без учета всей системы определительных конструкций, образуемых этой формой, а также всех возможных типов определяемых (по их отношению к форме на *-ган*) не могут дать положительного результата.

Вряд ли можно признать удачным объяснение характера отношений формы на *-ган* к ее определяемому в башкирском языке, которое предложил Н. К. Дмитриев, видевший причину специфического характера этих отношений в том, что для башкирского языка понятие переходности глагола шире, чем для русского языка¹. При таком понимании природы отношений между формой на *-ган* и определяемым за основной тип определительных сочетаний принимаются те сочетания, в которых определяемое является прямым объектом действия, выраженного формой на *-ган*; понятие же переходности неправомерно распространяется на различные варианты косвенно-объектной по смыслу связи между глаголами в форме на *-ган* и их определяемыми. Н. К. Дмитриев признает, правда, что определительные отношения в оборотах с формой на *-ган* «... строятся на принципе прямой переходности, иногда — косвенной»², но сочетания,

¹ Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 250.

² Там же, стр. 252.

в которых определяемое обозначает место или время действия, выраженного формой на *-ган*, выпадают из его поля зрения.

Нельзя также согласиться и с И. А. Батмановым, который, справедливо настаивая на пересмотре содержания категории причастий для киргизского и ряда других тюркских языков, тем не менее разделяет мнение о том, что «...так называемые причастия на *-ган* перед одушевленными именами выступают в значении действительного, а перед остальными — страдательного залога»¹.

Рассмотрение системы определительных сочетаний, а также типов возможных определяемых при форме на *-ган* позволяет выявить основу, на которой осуществляется в узбекском языке сочетание формы на *-ган* с определяемым. Этой основой оказывается примыкание в рамках семантико-синтаксических связей глагола, выраженного формой на *-ган*. Из этого вовсе не следует, что самой форме на *-ган* чуждо залоговое значение. Несомненно, однако, что залоговое значение формы на *-ган* не может быть определено непосредственно из анализа отношения определяемого к форме на *-ган*.

При таком понимании характера связи между формой на *-ган* и определяемым это специфическое свойство тюркских причастий оказывается необычным только с позиций русского языка, где определяемое при причастии-определении может быть только субъектом или объектом действия, обозначенного причастием.

*

Предпринятая в настоящей статье попытка установить грамматическую природу отношения формы на *-ган* к определяемому позволяет сделать следующие общие выводы.

1. При установлении залогового значения формы на *-ган* в позиции определения нельзя исходить из отношений между формой на *-ган* и ее определяемым, так как определяемое в узбекском языке может обозначать не только субъект и объект действия (как, например, в определительных сочетаниях с причастиями в русском языке), но также место и время действия, выраженного формой на *-ган*. Анализ допускаемых формой на *-ган* типов определяемых показывает, что сочетание этой глагольной формы с определяемым осуществляется на основе, отличной от категории залога.

2. Залоговые различия в форме на *-ган* выражаются морфологически и зависят не от значения определяемого, а от того, обозначен ли в предложении субъект действия, выраженного формой на *-ган* (в этом случае употребляется форма на *-ган* с нулевым показателем залога), или не обозначен (в этом случае форма на *-ган* имеет показатель страдательного залога).

3. Форма на *-ган* в позиции определения не имеет внешних показателей определительной связи и сочетается с определяемым на основе примыкания. Характер и число возможных типов определяемых зависит от большего или меньшего объема семантико-синтаксических связей того или иного глагола, выраженного в форме на *-ган*.

С. Н. Иванов

¹ И. А. Батманов, Части речи в киргизском языке, ВЯ, 1955, № 2, стр. 70

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ferdinand Tietwehr. Slawische Sprachwissenschaft in Einzeldarstellungen. — Wien, 1955. 129 стр.

Рассматриваемая книга, принадлежащая перу известного специалиста по западно-славянским языкам, ученика Н. С. Трубецкого проф. Ф. Ливера, состоит из четырех отдельных очерков, посвященных некоторым вопросам сравнительно-исторической фонетики и морфологии славянских языков. Значительная часть материала, содержащегося в этих очерках, относится к восточнославянским языкам, что представляет для нас особый интерес.

В первом очерке книги, озаглавленном «Изменения лингвистических воззрений» («Wandlungen der Sprachbetrachtung»), Ф. Ливер, касаясь некоторых общих проблем исторического развития славянских языков, с большим сочувствием относится к телеологическому направлению в языкознании, которое он противопоставляет старому позитивному направлению (он имеет в виду в первую очередь младограмматиков) с его «атомистическими» приемами и механическим рассмотрением языка (стр. 11—13). Ф. Ливер целиком принимает учение об экспрессивном характере слов и форм, представляющих отклонения от закономерного фонетического развития (это учение было развито в работах Махка, Коржиника, Шпехта, Хаверса и Фасмера), причем понимает его очень широко. Экспрессивным характером слов он объясняет явления звукоподражательного характера, явления, связанные с особой значимостью предмета, обозначаемого соответствующим словом, различные явления, связанные со словесными запретами (табу) и т. п. Столь неоправданное преувеличение роли экспрессивных средств в развитии звуковой стороны языка вызывает серьезные возражения. Общеизвестно, что некоторые слова экспрессивного характера, прежде всего междометия, иногда могут кое в чем отступать от обычных фонетических норм. Но звуки и формы в целом изменяются закономерно, и именно это обстоятельство определяет характер звуковых изменений в языке.

В качестве примера отступления от закономерного фонетического развития в звукоподражательных словах Ф. Ливер приводит наличие в русском языке параллельных форм *бряцать* и *брянчать* (*бренчать*) на месте общеславянского *brǣčati** (стр. 6). Формы с носовым согласным в корне рассматриваются Ливером как результат отступления от звуковых закономерностей (фонетически закономерно развилась форма *бряцать*: общеслав. $\xi(\langle en \rangle)$ русск. 'а); по его мнению, возникновение указанных глаголов связано с междометием звукоподражательного характера¹. Однако у нас нет оснований утверждать, что формы *бренчать*, *брянчать* (обе они являются, по-видимому, орфографическими вариантами) представляют собой какое-то отступление от закономерного фонетического развития. Как звукоподражательные формы с носовым могли вновь возникнуть в какой-то более поздний момент истории языка вне связи со старой формой *бряцати*; при этом вовсе не обязательно было нарушать звуковые нормы соответствующей эпохи. Во всяком случае, у нас нет никаких данных, свидетельствующих о таком нарушении. Если слово возникло до падения редуцированных, оно могло иметь форму *бренчати* (с редуцированными после *л*), если же оно возникло позднее (что вообще вероятнее), то сочетание гласного с носовым согласным в положении перед согласным было вполне возможно.

Переход форм множественного числа из твердого склонения в мягкое у существительных *чорт* и *сосед* в русском языке (ср. *соседи*, *черти* и т. д.) Ф. Ливер объясняет на основании явлений словесного табу. Сохранение у этих существительных старой формы именительного падежа множественного числа автор рассматривает как результат нежелания говорящих употреблять формы объекта вместо форм субъекта из страха перед сверхъестественными существами. Но ни о каком словесном запрете здесь не может быть речи. При установлении для формы именительного падежа множественного числа окончания -у вместо старого -і у говорящих уже и не могло быть представления о том, что форма на -у обозначает специально объект — ведь субъект и объект

¹ Здесь следует указать на существовавший в древнерусском языке параллельно с *бряцати* глагол *брячати*, спрягавшийся, по-видимому, по IV классу и фонетически развившийся из **brǣčati* (<**brǣčĕti*). Этот глагол засвидетельствован в Поучениях Иоанна Златоуста по рукописи XV в.

действия в эту эпоху формально уже не различаются и форма на -у употребляется одинаково для того и другого. В случае же необходимости отличия объекта от субъекта начинает употребляться родительный падеж не только в единственном числе, но и во множественном. Кроме того, Ливер совершенно забывает, что в московских памятниках и впоследствии в русском литературном языке (включая XVIII в.), наряду с *sosedi* и *чрти*, имеется еще и форма множественного числа *холопи*; в единственном числе слово *холоп* также склоняется по твердой разновидности, однако к нему предпочтительнее Ливером объяснение неприменимо.

В фонологической части рассматриваемого очерка Ф. Ливер стремится применить при рассмотрении фонологических особенностей отдельных славянских языков в их развитии общие положения пражской фонологической школы, разработанные в первую очередь Трубецким и Якобсоном. Некоторые его соображения в этой области представляют несомненный интерес. Так, заслуживает внимания указание на различную фонематическую роль *г* и *г'* в различные периоды исторического развития чешского языка (стр. 14). Но в целом фонологические рассуждения автора вызывают серьезные возражения. В особенности это относится к постулируемой им связи фонологических исследований с телеологическим истолкованием явлений, имеющих место в звуковой стороне языка (стр. 13). Положение о целенаправленности звуковых изменений, объясняемых на основе фонемных отношений как движущей силы этих изменений, характерно для представителей пражской школы; это положение, например, отчетливо выражено в статье Р. Якобсона, посвященной принципам исторической фонологии¹. Но согласиться с данным положением мы не можем. Фонологические отношения, имеющиеся в языке, представляют собой достигнутый результат, но не движущую силу изменений. В основе фонетических изменений лежат определенные чисто фонетические причины (правда, мы не всегда в эти причины можем проникнуть), а не тенденция к восстановлению равновесия в фонологической системе или тенденция вообще преобразования этой системы в определенном направлении (как это неоднократно утверждал Р. Якобсон).

*

Основные тенденции изменения звуковой системы общеславянского языка, отражающиеся и в ранний период отдельной жизни различных славянских языков, те или иные частные случаи проявления этих тенденций рассматриваются во втором очерке книги, озаглавленном («Как объясняется согласованность звуковых процессов праславянской эпохи и раннего периода обособленного развития славянских языков?» («Wie erklärt sich die Gleichstimmigkeit der vor- und fröheinzelsprachlichen Lautprozesse des Slawischen?»)). Признавая вслед за Н. Ван-Вейком² основными фонетическими тенденциями общеславянского языка тенденцию к повышению сонорности на протяжении слога и тенденцию к ассимиляции по палатальности (действие этих тенденций продолжалось в период распада славянской общности и прекратилось лишь в ранний период жизни отдельных славянских языков), Ф. Ливер высказывает весьма интересное соображения по поводу фактов сохранения в некоторых славянских языках (древнепольском, кашубском, полабском) сочетания гласного с плавным в закрытом слоге. Эти факты автор связывает с высокой степенью сонорности *г*, *л* (стр. 24). Однако при этом остается неясным отношение Ливера к развитию сочетаний редуцированных с плавными в закрытом слоге в различных славянских языках, особенно в русском, а в этой области наблюдается много интересного, причем многие вопросы окончательно еще не решены³. Вообще тенденция к повышению сонорности на протяжении слога со всеми частными явлениями, связанными с ней, рассмотрена слишком суммарно и без детального исследования хронологических отношений частных явлений, без чего не может быть решена самая проблема становления и распространения этой тенденции. Так, Ливер лишь упоминает о монофтонгизации дифтонгов, но не исследует ее с точки зрения относительной хронологии. Между тем уже давно было отмечено, что не все дифтонги монофтонгизировались одновременно⁴.

¹ R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, 1931.

² См. N. van Wijk, Geschichte der altkirchenslavischen Sprache, Bd. I, Berlin—(Leipzig, 1934).

³ Из последних работ в этой области см., например, содержащую очень интересные соображения работу В. Н. Сидорова «Редуцированные гласные *ъ* и *ь* в древнерусском языке XI в.» («Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. II, М., 1953). Относительно развития дифтонгов с плавными в различных славянских языках ср. также R. Jakobson, On slavic diphthongs ending in a liquid, «Slavic word», № 1 («Word», vol. 8, № 4), 1952.

⁴ О более ранней монофтонгизации однородных дифтонгов (типа *ou*, *ei*) по сравнению с разнородными (типа *oi*) см. В. А. Богородицкий, Сравнительная грамматика арио-европейских языков, вып. 1, Казань, 1914, стр. 137. На позднюю монофтонгизацию *oi*, давшего *ѣ*, указывают явления второй палатализации.

Ф. Ливер уделяет много внимания действию древнейших славянских акцентологических законов, связывая его с тенденцией к повышению sonorности на протяжении слога (в результате которой, например, становится возможным лишь восходящее по тону ударение на внутренних слогах). Но здесь еще остается много спорного. Во-первых, возникает вопрос, что считать повышением sonorности в акцентном отношении. Мы знаем, что не всегда направление движения тона совпадает целиком с направлением движения интенсивности (примером этому может служить описанное Ф. Лоренцом словинское ударение); во-вторых, самая тенденция к понижению sonorности на протяжении слога представляет собой результат ряда частных изменений, осуществившихся в очень различные эпохи, часть же передвижений, которые имеет в виду Ливер, относится к достаточно раннему времени. В вопросах акцентологии Ливер вообще следует классической трактовке акцентных отношений и их преобразований на почве общеславянского языка, согласно которой все слоги слова (в том числе и безударные) характеризовались в музыкальном отношении. При этом он оставляет без внимания во многом спорную, но очень интересную гипотезу Е. Куриловича относительно характера древнего индоевропейского ударения и ударения в отдельных группах языков, в том числе в славянской¹. А между тем идея развития музыкальных различий лишь на ударных слогах и объяснения изменений места ударения вне зависимости от музыкального качества слога безусловно заслуживает внимания.

Особое внимание проблемам акцентологии Ливер уделяет в четвертом очерке своей книги (стр. 96—102), где он рассматривает многие отдельные вопросы акцентологии славянских, в особенности восточнославянских, языков. В частности, автор (см. стр. 98—102, прим. 11) с полным основанием возражает Р. Якобсону, который считал несомненными свободное экспираторное ударение и свободное количество (т. е. количественные различия, позиционно не обусловленные), с одной стороны, и корреляцию движения тона (т. е. интонационные отношения в пределах слова) и корреляцию собственного тона согласных (т. е. фонематическое противопоставление твердых и мягких согласных), с другой. В то же время возражения Ливера недостаточно убедительны. По мнению Ливера, указанное положение опровергается фактами русского языка, где противопоставления согласных по твердости и мягкости устанавливались тогда, когда язык располагал и интонационными различиями. Однако вопрос об установлении противопоставления твердых и мягких согласных излагается в слишком общей форме, причем совершенно не уделяется внимания спорным вопросам, связанным с хронологией установления этой корреляции для различных позиций. Так, например, устанавливая эту корреляцию, между прочим, и на основании таких отношений, как **sadu* (дат. падеж од. числа от **sadъ*) — **s'adu* **s'ędo* (1-е лицо ед. числа глагола), Ф. Ливер совершенно не ставит вопроса о том, на чем было основано первоначально звуковое выражение различия этих форм: на различии согласных или на различии гласных; ведь возможно, что первоначально, и даже в эпоху, уже засвидетельствованную памятниками, противопоставлялись не *sadu* — *s'adu*, а *ǫadu* — *sadu*, причем *s* в обоих случаях было несмягченное².

Говоря о тенденции к ассимиляции звуков внутри слога, ведущей к палатализации согласных, Ф. Ливер рассматривает различные случаи палатализации заднебных согласных в соседстве с гласными переднего ряда, случаи палатализации всех согласных в сочетании с *i*, развитие полумягкости согласных (*leichtpalatale Aussprache*) и случаи позиционного передвижения задних гласных в передний ряд. Автор устанавливает четыре палатализации заднебных, из которых он считает общеславянскими лишь три (стр. 26—27). То явление, которое Ливер называет четвертой палатализацией, вряд ли заслуживает такого названия. Сюда относятся различные случаи звукоподражательного характера, т. е. такие, как, например, церк.-слав. *звѣздати* «свистать», русск. диалект. *звѣздать*, серб. *звѣзда* «свист», русск. *свистать*, чеш. *svístěti*, *svíst* при *chvístati* и т. п. (стр. 29, прим. 10), которые сам Ливер считает отступлениями от звуковых законов. Несомненно, что эти случаи не представляют собой закономерно осуществляющихся изменений. Сложный вопрос об относительной хронологии второй и третьей палатализации не рассматривается в рецензируемой книге, хотя в науке по этому поводу существуют различные мнения³. Следует заметить, что мнение относительно более поздней палатализации заднебных перед передними гласными дифтонгического происхождения и мнение о более раннем осуществлении ее после известных гласных переднего ряда подтверждается далеко не всеми фактами язы-

¹ См. J. K u r y ł o w i c z, L'accentuation des langues indo-européennes, Kraków, 1952.

² Ср.: Л. Л. В а с и л ь е в, С каким звуком могла ассоциироваться буква «неотилованный юс малый» (ѣ) в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников?, РФВ, т. LXIX, № 1-2, Варшава, 1913; Н. Д у р в о в о, К истории звуков русского языка, II — Старославянские смягченные согласные в Архангельском Евангелии, «Slavia», гош. II, seš. 4, 1924.

³ Ср. об этом примечания автора настоящей рецензии к книге А. М е й е «Общеславянский язык» (перевод с франц., М., 1951, стр. 432).

ка. Возможно, что палатализация заднебных в свистящие в рассмотренных положениях осуществлялась одновременно, и таким образом правильнее было бы говорить лишь о первой и второй палатализации, не выделяя особо третью.

Не все положения автора относительно фонетических процессов, явившихся результатом сочетания согласных с последующим *j*, можно считать достаточно обоснованными. Говоря о развитии смичения в сочетаниях *tj*, *dj*, *kt'*¹, автор полагает, что такие сочетания дают *t't'*, *d'd'*, т. е. двойные палатализованные зубные взрывные согласные. Эти два согласных в болгарской области были отделены друг от друга реакой артикуляционной границей (имеется в виду, очевидно, слоговая граница, ибо ни о какой иной артикуляционной границе в данном положении не может идти речь). В результате этого между ними развивался неустойчивый (flüchtig) фрикативный согласный подобного по органу образования, т. е. сочетания являлись в виде *t's't'*, *d'z'd'*, затем изменившихся в *št'*, *žd'* (согласно правилу, по которому в случае наличия сибиланта, окруженного двумя взрывными, первый взрывной терялся). Трудно согласиться с таким представлением о ходе данного фонетического процесса. Развитие слоговой границы между двумя взрывными вряд ли возможно. Скорее еще на общеславянской почве здесь развивался долгий взрывный согласный (*t'*, *d'*), который при размыкании сопровождался фрикативным элементом (шипящим для южной и восточной группы, свистящим для западной); в болгарском же языке, кроме того, развивался шипящий элемент перед согласным (вероятно, в результате изменения положения языка при переходе от артикуляции предшествующего гласного к артикуляции рассматриваемого согласного). Затем, в результате диссимилиации, терялся второй фрикативный элемент. Именно такой путь развития наблюдается в юго-западных болгарских, македонских и албанских говорах, где глухому сочетанию *štš* соответствует звонкое *žd'* с утратой второго фрикативного².

Безусловно ценной является попытка Ливера определить, правда, в самых общих чертах, абсолютную хронологию рассматриваемых явлений. По его мнению, обе рассмотренные тенденции действовали в период общей жизни славян не позднее III века.

*

Некоторые вопросы образования и развития славянских простых прошедших времен — аориста и имперфекта — посвящен третий очерк, озаглавленный «К образованию славянских прошедших времен» («Zur Bildung der slawischen Präterita»). В этом очерке Ливер уделяет много внимания развитию личных окончаний аориста. Объясняя возникновение аористных форм 2-го и 3-го лица единственного числа на *-tš*, *-stš*, он опирается на положение, согласно которому различие в употреблении первичных и вторичных окончаний 3-го лица единственного и множественного числа уже в раннюю эпоху существования общеславянского языка было сильно затемнено, а в известных границах и вообще уничтожено, т. е. наблюдались колебания между **-tš* и **-ntš* и **-nt* (стр. 45). *t* в окончаниях **-tš*, **-ntš* в положении перед *i* (а затем перед *ь < i*) произносилось с легким смичением, в конкурировавших же с данными окончаниями **-t*, **-nt* это *t* было твердым. Под влиянием этих последних в окончаниях настоящего времени **-tš*, **-ntš* восстанавливалось твердое *t*, с отвердением которого необходимо было связано замещение *ь < i* посредством *ъ*. Таким же образом объясняет автор старославянское *-tš* в формах настоящего времени (стр. 45) и развитие твердого *-t* в севернорусском наречии (стр. 46). Распространение в аористе форм на *-tš* приводит Ливера к заключению о возможной борьбе окончаний также в области прошедших времен и о возможном распространении некогда и здесь окончаний **-tš*, **-ntš* (стр. 47).

Взаимодействие между первичными и вторичными окончаниями еще на общеславянской почве, несомненно, обнаруживается. В 1-м и 2-м лице множественного числа и во всех лицах двойственного числа мы вообще уже не находим на славянской почве различий между первичными и вторичными окончаниями. Ливер, к сожалению, не пытается уточнить, в каких именно категориях это взаимодействие является в 3-м лице общеславянским, хотя попытки такого уточнения в прошлом делались. Так, А. М. Селищев тридцать лет назад указывал на возможное отсутствие у глаголов с основной на *-e* (т. е. I спряжения) *-t* в единственном числе еще на общеславянской почве³. В связи с указанием А. М. Селищева следует заметить, что напротив Ливер выводит 3-е лицо множественного числа *nesou* в чешском языке из форм, восходящих к формам на **-nt*. Эта форма восходит к форме на **-ntš* (*-tš* на общеславянской почве дало *-tš*); отпадение *-t* здесь произошло позднее аналогическим путем, на что указывает долгота конечного гласного⁴.

¹ Ливер говорит об *i* (см. например, стр. 30), но для рассматриваемой эпохи лучше принять *j*, исторически, конечно, восходящее к *i*.

² См. А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. I, М., 1951, стр. 320.

³ См. А. М. Селищев, [Рец. на кн.:] Н. Дурново, Очерк истории русского языка, М., 1924... — ИОРЯС, т. XXII, 1927, стр. 328—329.

⁴ См. А. М. Селищев, Славянское языкознание, т. I, М., 1941, стр. 116.

Из других положений очерка представляется невероятным допусаемое Ливером отвердение полумягкого *t* в окончаниях **-ti*, **-ni*, (или уже **-tb*, **-nti*) под влиянием форм на **-t*, **-nt* с последующим изменением конечного *-ъ* > *-ѣ*. В ту эпоху, когда происходили предполагаемые Ливером изменения, гласные *ѣ* и *ѣ* фонематически противостояли друг другу. Различия твердого и полумягкого согласного зависели исключительно от последующих *ѣ* и *ѣ*, причем это были различия даже не вариантного, а вариационного характера (пользуясь терминологией московской фонологической школы). Совершенно невероятно, чтобы такие различия могли быть устранены в результате аналогического воздействия. Ведь в ту эпоху, о которой говорит Ливер, полумягкость была последовательно проведена повсюду в соответствующей позиции. В таких случаях обычно аналогические воздействия не осуществляются. Ср., например, отсутствие в русском языке замены глухого согласного звонким на конце слова в именительном падеже единственного числа существительных мужского рода, хотя звонкий согласный наблюдается в конце основы в косвенных падежах. Ср. также отсутствие замены в атонах русских говорах в первом предударном слоге звука *a* на *o* при произнесении *o* в ударном положении. Таким образом, объяснение, предложенное Ливером для появления *-tb* вместо *-tb* в 3-м лице для старославянского языка, совершенно неприемлемо. Столь же неприемлемо оно и для объяснения отвердения *-t* в 3-м лице в северновеликорусском наречии.

Заслуживают внимания замечания автора по поводу некоторых отдельных форм. Ср., например, соображения по поводу возведения форм *dastъ*, *bystъ* к **dadъ*, **bydъ*, представляющим собой старый имперфект, и по поводу возможности возведения аористных форм 2-го — 3-го лица единственного числа *ču-*, *moli-*, *mrě-*, *žg-* к формам несигматическим (стр. 48—49). Заслуживает внимания указываемая Ливером возможность возведения формы инфинитива фонетически к **žiti* (ср. 2-е — 3-е лицо ед. ч. числа аориста *живе* параллельно с *жи* — стр. 53). Здесь возникает очень интересный теоретический вопрос о поведении в непосредственном взаимном соседстве двух сонантов одного порядка *-i, -i* (правда, в данном случае они разнородны в количественном отношении), на котором автор, к сожалению, не останавливается.

Ф. Ливер, как и большинство лингвистов, считает славянский имперфект, подобно латинскому, результатом сложения двух некогда самостоятельных элементов, первым из которых было действительное причастие настоящего времени (стр. 64—65). Поскольку эта первая часть еще в общеславянском языке оканчивалась на *ě* (> *ě*), тогда как соответствующие причастия имели иные формы, автор обращается к различным явлениям конца слова и, в частности, останавливается на известном различии на разных славянских языках падежных окончаний в склонениях с основой на *-jo-* и на *-ja-*, состоящем в том, что южнославянскому *-ę* соответствует западнославянское и восточнославянское *-ě*. Как предполагает Ливер, носовое качество *-ę*, образовавшегося в слове поднисходящим ударением перед конечным *s*, не везде в славянской области обнаруживало одинаковую интенсивность, вследствие чего в части диалектов имела место деназализация *-ę* > *-ā*, которое и является в виде *-ě* (ср. вин. падеж мн. числа ст.-слав. *ножъ*, вост.-слав. и зап.-слав. **nožě*) (стр. 66—67). По-видимому, автор предполагает, что это произошло еще в тот период, когда в восточнославянской области *ě* было представлено широким гласным¹. Изменение *ě* > *i* не должно было захватить конечный гласный причастной формы, так как он перестал быть конечным, когда образовалось сложение, что имело место раньше изменения *ě* > *i* (стр. 72). Эти соображения представляют определенный интерес, хотя относительно гипотезы об образовании имперфекта с использованием в первой части причастия в форме именительного падежа единственного числа следует сказать, что она остается окончательно не обоснованной. У нас все же нет прямых указаний на наличие в какую-то эпоху на общеславянской почве формы типа **nesě*². Кроме того, следовало поставить вопрос, к какому времени вообще относится образование носовых гласных в закрытом слове на славянской почве. Все рассуждения Ливера требуют очень раннего их образования.

Разобрав различные предположения относительно второй части сложения, Ливер приходит к выводу, что в основе ее лежит старый безударный имперфект от **es* «быть», так же, как в греческом гомеровском *ἔον* < **esom* «я был» (стр. 72). Восстанавливаемое для общеславянского языка **-achъ* (ср. **nesěachъ*) является в результате раз-

¹ При таком объяснении возникает вопрос, действительно ли, если даже принять классическую трактовку интонаций конечного слога, конечные слоги соответствующих форм характеризовались пиркумфлексом, как это необходимо для объяснения Ливера. Литовское *rankàs* (< **rankins*), вин. падеж мн. числа склонения на **-ā*, указывает как будто на акут, ср. также и греческое *θεῖας* < *θεῖνς*.

² В недавно опубликованной обширной работе, посвященной славянскому имперфекту, Х. Карстин в качестве возражения Ливеру указывает, между прочим, на то, что предположение об *-ě* в первой части противоречит окраске *o* старославянской парадигмы причастия, а также парадигм других славянских языков и наличию **o* в германских и балтийских языках (См. Н. K a r s t i e n, Das slav. Imperfekt und seine idg. Verwandten, «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. XXV, Heft 1, 1956, стр. 84).

выгипа приступа перед *e*- и изменения $e > \ddot{e}$ по ассимиляции к конечному гласному первой части. Сигматический исход был замещен посредством *-shь* под влиянием подобных форм в слабом аористе, а *j* было утрачено в интервокальном положении (стр. 73). Наличие старославянского *bъгъ* с флексией аориста и употреблением в значении имперфекта приводит Ливера к предположению, что не все краткие (т. е. сланутые) формы имперфекта произошли лишь в позднейшее время и что объединение обеих частей имперфекта в ограниченном объеме было возможно еще до развития приступа *j*-перед начальным *e*- (стр. 75). В связи с вопросом об утрате начального *j*- во втором элементе сложения имперфекта автор останавливается на подобном явлении (утрате интервокального *j*) в местоименных прилагательных и определяет относительную хронологию обоих сложений, устанавливая более позднюю эпоху образования указанных прилагательных сравнительно с имперфектом, поскольку в образованиях последних мы совершенно не находим форм с *j* (стр. 76).

Некоторым вопросам исторического развития звуковой системы древних восточнославянских наречий посвящен четвертый очерк, озаглавленный «Соображения относительно древневосточнославянского звукового развития» («Betrachtungen zur altostslawischen Lautentwicklung»). Касаясь в начале очерка вопросов первоначального разделения восточнославянских наречий, Ф. Ливер безоговорочно (за исключением некоторых частностей) принимает гипотезу Н. С. Трубецкого, согласно которой современное тройное подразделение восточнославянских языков на русский, белорусский и украинский восходит к старому подразделению восточнославянской области на две части — северную и южную. Между тем концепция Трубецкого вызывает очень серьезные возражения; она была подвергнута весьма обстоятельной критике покойным А. М. Селищевым¹.

Заслуживающей внимания является попытка Ф. Ливера наметить хронологическую связь между языковыми явлениями, приводящими к современному тройному подразделению восточнославянской области на русский, белорусский и украинский языки, и историей соответствующих земель. Он считает не случайным, что звуковые процессы, приводящие к этому подразделению, начали осуществляться именно в то время (т. е. приблизительно со второй половины XII в.), когда посредством все усиливающегося притока населения из области Среднего Поднепровья Московская область была окончательно включена в восточнославянскую языковую сферу (стр. 90). Он думает, что лишь благодаря этому притоку устанавливаются широкие и прочные связи между обеими древневосточнославянскими языковыми зонами (соответствующими древнему двойному делению восточнославянской области) и областью Суздаля, Ярославля, Ростова, Костромы и пр., куда в более раннее время имел место приток населения из Новгородской земли. Однако автор ничего не говорит о том разобщении юго-западных и северо-восточных областей, которое хотя намечалось и в более раннее время, но особенно усилилось после вторжения монголов и установления зависимости Руси от Золотой Орды. А ведь возникновение многих фонетических и морфологических явлений, отличающих русский язык от других восточнославянских, относится именно к этому периоду. Ничего не говорит Ливер и о сложных процессах формирования русского языка, о той роли, какую сыграли в формировании его наряду с говорами старой Ростово-Суздальской земли говоры территорий, расположенных к югу от Москвы.

Рассматривая те или иные древнейшие фонетические процессы, по-разному преломляющиеся в различных частях восточнославянской области, Ф. Ливер останавливается на падении редуцированных и на утрате старых акцентных и количественных отношений, а также на ряде других явлений, так или иначе связанных с этими процессами. Следует прямо сказать, что русский диалектологический материал известен Ливеру плохо. Не говоря уже о том, что он, конечно, не имел возможности ознакомиться с материалами, собранными за последние годы, автор не обнаруживает достаточного знакомства и с материалами, опубликованными уже несколько десятилетий тому назад, а также с данными памятников письменности.

Говоря о падении редуцированных, Ливер отмечает (в соответствии с общепринятым мнением), что оно, как и утрата количественных различий гласных, распространяет-

¹ См. А. Селищев, Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов, «Slavia», год. VII, seš. 1, 1928. Следует сказать, что некоторые из положений Трубецкого находят отголосок и в недавних работах советских лингвистов; я имею в виду предположение Р. И. Аванесова относительно сохранения северо-западными восточнославянскими говорами сочетаний *tl, dl* (с последующим изменением их в *kl, gl*) от общеславянского времени [см. Р. И. Аванесов, Проблемы образования языка русской (великорусской) народности, ВЯ, 1955, № 5, стр. 25].

сия в восточнославянской области юга на север. Однако утрата количественных различий, по Ливеру, осуществлялась быстрее и закончилась раньше, чем падение редуцированных. Этим и объясняется, что изменение в дифтонги старых *e, o* (и последующее изменение этих дифтонгов в части наречий в *i*) осуществилось лишь в украинском языке и в южнобелорусских говорах (стр. 91—92). Вряд ли такое объяснение является убедительным. Если на севере, в Новгородской области, были говоры, где редуцированные держались еще в начале XIII в., то, несомненно, в некоторых говорах и здесь редуцированные терялись уже в конце XII в. Так, грамота Варлаама Хутынского, относящаяся или к последним годам XII в., или к первым годам XIII в., уже обнаруживает падение редуцированных. Между тем на юге количественные различия во второй половине XII в. еще держались. Возникает вопрос, к какой же эпохе отнести падение редуцированных в северной области, если даже в тех говорах, где редуцированные пали в конце XII в., они никак не отразились на изменении *e, o* в новых закрытых слогах. Останавливаясь в связи с вопросом о количественных отношениях и о заместительном удлинении, отразившемся в украинском языке и южнобелорусских говорах, на различии в развитии полногласных сочетаний и начальных сочетаний гласного с плавным перед согласным (стр. 92—93), Ливер обходит стороной некоторые очень существенные вопросы, например, вопрос о возможном удлинении второго элемента полногласного сочетания (фонетического, а не аналогического) под новым акцентом¹.

Утрата старых интонационных отношений (т. е. отношений старого политонического ударения), по Ливеру, также распространяется с юга на север. Доказательство более поздней утраты этих отношений на севере он видит в том, что *ѣ* под восходящим ударением развилось лишь в русском языке, так как в ту эпоху, когда имела место тенденция к такому изменению *ѣ* под восходящим ударением, на юге музыкального ударения уже не было. Однако при подобном объяснении, во-первых, приходится допустить, что такая тенденция должна была начать действовать повсюду в одно и то же время: ведь если предположить, что она раньше начала действовать на юге, она легко привела бы к образованию такого *ѣ* и там (если она действовала в то время, когда старые интонационные различия еще сохранялись). Во-вторых, для юга не приходится вообще предполагать какую бы то ни было тенденцию к образованию *ѣ* под восходящим ударением, поскольку прежних музыкальных отношений и, следовательно, восходящего ударения в ту эпоху, когда эта тенденция проявляется, на юге уже не было.

Рассматривая ассимиляцию *j* предшествующему палатальному согласному, развивающуюся после падения редуцированных в украинском, а также в белорусском языке (т. е. случаи типа *жумтя* < **zitye*), Ливер объясняет отсутствие этого явления в русском языке опять-таки более ранним падением редуцированных на юге, чем на севере. На юге падение редуцированных, по его мнению, осуществилось в то время, когда еще действовала тенденция ассимиляции предшествующему палатальному согласному; на севере же эта тенденция в эпоху падения была уже утрачена (стр. 102). Но ведь результаты украинской и белорусской ассимиляции носят совершенно иной характер по сравнению с фонетическими процессами общеславянской палатализации сочетаний согласных с *j* (типа **tj* > вост.-слав. *č*'), и нет никаких оснований сближать эти процессы во времени. Ради точности следует, кстати, сказать, что ассимиляция, подобная украинской и белорусской, наблюдается и в некоторых русских говорах, территориально далеких от украинского и белорусского языков².

Далее автор рассматривает судьбу *ѣ* в сочетании с предшествующим *j* и судьбу сильных *ѣ, ъ* в положении перед *j*. Соображения Ливера относительно положения начального сочетания *jѣ* перед согласным, в котором *ѣ* обладал факультативной слоговостью (утраченной в случаях типа *grāti, sьlaka*), представляются правдоподобными, хотя и нуждаются в более детальной разработке. Заслуживает внимания, хотя и не может считаться окончательно доказанным, предположение Ливера о том, что сужение *ѣ, ъ* в положении перед *j*, т. е. изменение их в редуцированные *й, ѝ*, не было явлением общевосточнославянским, но имело место лишь в основных диалектах украинского и белорусского языков, и то с некоторыми ограничениями (стр. 105—106). В то же время остается не вполне ясным, почему он в таком случае считает, что в русском языке сильные *ѣ, ъ* перед *j* развились из *y, i*.

Конечное *ѣ* после сочетаний *ѣ, ѣ*, по мнению Ливера, особенно рано утрачивалось, причем поведение *ѣ, ъ* (*й, ѝ*) в указанных сочетаниях зависело от нахождения их перед таусиллабическим или гетеросиллабическим *j*. На месте *ѣ* или *ъ* перед гетеросиллабическим сочетанием *j* с последующим *ѣ* в русском языке фонетически развилось *о, е*, перед таусиллабическим же *j* возникло *у, і*. Ранняя утрата *ѣ* в этих условиях представляется фонетически вполне возможной, но при объяснении различных результатов развития *ѣ* и *ъ* перед *j* Ливеру постоянно приходится обращаться

¹ См. об этом Л. А. Булаховский, Восточнославянские языки как источник реконструкции общеславянской акцентологической системы, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 6.

² См. А. М. Селещев, Диалектологический очерк Сибири, вып. 1, Иркутск, 1921, стр. 221—223.

к аналогическим выравниваниям. Некоторые случаи, рассматриваемые Ливером как результат аналогии, правдоподобны и заслуживают внимания. Ср., например, объяснение укр. *той* (оцей), также *сей* из **tejъ*, **stjъ* вместо ожидаемых *tuј*, *syј* (по-видимому, вместо *siј*?—П. К.) под влиянием форм типа *того*, *тому*, *сею*, *сею* и т. п. (стр. 110—111).

Останавливаясь на вопросе об отвердении согласных в украинском языке, Ф. Ливер полагает, что отвердению подвергаются полумягкие согласные в положении перед *e*, *i*, что влечет за собой и отвердение вполне смягченных согласных в этих же условиях (стр. 115). Это отвердение осуществлялось лишь в украинском языке, в остальной же части восточнославянской области согласные слегка смягченные (т. е. полумягкие) уже изменились во вполне смягченные в то время, когда происходило это отвердение. Однако такое предположение вряд ли правомерно. Есть основание думать, что все дальше идущее смягчение согласных в положении перед гласными переднего ряда охватывало некогда всю восточнославянскую область. Известно, что в положении перед *ь*, *ѣ*, *а* < *ѣ* смягчение имело место и в украинском языке, и, по-видимому, положение перед *i* не было исключением, хотя, возможно, смягчение перед *e* осуществлялось позднее. В связи с этим заметим, что нет никаких оснований полагать, как делает Ф. Ливер вслед за Э. Сиверсом¹, что в подлиннике «Слова о полку Игореве» уже отразилось отвердение согласных².

Очень суммарно и поверхностно, без привлечения необходимой литературы Ф. Ливер рассматривает вопрос об изменении *e* > *o* в восточнославянской области, о русском и белорусском аканье и вообще о редукции безударных гласных в русском языке. Автор останавливается и на некоторых общеизвестных случаях аналогического о после мягкого согласного на месте древнего *ѣ* в русском языке (стр. 124), а также на идущих из церковнославянского языка случаях сохранения *e* (стр. 124—125). Конечное *o* < *e* в таких случаях, как *лицо*, *белье*, Ливер объясняет как результат sandhi (стр. 125). Между тем здесь, как неоднократно отмечалось в лингвистической литературе, скорее всего имело место аналогическое обобщение по твердой разновидности склонения: ведь конечное *o* < *e* почти исключительно является в форме именительного и винительного падежей единственного числа существительных среднего рода. В пользу такого обобщения говорит и собранный за последние годы — главным образом по южновеликорусским говорам — материал, где зафиксирован переход *e* > *o* в окончаниях соответствующих парадигм и не на конце слова в говорах, не знающих фонетического изменения *e* > *o*.

Сведения, какие сообщаются (и то попутно) относительно аканья и вообще относительно редукции в русском языке, настолько поверхностны, что на них не стоит и останавливаться. Странное впечатление производит то обстоятельство, что, говоря о различных типах нашего безударного вокализма, Ливер находит возможным сослаться лишь на статью С. П. Обнорского в «Zeitschrift für slavische Philologie» и ни слова не говорит о классификации типов аканья, разработанной Н. Н. Дурново. Следует к тому же сказать, что автор, по-видимому, даже не разграничивает аканья и яканья. Так, говоря о диссимилятивном аканье обоянского говора, он имеет по существу в виду, как показывают приведенные примеры, диссимилятивное яканье (стр. 94, прим. 9). Исследованиями последнего времени, правда, установлен определенный параллелизм в развитии вокализма первого предударного слога после мягких и после твердых согласных в акающих говорах³, но Ливер материалы такого рода не привлекает.

Подводя общий итог, следует сказать, что в книге имеются отдельные заслуживающие внимания положения, интересные объяснения отдельных фактов. Заслуживает всяческого внимания стремление автора вскрыть общие закономерности развития исследуемых явлений, определить хронологические отношения их. Вместе с тем в некоторых случаях Ф. Ливеру не хватает достаточно глубокого знакомства с конкретным языковым материалом (особенно по восточнославянской области).

П. С. Кузнецов

¹ См. «Das Igorlied», metrisch und sprachlich, bearb. von E. Sievers, Leipzig, 1926.

² Критику исследования Э. Сиверса см.: O. Broch, Eduard Sievers' Untersuchungen auf slavischem Gebiet, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», Bd. IV, Oslo, 1930.

³ См. Т. Г. Строганова, Одна из особенностей южнорусского вокализма, ВЯ, 1955, № 4.

Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника. Под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. Около 50 000 слов. — М., Гос. изд-во иностран. и нац. словарей, 1955. 580 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

Вопросы культуры речи, словоупотребления, произносительной нормы, «правильного» и «неправильного» в языке, всегда бытовавшие в узких кругах интеллигенции, приобрели широкое общественное значение и стали особенно актуальными в условиях расцвета социалистической культуры и необыкновенного расширения социально-политической функции русского литературного языка. Затруднения при освоении норм литературного языка увеличились в связи с исключительно быстрым ростом словарного состава русского литературного языка и стилистическими сдвигами в нем.

Среди многочисленных работ по культуре речи не было до последнего времени такого пособия, которое было бы удобным для пользования и могло бы служить авторитетным источником справок по произношению и ударению, доступным для самых широких кругов советской общественности. Таким пособием является изданный ныне Институтом языкознания АН СССР «Словарь-справочник». Словарь составили под руководством Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова научные сотрудники Сектора культуры речи Института языкознания АН СССР В. Л. Воронцова, А. И. Сумкина, Н. И. Тарабасова и научно-технический сотрудник Б. З. Бучкина.

По мысли составителей, словарь-справочник должен, «во-первых, давать ответы на конкретные вопросы о правильном произношении отдельных слов и выражений и, во-вторых, служить пособием по общим вопросам русского литературного произношения и ударения» (стр. 4). В связи с таким назначением словаря-справочника его словарь содержит около 50 тыс. слов и выражений, «которые нуждаются в характеристике со стороны произношения и ударения, подвергаются колебаниям в живом произношении, а также проявляют тенденцию к отступлению от литературных норм ударения и произносительных правил или охватываются этими правилами не во всем объеме» (стр. 4) и «произношение которых хотя бы частично не вытекает из написаний и из свойственных русскому языку правил чтения» (стр. 5). С точки зрения акцентологической в Справочник включены в основном: слова с подвижным ударением; слова с неподвижным ударением, в произношении которых часто встречаются ошибки или разного рода колебания; слова, у которых встречаются варианты в ударении при словопроизводстве и формообразовании; слова, ударение с которых переходит на предлог; слова, которые при одинаковом написании различаются в произношении только по ударению (*прóвод — провóд*); слова с побочным ударением и трудные в отношении ударения заимствованные слова. Всего в наставлении «Как пользоваться словарем» указано 12 словарных типов, помещенных в Справочнике.

Создание Справочника является известным шагом вперед по пути нормализации русского литературного языка. Акцентные рекомендации Справочника часто расходятся как с Академической грамматикой, так и со «Словарем русского языка» С. И. Ожегова (1952—1953 гг.), на что сами авторы указывают в примечании (стр. 4). Так, например, вместо двойного ударения в кратких формах прилагательных, зафиксированного в Академической грамматике (*гóдны и годны́, крупны́ и крупный, мило́ и милый, новы́ и новы́* и т. д.)¹, в Справочнике находим: *гóдны, крупны, мило, новы* и т. д.

Справочник состоит из трех частей — вводной (стр. 3—10), словаря (стр. 11—534) и общетеоретической (стр. 535—578). В начале книги дано «Предисловие» (стр. 3—4), разъясняющее понятие правильности речи и нормализации современного русского литературного языка, определяющее задачи Справочника и его объем. За «Предисловием» помещена статья «Как пользоваться словарем», в которой собственно даются не столько указания о пользовании словарем, сколько сведения об орфоэпии и ее отношении к написанию слов (§§ 1 и 2), о составе словаря (§§ 3 и 4), о его структуре (§§ 5—14); в §§ 15—20 помещены «Нормативные указания». В конце вводной части имеются «Условные сокращения» (стр. 10).

Разделы «Как пользоваться словарем» и «Сведения о произношении и ударении» по своему характеру служат второй задаче Справочника — быть пособием по общим вопросам русского литературного произношения и ударения. Несомненно, богатые сведения указанных разделов Справочника представляют большой интерес, и знакомство с ними будет способствовать повышению речевой культуры каждого, кто будет пользоваться Справочником с должным вниманием и вдумчиво.

Каждая из трех частей Справочника вызывает отдельные критические замечания. Во введении, например, авторы совершенно правильно указывают на источники колебаний ударения и произношения, которыми являются сосуществование в языке явлений, отмирающих и новых, неправильности, отклонения от нормы. Однако это не все: источником колебаний являются также разного рода заимствования, в которых обнаруживается тенденция, с одной стороны, сохранить звучание оригинала, с другой —

¹ «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 326.

согласовать произношение заимствованного слова с произносительной нормой родного языка (ср. многочисленные заимствованные слова в Справочнике). Неуверенность в произношении заимствованных слов усиливается тем обстоятельством, что они усваиваются зрительно, через книгу, а не на слух¹.

Основная, важнейшая часть Справочника — слоеник, составленный в согласии с приведенными принципами. К отобранным в словник словам даются рекомендации на основании опыта словарей русского языка и результатов теоретических работ. К словам, у которых широко распространены отклонения от произносительной нормы, имеются предупредительные указания, например, *гарево́й* [не *га́рево́й*], *опека* [не *э́*], *поведе́нный* [не *поведе́нный*] и т. п. Составители старались устранить произносительные варианты, но в некоторых случаях варианты приводятся с пометой «допустимо...». Рекомендацию «допустимо новое», «допустимо устар.», «допустимо обл.» и т. п., тем более, что такие стилистические пометы для ориентации в вариантах ударения в Справочнике даются (ср. *зау́мь* и устар. *зау́мь*, *зведа́* — *звѣды* и устар. *звѣды*, *звездáм*, *здава́н* и устар. *здава́н*, *издалека́* и устар. *издале́ка*, *изре́ченный* и устар. *изре́ченный*). Подобное уточнение ориентировало бы стилистически в существующих допустимых вариантах. Ведь по каким-то соображениям они даются на втором месте, значит момент выбора здесь наличен. Этим уже вносится стилистическая мотивировка, остается уточнить ее в рекомендации.

Справочник издан наиболее компетентным по вопросам языковой нормы учреждением — Институтом языковедения АН СССР, поэтому указания Справочника должны иметь обязательный характер. Тем не менее в нем имеется непоследовательность в применении предупредительных указаний и пропуск многих слов и форм, существенных в орфоэпическом отношении, что отмечается в рецензии на Справочник, написанной В. П. Григорьевым². Нам в свою очередь кажется, что с точки зрения принципов, принятых для отбора слов, неясно, чем оправдано помещение в Справочнике таких слов, как: *авбу́ка*, *ба́нда*, *ба́рд*, *бс́чка*, *бу́м*, *ли́тр*, *ли́ф*, *саж*, *соп* и т. п., а затем многочисленных узкоспециальных терминов, как, например: *адамси́т*, *акти́ния*, *альти́н*, *альбра*, *анамне́з*, *асфи́ксия*, *ба́нджо*, *белеми́т*, *литони́н*, *миоа́йт*, *галадри́л*, *гуммила́к*, *гонобо́бель*, *дератива́ция*, *фибро́ма*, *фиалде́не́рс*, *флексу́ра*, *тарпа́н*, *флема́д* и т. п. Вопреки первой претензии («... в словаре включены: 1) слова с подвижным ударением в формах слов...» — стр. 6), в Справочнике отсутствуют такие слова, как *кля́нцый* и *кля́нций* и др. Нам кажется, что за счет исключения из Справочника редких узко специальных слов следовало бы ввести в него все двухсложные и многосложные слова с неподвижным ударением на слоге ином, чем первый, независимо от принципов, принятых редакцией для акцентологической характеристики слов, подлежащих включению в Справочник. Это необходимо в интересах тех читателей, для которых русский язык не является родным. Надо отметить, что многие из таких слов в Справочник введены, хотя с точки зрения принципов отбора, принятых в Справочнике, помещение их там не мотивировано. Таковы, например: *оба́р*, *нага́р*, *наде́л*, *приле́к*, *прито́к*, *прице́л*, *причу́ба*, *штри́га*, *осно́ва*, *свобо́да*, *рефо́рма*, *улы́ка* и многие другие. Почему же, например, там отсутствуют совершенно аналогичные по ударению: *наро́д*, *оба́л*, *погро́м*, *подры́д*, *поры́е*, *собе́р*, *вади́ча*, *оце́нка*, *поля́на*, *постройка́* и все подобные, у которых место ударения для нерусского читателя не ясно. Следовало бы, конечно, поместить и наиболее часто встречающиеся географические названия, особенно такие, как *Акмóлинск*, *Воркута́*, *Котла́с*, *Ставропо́ль* и др.; то же касается фамилий выдающихся ученых, политических деятелей и т. д.³.

По мнению составителей Справочника, два неотделимых друг от друга условия определяют правильность устной речи — правильность интонации предложения и правильность произношения звуков слова вместе с правильностью ударения (стр. 3). В действительности условий правильности речи значительно больше и составителям приходится очень часто, хотя и непоследовательно, считаться, кроме приведенных двух, еще с одним необходимым условием правильности всякой речи, в том числе и устной, — с нормативно правильными грамматическими формами изменяемых слов.

С точки зрения лексикографической Справочник представляет выделенную из словарных статей или, точнее, из грамматического комментария этих статей (толковых, нормативных или больших двуязычных словарей) произносительную и акцентную части. Произношение и ударение, которые в указанных словарях

¹ Ср., например, Л. А. Булаховский, Курс русского литературного языка, 2-е изд., Харьков, 1937, стр. 37.

² В. П. Григорьев, Словарь-справочник по орфоэпии, «Вестник АН СССР», 1956, № 5.

³ См. В. П. Григорьев, указ. соч., стр. 118.

включены в общую грамматическую характеристику слова (наряду с его значением, употреблением и фразеологией), в Справочнике даются вне систематического включения в парадигматику, без систематических указаний на особенности форм. Но полностью освободиться от грамматических характеристик слов составители Справочника, конечно, не могут.

Прежде всего грамматические указания необходимы для слов с подвижным ударением — существительных (*лес — лесá — о лесе, но в лесу; сук — сукá — сучья — сучьев и сукй — сукоев; друг — друга — друзья — друзьяй*), прилагательных (*молодой — молод — молодá — молоды*), глаголов (*скаать — скажу — скажешь, умереть — умру — умрешь — умер — умерá — умерли — умерший и т. п.*), отчасти для местоимений (*сам — самá — самы — самое*) и числительных (*пять — пяти — пятью, четырьста — четырёхсот*). Грамматические формы нужны составителям и во многих других случаях, например, в случаях разности основ (*тигрёнок — тигрята — тигрят, днё — днёя — днёев, изысканный, -кан, -анна, -анно (прил.) и изысканный, -ан, -ана (прич.), хотеть — хочю — хочешь — хочет — хотим — хотите и т. п.*), так как вне грамматических форм изменяемых слов их звуковое оформление и ударение не существует. Ввиду этого возникает вопрос, до какой степени оправданным можно считать ограничение приводимого в Справочнике материала. Нам кажется, что многочисленные случаи непоследовательного с точки зрения основной установки Справочника приведения грамматических форм говорят как раз о том, что в пособии такого типа, как справочное пособие по орфоэпии, нужно было бы давать рекомендации по поводу всех случаев колебаний произносительной нормы и возможных ее нарушений, а также по поводу затруднительных случаев при ее освоении. Эти рекомендации должны были бы касаться произношения с ударением, словообразования и формобразования.

Для иллюстрации весьма многочисленных случаев непоследовательности в отклонении использования грамматических форм в Справочнике можно привести много примеров. Грамматические формы, приводимые в Справочнике, оправданы, когда ими иллюстрируется подвижность ударения в слове и связанное с ней звуковое его оформление. Указывается, например, форма род. падежа мн. числа *волос* при им. падеже ед. числа *волос, солдат* при им. падеже ед. числа *солдат*. По нашему мнению, подобное указание формы в Справочнике оправдано, но в то же время не ясно, почему у *солдат* род. падеж мн. числа указан, а у *апелси́н, арши́н, грамм, гран, сапёр, баклажа́н, мандари́н, помидо́р* и многих других в такой же мере сомнительных слов формы род. падежа мн. числа нет. У слова *попрыгу́ня* приведена форма род. падежа мн. числа *попрыгу́ний*, а у *вещу́нья, легу́ня, прыгу́ня, хохоту́ня* эта форма не приводится. В случаях с беглой гласной *дуло́-дула, русло́-руса* приведены формы род. падежа мн. числа (ср. возможные варианты *ду́нел, русел*), но у *дышло*, которое находится в одинаковой ситуации, — нет; к существительному *полоте́нц* приводится род. падеж мн. числа *полоте́нц, озеро́-озёрец, блюдо́-блюдец, копы́тце-копы́тц*, но у *болоте́ц, зеркала́ц, седе́лиц, селе́ц, слоцо́, теле́ц* род. падеж мн. числа не указан; у *пята́нц* есть в Справочнике форма *пята́нцешек*, а у *кры́лышко, зёрнышко, се́длышко* форм род. падежа мн. числа нет; у *суде́нышко* приведены и другие формы мн. числа: *суде́нышки, -шек, -шкам*. Приведены формы: *ро́зня-ро́зевен, рэ́зга-ро́зог*, но нет других многочисленных слов, формы которых с беглым *-о/-е* и сочетанием согласных на конце основы затруднительны для произношения (*искра, сте́лка, се́тка, се́лка, се́рна, ро́мка, уса́дба* и т. п.). Особенно часто непоследовательность указаний о беглых *-о/-е* встречается у кратких форм прилагательных; например, эти указания есть у прилагательных *безбе́дный, -ден, -дно, блаже́нный, жи́зненный, интере́сный, отве́тственный, открово́нный, неве́жественный, плаве́ный*, но нет у слов: *безна́вственный, боле́нный, зако́нный, себесто́нный, родсто́нный, иску́ственный, легкомы́сленный, муже́ственный, посредство́нный, воинство́нный, своевре́менный* и у многих других, у которых, как известно, наблюдаются значительные колебания в образовании, а значит, и в звуковом их оформлении, т. е. в произношении, а иногда и в ударении. С другой стороны, приводятся грамматические формы, которые для целей Справочника ничего не дают, например, родовые окончания прилагательных на *-ой* (*большо́й, бортово́й, волново́й, искрово́й, косо́й, криво́й, кругово́й, кучерско́й* и многие подобные), причем у них последовательно приводятся формы всех родов (*-ой, -ая, -ое*).

Есть много случаев непоследовательности при характеристике глаголов. Например, у глаголов *местй, отместй, разместй, сместй* формы прошедшего времени приведены, но у глагола *поместй* формы прошедшего времени нет; у глаголов *лечи, бежа́ть* приводятся формы повелительного наклонения (*ляг, ляте, беги*), но у *еха́ть, хоте́ть, жечи, забече́ть, пойти, напоить, дойти, надойти, скроить* эти формы не указаны, хотя они могут представлять затруднения и часто употребляются неправильно. У глаголов *дуде́ть, галде́ть, убе́дить, чуди́ть* не оговорено отсутствие формы 1-го лица ед. числа, хотя, например, у глагола *слыжа́ть* имеется помета «васт. вр. не употр.». Имеются дееспричастия на *-я* от глаголов совершенного вида: *зайдя́, седе́я, сизойдя́, сойдя́, уйдя́*, но нет, например, дееспричастий *сезя́, найдя́, подо́дя*,

простій, простійсь; есть сочтія, но нет прочтія, есть деепричастие їдучи, но нет деепричастия їдучи и т. д.

Указаны формы сравнительной степени лишь некоторых прилагательных, например, *дёрже, дешёвле, їдче, жійже, жальче, жарче, сїаще*, но нет других подобных форм, таких, как: *вїзче, глубже, прїще, тїаще, чїще, шїбче*.

Эти многочисленные случаи непоследовательности в приведении грамматических форм указывают на то, что грамматические рекомендации Справочника нуждаются в ревизии, вопрос о необходимости их в особии по орфоэпии требует принципиального решения. По-видимому, орфоэпический справочник должен давать последовательно указания и рекомендации о «правильном» и «неправильном» в языке вообще, о всех колебаниях и распространенных нарушениях произносительной нормы, которые могут проявляться, естественно, не только в основной форме слова, но и в любой форме изменяемых слов. В Справочнике все подобные случаи, нам кажется, должны быть приняты во внимание. Так и поступали на основании практики авторы некоторых ныне уже устаревших справочников. Касаясь, например, в основном правописания, эти справочники содержали указания по ударению, произношению и образованию форм, разумеется, не всегда убедительные, точные и строго научные¹.

Далее, нам кажется, что в тех случаях, когда имеются варианты формы или произносительные варианты, для правильного употребления одного из вариантов необходимы пояснения, которые могут даваться так, как это делается в словарях, а именно при помощи слов, намечающих семантическую или стилистическую отнесенность варианта, например: *верхї* (социальные, общества) — *верха* (пролётки, экипажей) или *вѣрхом* (идти, наложенный воз) — *верхом* (на коне).

Кое-что в этом отношении в Справочнике сделано, однако характеристики даются описательно, что иногда ведет к неточностям в неясностям. Например, у прилагательного *длинный* варианты краткой формы *длинны* и *длинньї* различаются, к слову *длинньї* дано пояснение «длиннее, чем нужно», что в известной степени может относиться также к первому варианту — *стихи очень длинны*; было бы проще наметить разницу возможном словосочетанием: (речи, ночи, рассказы) *длинны* — (рукава, полы шинели) *длинньї*. Нельзя также считать удачными приведенные для различения форм род. падежа ед. числа на *-а* и *-у* пояснения к слову *дом*: *из дома* (из здания), *їз дому* (из своей квартиры). Вместо пояснений к *призывенїй* (относящийся к призыву на военную службу) и *призывенїй* (зовущий) можно было бы различить: *призывенїй* (возраст), *призывенїй* (голос, клич). Приблизительно так сделано на стр. 391 у глаголов *развїснїтїся* и *развїснїтїся*. У *погруженїй* приводится вариант *погруженїй* с предупредительной пометой — «допустимо»; пояснение дано только к варианту *погруженїй*. Нам кажется, что большую ясность могло бы внести пояснение и к слову *погруженїй* (в вагон хлеб, на пароход полк).

Мало удачными надо признать пояснения у *подвездной* (такой, по которому подвезжают) и *подвезднїй* (относящийся к подъезду, вход в здание). Варианты *развїтой* и *развїтїй* оставлены совсем без пояснений, хотя употребление этих слов, а в связи с употреблением и их ударение представляют известные затруднения. Нет пояснений у *меншїй* и *меншїй*.

У существительных типа *долг, дом, дуб, локс* с возможными вариантами на *-а* и *-у* в род. падеже указана форма род. падежа ед. числа на *-а* и за ней в скобках добавлено «или *-у*»; за треугольником приводятся отдельные выражения, например: «много долгу». Неясно, почему у существительного *дуб* нет никаких примеров. Такая недостаточная характеристика не только не ориентирует в употреблении, а наоборот, может сделаться источником ошибок, т. к. варианты на *-а* и *-у* расцениваются как стилистически равнозначные. А между тем, конечно, это не так: нельзя сказать «исполнение долгу», «понимание долгу службы», «тень высокого старого дубу», «подвезд до дому был украшен флагами», «двери дому были перед шим всегда открыты» и т. п. Все подобные неясности связаны с нерешенностью вопроса о грамматической характеристике слов Справочника и с неизбежной непоследовательностью, вытекающей из установочных положений для его составления.

Вызывает недоумение, почему в справочнике русского литературного произношения помещены без стилистической пометы слова *беспременно, брегїя, шлендатеь, шпїнїтї, шушера*.

Во фразеологической части словарных статей иногда отсутствуют весьма употребительные и интересные в акцентном отношении выражения, например, в статье *нос* отсутствует словосочетание *їз носу*, в статье *ход* — *с ходу, нет ходу*, в статье *лїт* — *с лїту*.

¹ Характерно в этом отношении подробное название справочника Д. Головкина (по объему справочник Головкина не больше разбираемого нами) — «Справочный словарь русского правописания, произношения и этимологии. Указывает правописание, место ударения, грамматические свойства и деление для переноса 60 000 слов в их начальной и производных формах» (4-е изд., испр. и доп., Одесса, 1916).

Отметим еще, что у *иконобóрец* ошибочно указан род. падеж ед. числа *иконобóрец*, -а, надо *иконобóрец*, -бóрца, так как *е* здесь беглое.

В Справочнике имеются опечатки, которые во втором издании необходимо устранить.

Нам кажется также, что в условных сокращениях следовало бы упорядочить шрифты и ввести единообразие в обозначение понятий грамматических, стилистических и общих (ср., например, «глагол» и «существительное»).

*

Сведения о произношении даны в Справочнике достаточно подробно, в наиболее трудных и редких случаях произношение транскрибируется средствами русской орфографии (с использованием знака *h*), что вполне оправдывается назначением Справочника. Способы использования для транскрипции русского алфавита объяснены в статье «Как пользоваться словарем» (стр. 8). Этот раздел Справочника, несомненно, обогатил пособия по русской орфоэпии рекомендациями, вполне надежными и общедоступными.

В Справочнике читатель найдет значительно больше указаний и рекомендаций, чем в известных пособиях по орфоэпии. Правда, в Справочнике имеются некоторые совпадения с пособием Р. И. Аванесова¹ (ср., например, страницу 556, §§ 90—91 Справочника и страницы 86—87 книги Аванесова). Но в то же время необходимо отметить большую полноту Справочника по сравнению с книгой Р. И. Аванесова в отношении, например, сведений об *о* в разных позициях (ср. §§ 19—24, 32, 42, 48, 50 Справочника и § 12 у Аванесова). Последовательно охарактеризованы в Справочнике гласные в ударяемом и безударном положении, в позиции после твердых и мягких согласных, сочетания безударных гласных (*оа*, *ао* и т. п.); даны также подробные правила произношения отдельных согласных в различных положениях и в многочисленных сочетаниях согласных.

Отдельные критические замечания и соображения вызывает и этот, третий раздел Справочника. Как, например, понять утверждение, что «просторечный стиль (произношения. — Л. К.) простирается на определенный круг общепародных слов и форм, относящихся главным образом к сфере быта, обиходной жизни и т. п.» (стр. 536, § 4)? Думается, что просторечность произношения проявляется как раз не «в кругу общепародных слов и форм», а в словах «книжных» (*инструмент*, *процент*, *константировать*, *километр*, *рбман*, *цифадель*, *экспорт*, *эксперт* и т. п.). Не случайно, что в Справочнике именно к книжным словам даны предупредительные пометы о распространном просторечном произношении этих слов. С другой стороны, вопреки указаниям § 4, книжный стиль произношения встречается у слов, которые уже давно стали «обычными» словами и не связаны «с разными сферами науки, техники, искусства, политики» (ср. несмягченные согласные перед *е* в словах *тбвис*, *текст*, *тбма*, *рейд*, *деталь* и т. п.).

В § 113 (стр. 561) сообщается, что «в ряде случаев двойной согласный не произносится» (*ассоциация*, *террбса*, *аннуайроваат*, *афбрикаата*, *гриппбный*, *балбон*, *граммбтика*, *акбрд* — все случаи в предупдарном положении²). Здесь было бы желательно получить указания о произношении графического двойного *нн* ввиду многочисленных случаев различия значений прилагательных типа *балованный* — *бблованный*, *ббленный* — *ббленный*, *воцбнный* — *воцбнный*, *ббанный* — *ббанный*, *ббженный* — *ббженный*, *ббленный* — *ббленный* и многих других на письме. В статьях словника все эти случаи характеризуются пометами «прич.», «прид.», но эта характеристика чисто грамматическая, не дающая никаких указаний на произношение подобных форм.

Есть указания на сочетания предлога *в* с *ф* и *в* (§ 112, стр. 561; § 119, стр. 562), но нет указаний на иные возможные сочетания (*в-том*, *в-деле*, *в-ход*, *в-ком*, *в-сене* и т. п.).

В некоторых случаях просто констатируется наличие двух различных произношений (например, на месте безударных *-ат/-ят* — *-ьт*, *-ут*; § 151, стр. 567), но остается недоговоренным, что же считать нормой и что «допустимым».

•

В разделе «Ударение» дана общая характеристика природы словесного ударения как одного из основных внешних признаков самостоятельного слова, а затем описываются свойства русского ударения и его особенности (разноместность, подвижность), наконец, указываются звуковые явления, связанные с ударением (звуковое оформление слова, безударные и слабоударяемые слова, побочное ударение в словах).

Эти сведения изложены убедительно и доступно и касаются самых общих особенностей русского ударения. Несколько неясно охарактеризована роль ударения.

¹ Р. И. А в а н е с о в, Русское литературное произношение, 2-е изд., М., 1954.

² Ср. «Грамматика русского языка», т. I, стр. 71 (§ 121).

В § 3 (стр. 536) сказано, что она «очень велика», но это утверждение остается нераскрытым. Далее говорится только, что «...ударение в русском языке может стоять на любом слоге слова... и при образовании грамматических форм может менять свое место... Местом ударения определяется произношение безударных гласных». Первые два момента касаются не роли, а свойств русского ударения, третий касается как роли ударения, так и его различительной функции, вспомогательной роли при образовании грамматических форм (*прошу́ — просишь, дорог — дорогá, рука — рúку — рúки*). Подробно это раскрывается в §§ 159 и 162 (стр. 570 и 571).

Читатель вправе ожидать, что в Справочнике он найдет и более конкретные указания, которые бы облегчили ориентацию в русском словесном ударении, оставляющем у непосвященного впечатление большой произвольности, случайности и немотивированности.

Однако раздел «Ударение» в основном ограничивается общей характеристикой ударения, носит чисто описательный характер без конкретно ориентирующих указаний для определенных лексических категорий и грамматических форм. Об этом говорят уже сами подзаголовки раздела («Ударение как признак слова», «Свойства русского ударения», «Разноместность ударения», «Подвижность ударения», «Ударение и звуковое оформление слова», «Безударные и слабоударяемые слова», «Слова с побочным ударением»). Конкретный материал в этом разделе приводится только для иллюстрации общих положений. Непонятно, почему в Справочнике нет сведений о том, что в русском ударении следует различать два основных его типа — продуктивный (ударение постоянное, неподвижное, хотя и разноместное) и непродуктивный (ударение подвижное). Второй тип ударения представлен, во-первых, только у слов изменяемых и, во-вторых, во всех изменяемых лексических категориях относительно малым количеством слов: примерно 800-ми существительными — частью кратких форм качественных прилагательных; некоторыми количественными и собирательными числительными; у глагола в настоящем времени — преимущественно глаголами с чередованием согласной основы, в прошедшем времени — незначительным числом непродуктивных глаголов, у причастия — формами страдательных причастий некоторых непродуктивных глаголов¹. Таким образом, случаи подвижного ударения хорошо поддаются учету, как и все непродуктивные явления в языке.

Нам кажется, что вторым указанием, ориентирующим в русском ударении, должно было бы быть сообщение о том, что производные с точки зрения современного языка слова имеют ударение постоянное, поэтому, например, существительные с подвижным ударением (*воз — во́зья, ход — хо́ды, бой — бо́и, вал — ва́лы, мост — мо́сти*) становятся словами с ударением неподвижным, когда осложняются словопроизводными морфемами (ср. *перевá — перевáя, подхо́д — подхо́ды, перебо́й — перебо́и, зава́л — зава́лы, помóст — помóсты* и т. п.).

Ориентирующий характер могли бы иметь указания на направление переноса ударения в отдельных группах слов с непродуктивным, подвижным ударением на ударяемые и безударные суффиксы или префиксы и т. д. Не останавливаясь на всех возможных случаях, мы хотим только подчеркнуть наличие в системе русского ударения таких фактов, которые более конкретно намечают закономерности этой системы и которые следовало бы учесть в Справочнике, информирующем о русском литературном ударении.

В параграфах, касающихся ударения, есть некоторые неточности и неясности. В § 159 (стр. 570) говорится, что «местом ударения различаются лишь некоторые формы двух слов, например, *пи́ца, пи́ци, пи́цу* (формы существительного) и *пи́ца* (деепричастие), *пи́щи* (повелительное включение), *пи́щу* (1-ое лицо ед. числа)»; в том же параграфе далее сказано, что «во многих случаях местом ударения различаются лишь отдельные формы двух слов, например, *пи́ли* (от *пити*) и *пи́ли* (от *пи́лить*), *сúшу* (от *сúша*) и *сúшу* (от *сúшит*)» (разрядка наша.—Л. К.). Разница, следовательно, не по существу, а только количественная (в первом случае три совпадения, во втором — одно). В § 155 (стр. 569) говорится, что «самостоятельные слова (в отличие от служебных) состоят из одного ударяемого слога, ср., например, *дом* и *домá*», но в следующем § 156 указывается на возможность перехода ударения на предлог и на возможную безударность односложных слов (*на́ поля, а́ ночь, на́ два, на́ пять*); кроме того, в § 156 говорится о безударности существительных, а в примерах есть и числительные. При чтении § 156 может создаться впечатление о безударности исключительно служебных слов или существительных в случаях перехода с них ударения на предлог. Следовало бы напомнить весьма частые случаи энклитического положения местоимений главным образом после глаголов, а также и в других сочетаниях (*видеть его, спросить их, куда вы?, где он?* — об этом упоминается в § 171, стр. 575). Там, однако, указываются случаи побочного ударения у местоимений только в функции определения и притом в положении местоимения перед определяемым (ср.: *у его́ сестры́ много́ книг* и *у сестры́ его́ нет́ никаки́х книг*), короче говоря, касается это неизменяемых притяжа-

¹ Ср. «Грамматика русского языка», т. I, стр. 518—521 (§§ 807—811).

тельных местоимений 3-го лица *его, её, его, их* в позиции перед определяемым. Родительный и дательный падежи местоимения 3-го лица в функции дополнения (*не видел его, скавал ему, ответил ей*) бывают безударными, если не подчеркиваются логически.

В том же § 171 по недоразумению причисляется к местоимениям омоним местоимения — частица *это* в примерах: *куда это он ушёл, чтоб это он не приходит*.

§ 166 о переходе ударения на односложные предлоги следовало бы уточнить указанием, что перенос ударения на предлог допускают существительные только с подвижным ударением и только в том случае, если предложное сочетание выступает в предложении как обстоятельство или является фразеологизмом (ср.: *шли по лесу — стреляли по лесу, брать работу на дом — валять имущественные права на дом, зуб на зуб не попадает — наложить корону на зуб* и т. п.). Следовало бы расположить примеры на раграфа в алфавитном порядке и добавить из брошюры Р. И. Аванесова¹ оговорку: «но: *на пять — шесть недель*» (ср. *на пять*); «*на двебе — трёх суток*» (ср. *на двое*); то же касается предлога *за*.

К § 170 нужно добавить, что союзы *и, а* всегда безударны и проклитичны.

В § 174 говорится о слабуюдарности или безударности некоторых вводных слов. в частности слова *было*; это несомненно так, но ни в одном из приведенных примеров данное слово не выступает как вводное (*я пошёл было вчера в театр, он собирался было уехать*).

Некоторые акцентные характеристики информируют читателя недостаточно полно. У наречия *как*, например, следовало бы прежде всего подчеркнуть, что в вопросе, также как и в экспрессивных выражениях, это наречие всегда под ударением (*как это сделать?, как это всё просто!*); и наоборот, *как* всегда безударно в функции относительного наречия в выражениях *как сообщают, как известно*, при перечислении: *предметы как уголь, нефть, цинк* и т. п., при сравнениях: *чёрный как сажа*, в отдельных выражениях: *как можно, как нельзя (лучше, хуже), бедя как (сердит), страж как* (хочется пить) и т. п., в качестве частицы при глаголах моментального действия: *как вскрикнет, как вскопчит, как выстрелит* и т. п., в союзе *так как*.

Отметим отдельные случаи, касающиеся ударения у наречия *авось*. Следует выделить сочетание *на авось* как сочетание под одним ударением; то же в статье *ад, аз* у сочетания *об аде, ни аза*. Вообще выделение сложных акцентных групп почти не использовано: из семи сочетаний с безударным предлогом в статье *рука* не подчеркнута ни одно; то же в статьях *год, город, сердце, лес, нос, ночь, слово, смех, сто, угол, ухо* и др.; в статье *слад* отсутствует сочетание *сладу нет*; в статье *салтык* приведен пример *на свой салтык* (как произносить здесь *свой*?). В статье *так* выделены сочетания *так вот, так нет, так себе, так что*, но в статье *там* сочетания *чего там!, кажде там* не подчеркнуты.

В статье *версты* за треугольником указаны как случаи с ударением, приведенном в характеристике слова, так и отклонения фразеологического порядка, но граница не намечена, а потому неясно, все ли случаи указаны или это только типы возможного употребления акцентных вариантов этого слова.

В основном наши критические замечания касались а) словника Справочника, его полноты и принципов отбора слов; б) грамматического комментария к словам; в) сведений по ударению.

В подзаголовке рассматриваемой нами работы авторского коллектива указано, что это «о п ы т словаря-справочника». Нужно признать, что это весьма своевременный и удачный опыт, так как созданное авторами пособие отвечает назревшим потребностям не только в СССР, но и за его пределами. Оно имеет огромное значение для школ, для работников печати и театра, деятелей культуры и вообще всех, кто сопркасается с вопросами общественной речевой практики. Этот удачный опыт имеет значение и для дальнейшего становления произносительной нормы русского литературного языка, знаменуя на этом пути новый этап. Наконец, едва ли не самое большое значение «Словарь-справочник» имеет для тех, кто за пределами СССР осваивает язык социалистической культуры, советской науки и государственности, участвует в научно-техническом сотрудничестве с СССР. Нашими критическими замечаниями мы имели в виду обратить внимание составителей на некоторые частности отбора и обработки материала. Они ни в какой степени не снижают значения разбираемого труда, который несмотря на эти замечания, конечно, остается чрезвычайно полезным, интересным и серьезным справочным пособием по лексике русского литературного языка.

Л. Конечный

¹ См. Р. И. Аванесов, Ударение в современном русском литературном языке, М., 1955, стр. 46.

Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. Отв. ред. В. И. Борковский. — М., Изд-во АН СССР, 1955. 215 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

В рассматриваемой книге авторы ставят своей целью дать полный филологический анализ впервые вошедших в научный обиход 25 берестяных грамот, открытых и опубликованных А. В. Арциховским (№№ 1—10, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 40, 41, 43, 46, 49, 53, 54, 69, 78)¹.

Во «Введении» Р. И. Аванесов и В. И. Борковский сделали важные замечания о говорах древнего Новгорода и подчеркнули научную ценность открытых текстов. Палеографический и лингвистический анализ позволяет уточнить их датировку, предложенную А. В. Арциховским и М. Н. Тихомировым (уточнения датировки, по мнению авторов книги, требовали самые древние из найденных грамот: №№ 7, 8, 9, 69, 78).

Л. П. Жуковская произвела детальный палеографический анализ всех 25 грамот, сделала новую их транслитерацию и транскрипцию, перевод на современный русский язык и критически рассмотрела все существующие разночтения. Ее выводы почти всегда убедительны, но она как будто отстывает от своих хронологических заключений, когда они не совпадают с лингвистическими. Палеографический анализ подтверждает стратиграфическую дату почти для всех, в том числе и для самых древних грамот: грамота № 78 датируется началом XII в., № 9 — серединой XII в., № 7 и № 8 — концом XII в., а грамота № 69, найденная в 12-ом строительном ярусе, — серединой XIII в.; по почерку своих букв она может быть отнесена даже к началу XII в. (почерк букв, царапанных на бересте, вообще более архаичен по сравнению с представленным в пергаменных и бумажных документах).

Р. И. Аванесов признает относящейся к XII в. лишь грамоту № 9, другие же грамоты — №№ 78, 7, 8, 69 — в связи с непоследовательностью употребления знаков ъ и ь — он относит к более позднему времени. Однако с этим трудно согласиться.

В грамоте № 9 буквы ъ, ь употреблены этимологически правильно; в одной форме (къ васляви) выступает ъ вместо ь. В грамоте № 78 две формы имеют ь вместо ъ: къзиви, егелок; форма къщина показывает ъ вместо ь; в примерах грицьнуъ, хомоут^(н) буквы ъ, ь употреблены одна вместо другой; в одном слове псани пропущено ъ в слабом положении. Вряд ли можно на основании этого заключать о падении ъ, ь в слабом положении и их вокализации в сильном и изменять стратиграфическую дату XII в., поддержанную палеографическим анализом, на XIII век. Еще более скудные доказательства дает грамота № 7: (с)очита вместо съчита, сорки вместо ссоркѣ, къкорокѣ вместо къкракъ. Также из грамоты № 8: къзи вместо къзи, вероятно (с)к(р)ъи вместо скрен, медояи вместо мляви; в то же время здесь представлены правильные написания: (г)оскъмаи(8), гѣчкѣ, чкъ, (е)стѣ, грицьнѣ; неясно написание: ожаочъии коревѣ (может быть, ошибочно вместо ожа ащичи коревѣ). Все эти примеры свидетельствуют лишь о том, что пишущий не владеет нормами графики. Буквы ъ—о, ь—е, ъ—а иногда путаются, но они употребляются правильно в позиции этимологических слабых ъ, ь в середине слова. Единственный пример псани (№ 78) можно считать опiskой.

Грамота № 69, найденная в 12-м ярусе середины XIII в., вопреки архаичному почерку некоторых букв, относящемуся к XI—XII вв., показывает более убедительные написания. Об утрате слабых редуцированных говорит пропуск ъ в предлоге с григоревѣ, в названии до углаца, оуглание вместо углаъ, особенно в слове здоревѣ вместо съдоревѣ с ассимиляцией согласного. В слове зачеркъзиан буква ь группы -ъа- лишняя. Здесь нет примеров мену букв къ—е, кроме случаев правильной вокализации ь в сильном положении: аккъкъи, с григоревѣ; форма до углаца объясняется по аналогии с им. вин. надежами названия Углец. Из этого материала действительно можно заключить, что грамота № 69 написана уже после падения звуков ъ, ь в слабом и вокализации их в сильном положении, а именно: в середине XIII в., что согласуется со стратиграфической датой. В других грамотах XIII в. звуки ъ, ь в слабом положении также уже утрачены: вляно (№ 72), къати (№ 61), спиии списокѣ (№ 53), хто (№ 46), три грицьнѣ (№ 73), ко мнѣ (№№ 55, 61), жди (№ 68), медьедна (№ 65), воззи (№ 55), къси (№ 59).

Мену букв ъ и ь, их обозначение буквами о и е даже в самых древних грамотах XII в. в середине и в конце слов следует объяснять неграмотностью писцов. Слабые звуки ъ, ь в XII в. были, очевидно, близки; их, по-видимому, читали как слабые, очень короткие о, е в школьном обучении грамоте². Это графическое явление позже унаследовали некоторые писцы XIII и следующих веков, которые этимологически неправильно употребляли буквы ъ, къ—о, е в середине и в конце слов и часто

¹ Об этой книге уже напечатал рецензию Л. А. Булаховский (см. ИАН ОЛЯ, 1956, вып. 1), но не все его замечания мне показались убедительными. Заметки о прочтении берестяных грамот см. в моей статье «Uwagi paleograficzne i językowe na marginesie wydania gramot nowogrodzkiech pisaných na brzozowej korze» [«Kwartalnik Instytutu polsko-radzieckiego», 4(13), Warszawa, 1955].

² См. А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, стр. 268.

писали о, е с целью обозначить конец слова. Например: поклоно (№№ 6, 23, 27, 67, 98), полотарина дьсато гривно сьверга (№ 61) и пр. — кляе род. падеж мн. числа (№ 52), вдег (№№ 55, 92), волос (№ 50), олександре (№ 50), хатке (№ 19), дворанине (№ 19), саке (№ 19), приставе (№ 19), мар(т)емане (№ 58), сидоре (№ 12): то же в формах перфекта: покосиле (№ 53), сложиле (№ 25), вынлесе (№ 30), пале (№ 20), купиле (№ 32), оставиле (№ 11). Неправильное употребление букв х, ь — о, е встречается и в галицких грамотах XIV—XV вв.¹ Вряд ли можно согласиться с предположением В. И. Борковского, что в формах перфекта на -ле отразилось произношение среднего л². Точно так же неудовлетворительно объяснение, что формы на -е вместо -ь типа сидоре купиле перенесены из окончаний звательного падежа единственного числа, как это вслед за Л. П. Якубинским³ утверждает Л. А. Булаховский. П. С. Кузнецов правильно пишет на стр. 143, что черта эта до сих пор удовлетворительно не разъяснена. По моему мнению, здесь явление исключительно графическое, без фонетического или морфологического значения.

Выводы Р. И. Аванесова о существовании самостоятельной фонемы љ в говоре новгородских писцов правильны. Но-видимому, љ в XII—XVI вв. в говоре Новгородца означало еще дифтонг *ie*, чем объясняются спорадические написания и или *e* вместо *ь* в ряде грамот. В некоторых новгородских говорах узкая артикуляция *ь* рано дала *i*. Ср., например, показание грамоты № 59 (XIII—XIV вв.), в которой представлено исключительно *i*: видьеса, к токи, вниш, ко сокн; то же в № 20 (XIV в.): на рикн, прискн(и)валн.

Возникновение чоканья в новгородских говорах относится, вероятно, к XII в. Грамота № 9 правильно отличает отъкн || ничьтоже; в других грамотах XII в. согласный ч употребляется еще довольно часто: гбчкк, чьа, ожалочьши (№ 8), сочита (№ 7). Начертание *ч* вместо *ц* встречается лишь в грамотах XII в.: асище (№ 7), кькирича (№ 105). В то время как *ц* вместо *ч* употреблено только один раз: оу вьниши шоурниа (№ 78). Грамоты XIII—XVI вв. имеют нормально *ц* вместо *ч* (почти 40 раз); спорадические традиционные написания встретились 7 раз: чадь (№ 69, XIII в.) рядом с оуглицане; что (№ 61, XIII в.) рядом с цо; что в завешаниа (№ 42, XIV в.); что (№ 30, XIV в., 2 раза); вьччадь (№ 3, XIV в.); чадоль (№ 97, XV в.). Следов чоканья в XIII в. уже нет.

Любопытно, что в старых грамотах XII—XIII вв. звук *f* в собственных именах обозначается буквой *о*, например *олипа* (№ 6), или передается как *в*, *п*, например *Ф матия* (№ 65), *стипаноу* (№ 59); попадаются рядом с *о* написания *ф* только в грамотах XIV—XVI вв., например *оонок* (№ 1), *фонок* (№№ 2, 14).

П. С. Кузнецов на стр. 113 ошибочно привел написание до углица вместо до углеса (№ 69) рядом с оуглицане. Здесь представлено местное название *Углец—Углеца* вместо этимологически правильной формы *угольца* и производное *углицане* вместо *угличане*.

Формы род. падежа ед. числа муж. рода на -и (стр. 107), кроме *д-ру, солоду* (№ 1), повторяются в других грамотах в основах на -о и на -и: *тор-[о]гу* (№ 68), *мьду* (№ 61), *суду* (№ 14), *товароѡ* (№ 44), *гвозду* (№ 40).

Начертание оголова (№ 78), конечно, можно читать как *оголовь* (форма основы на -*i*), но в записях: *кь васильви* (№ 9), *григорьви* (№ 69) представлена основа на -*jo* (*василк, григорь*), а не на -*i*.

Л. А. Булаховский несправедливо упрекает П. С. Кузнецова в упущении форм *ь* (№№ 25, 49) в разделе о возвратном местоимении *са* на стр. 121. В берестяных грамотах местоимение *се* всегда указательное среднего рода, а не возвратное: *се сочитеса докро* (№ 45), *хто се чита* (№ 46), *на мене се шан на томь что сен конь познадъ у нѣцина* (№ 25), *какъ се гдо мною пощадуветъ* (№ 49), возможно тоже *се аники дети* (№ 47). Запись *а не угодице с кьмь присельт* (№ 21), конечно, тоже включает указательное местоимение *угодице* вместо *угодить се*. Р. И. Аванесов верно замечает (стр. 93), что берестяные грамоты не знают случаев изменения *а* в *е* после палатальных, следовательно, *се* нельзя здесь выводить из *са*. Возвратное местоимение *са* во всех примерах стоит после глагола и тесно связано с ним: *клавасе са* (№ 82), *нь меслушасе са* (№ 66), *ты веннасе са* (№ 30), *се сочитеса докро* (№ 45); особенно убедительны записи: *не оу вѣдалса* (№ 4), *клавасе са* (№ 41) с пропуском -*а* в окончании глагола перед *са*.

П. С. Кузнецов сомневается в том, является ли форма *вѣцини* в записи *оу вѣциниа шоурниа* (№ 78) производной от ласкательной формы *вѣкно* (от *веклаги*), потому «что суффикс -*ин-* не использовался для образования притяжательных от основ на -*о* (ни одного подобного примера нет ни в Лаврентьевском, ни в Радзивилловском списках летописи)» (стр. 124). Но В. Ташицкий цитирует ласкательные формы древних польских мужских и женских собственных имен на -*ka*: *Bielka, Falka, Goska, Miecka, Swiętka*,

¹ См. W. Kuraszkiewicz, Gramoty halicko-wołyńskie XIV—XV wieku. Studjum językowe, Kraków, 1934, стр. 20—22.

² См. В. И. Борковский, Новые находки берестяных грамот, ВЯ, 1953, № 4, стр. 130—131.

³ См. Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 186.

Unka, Więska, даже именно форму *Wojka*¹. Можно предположить, что запись *oŭ* влицина пошурна вместо *oŭ* кончина — это притяжательное производное от имени *wojka* с основой на *-a*.

Окончание *-ŝi* (стр. 127) формы 2-го лица единственного числа находится в грамоте № 8, кроме *єдши*, еще в ошибочном написании *ожаощши* (может быть, вместо *ожа лѣщши*, т. е. *ожа лучшии*?). Из других грамот у меня только еще один пример: *виши* (№ 59, XIII—XIV вв.) вместо *вѣши* под влиянием *-ши* или *-шь* основ на *-e*, *-i*. Окончание *-шь* засвидетельствовано тоже только три раза: *єдшьи*, *варшьи* (№ 3, XIV в.), *єдшь* (№ 30, XIV в.). Примеров мало, но можно предполагать, что более старое *-ши* > *-шь* в XIII—XIV вв.

Для формы 3-го лица единственного числа (стр. 128), кроме *прѣдѣть* (№ 40), *не вѣдаѣть* (№ 9), *не даѣть* (№ 5), в других грамотах еще имеются примеры: *коєвѣрѣдѣть* (№ 68), *вѣдаѣте* (№ 61), *сунѣть* (№ 19). Окончание последней формы *-ть* записано нечетко; возможно, что здесь надо читать *сунѣть* вместо *сунѣть*. В других грамотах много форм без окончания *-ть* в основах на *-e*: *повѣде* (№ 53), *прѣде* (№ 43), *иде* (№ 18), *єде*, *єзе* (№ 10), *вѣде* (№№ 18, 19), *хоче* (№ 19), *кѣе* (№ 97) и особенно любопытно *соєцѣса* (№ 45) в связи с приведенным выше примером *угодѣи* вместо *угодѣть се* (№ 21) основ на *-i*.

П. С. Кузнецов допускает возможность объяснения формы *вѣдаѣть* (№ 9) и *даѣть* (№ 5) как 3-е лицо ед. числа наст. времени (стр. 131—132), что более вероятно, чем 3-е лицо ед. числа аориста. Бесспорные примеры аориста представлены только в школьной шутке (№ 46): *писа*, *каза*, *цита* и, кажется, еще (*с*)*ючѣта* (№ 7). Запись *изкивъ роукѣ* (№ 9) является сочетанием причастия с формой родительного падежа в значении «нарушив законный договор»². Это достаточно ясно показывает сравнение с древнепольским значением слов *wybić, ręka*. Новая догадка Л. А. Булаховского, видящего здесь ошибочную запись вместо из *истѣкѣ*, по моему мнению, невозможна.

Подробный синтаксический анализ В. И. Борковского не вызывает никаких сомнений. Любопытную оппозицию родительного падежа собственных имен рядом с винительным падежом личных и одушевленных существительных, кроме примеров В. И. Борковского на стр. 154, находим еще в других грамотах: *прѣшли ми цоловѣкѣ на жерѣцѣ* (№ 43), *ино надобѣ дѣрѣание* (№ 19), *на конѣ работ* (№ 20), но в собственных именах: *дакѣда оидѣ* (№ 33), *на стѣфана* (№ 92). Это явление отмечено Л. П. Якубинским (стр. 184) в повгородской летописи: *на аять свой ярослава*.

Я заметил только следующие опечатки: 1) стр. 53, 88, 195 *доєди* вместо *доєди* (№ 9); 2) стр. 81 *кѣ васильки* вместо *кѣ васильки* (№ 9); 3) стр. 113 *де углаца* вместо *де углаца* (№ 69). Вообще же книга издава прекрасно.

В. П. Курашкеев

О КРЫЛАТЫХ СЛОВАХ

(По поводу книги Н. С. и М. Г. Ашукных «Крылатые слова»³)

Так называемые крылатые слова относят обычно к той еще недостаточно ясно очерченной сфере языка, которую именуют фразеологией. Впервые вопросы фразеологии как языковедческой дисциплины, имеющей свой специфический объект изучения, на русской почве широко были поставлены и освещены В. В. Виноградовым. К сожалению, большинство последующих работ в области фразеологии не развивало данных им положений и пока что не внесло ничего теоретически нового. Даже наоборот. Лишь формально следуя положениям В. В. Виноградова, многие работы (под влиянием традиционных учений об идиомах — непременных буквально на другой язык оборотах речи — и метафорических словах) необычайно расширяют область фразеологии и вносят еще большую неопределенность в ее изучение. В результате границы фразеологии, ее объем, ее типические разновидности и структурные особенности — все эти вопросы нельзя считать окончательно разясненными. Ясно, конечно, что теоретическая неопределенность не может содействовать успеху словарных начинаний в области русской фразеологии. Пример тому переводные русские фразеологические словари, издаваемые с чисто практической целью, например, в Чехословакии. В то же время мы бедны и собраниями фразеологических материалов, которые могли бы служить базой теоретических работ.

¹ См. W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków, 1926, стр. 51.

² См. мою статью «Polska lekcja najstarszego listu ruskiego od Gostiaty do Wasylą», («Język polski», roczn. XXXVI, № 3, 1936).

³ Н. С. Ашукных, М. Г. Ашукных, Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения, М., 1955.

Наша отечественная словарно-фразеологическая практика искала образцов в книгах С. В. Максимова («Крылатые слова», СПб., 1890; 2-е изд. — 1899)¹ и М. И. Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний», тт. I и II (б. м. и г.). Таковы, например, послереволюционные книги С. Г. Займовского («Крылатое слово. Справочник цитаты и афоризма», М. — Л., 1930) и В. З. Овсянникова («Литературная речь. Толковый словарь современной общелитературной фразеологии», М., 1933), представляющие собой собрание разнородного, случайно объединенного материала.

Сборник Н. С. и М. Г. Ашукиных занимает особое место в ряду подобных отечественных изданий. Книга отличается определенностью объекта собрания. Это «крылатые слова» в собственном классическом смысле, т. е. в смысле термина, служащего после выхода книги Г. Бюхмана «Крылатые слова» (G. Büchmann, Geflügelte Worte, Berlin, 1864) для обозначения одной из сфер фразеологического состава языка. К «крылатым словам» в этом смысле относятся вошедшие в общую речь и употребляющиеся в ней как цитаты выражения и отдельные фразы из литературных произведений старого и нового времени; выражения, возникшие на почве литературных контекстов и как бы конденсирующие в себе основной смысл этого контекста; изречения исторических лиц, а также получившие символический смысл названия исторических фактов и мифологических событий, личные имена исторических, мифологических и литературных персонажей и т. п. В готовом виде эти выражения входили в общий язык и использовались в нем как переносно-обобщенные выразительные характеристики общественных, бытовых и психологических явлений. Однако, как мы увидим, не все такие выражения равноценны по своей функции в языке.

«Крылатые слова» объединяются по только «этимологическим» — литературным в широком смысле происхождению. Их, в отличие от других фразеологических средств языка, объединяет отсутствие специфических «своих» структур. Так, их синтаксические структуры индивидуальны в том смысле, что они могут представлять собою и словосочетание, и простое предложение, и сложное предложение, и кусок простого или сложного предложения, и, наконец, отдельное слово. «Крылатые слова», включенные в речь, могут быть и синтаксически независимы, и входить составным элементом в синтаксическую структуру. Их «цитатная» цельность может сохраняться, а в иных случаях нарушаться в зависимости от контекста включающей речи. Со стороны значения «крылатые слова» как особая выразительная категория в речи объединяются тем, что каждое выражение обладает индивидуальностью и смысловой насыщенностью, неотделимой от ассоциаций с контекстом произведения, с исторической эпохой, породившей выражение, с печатью «авторства». Именно подобные «крылатые слова» различного происхождения — русского, западноевропейского, библейского, античного — и являются основным составом книги Н. С. и М. Г. Ашукиных.

Книга Н. С. и М. Г. Ашукиных — труд не одного десятилетия. Труд этот предполагает не только прекрасное знание литературы, исторических и конкретных общественно-бытовых отношений прошлого и современности, но и непосредственное знание отражений в общей речи контекстов литературы и истории. При отсутствии хороших предшественников только собственный языковой опыт собирателя мог подсказать пути отыскания «крылатых слов» и обеспечить известную степень полноты материала и его объективности.

Авторы несколько преувеличивают, говоря в предисловии, что запас «крылатых слов» неисчерпаем. Это не совсем верно, если иметь в виду не случайные, единично употребленные цитаты, а выражения, получившие действительно широкое хождение. А они при широком изучении источников, соединенном с личным языковым опытом, могут быть выявлены с известной степенью полноты. Во всяком случае собрание Ашукиных — первое по своей полноте. Наряду с широко известными по сборникам «крылатыми словами», возникшими в XIX в., в книге впервые собраны в большом количестве выражения предреволюционной поры. Широко представлены и выражения из общественно-политических и литературных произведений советской эпохи, ставшие общепарадными: *лучше меньше да лучше, всерьез и надолго, догнать и перегнать, железный занавес, люди доброй воли, жизнька в деле, путевка в жизнь, время вперед, молодая гвардия* и многие другие. Проверить полноту настоящего сборника можно, проделав работу такого же масштаба, что и авторы. Без подобной работы только случайные находки (вроде пропущенных литературных выражений *делать из мухи слона, трагик поневоле, столпы общества, беспокойный человек, дешево и сердито* и, может быть, некоторые другие) могут дополнить богатое собрание Ашукиных. Лишь новые и специальные разыскания в состоянии действительно усовершенствовать это собрание в отношении полноты.

Как уже отмечалось, не все указанные выражения равноценны. Поэтому само понимание «крылатых слов» нуждается в уточнении. Где граница между «крылатостью» и простым цитированием или образным употреблением слова в поэзии?

¹ Переведена Гослитиздатом с послесл. и примеч. Н. С. Ашукина (М., 1955).

Материал книги показывает, что, исключая многие библейские по происхождению выражения и некоторые античные, о времени проникновения которых в общий язык нужны особые разыскания, основной состав «крылатых слов» складывался и сложился в течение XIX и начала XX вв., и этот состав пополняется в наши дни новыми выражениями, во многих случаях еще нуждающимися в проверке временем.

Возникшие в разное время и употреблявшиеся в общей речи на протяжении XIX—XX вв. «крылатые слова», представленные в книге Ашукинских, неравноценны по устойчивости, употребительности, типичности. По удельному весу в составе общего языка современности, да и XIX в., они очень различны.

Прежде всего надо сказать, что некоторые цитаты, приведенные в книге, вообще сомнительны как «крылатые слова». Ведь нередко пишущие по ходу своей мысли, чтобы иллюстрировать ее сжатым резким или яркой характеристикой, приводят цитату. Таковы, например, цитата из Пушкина «Мечты поэта, историк строгий гонит вас!» в статье Н. А. Добролюбова, цитата из Жуковского «В боренье с трудностью силач необычайный» в письмах Пупкина, цитата из И. И. Дмитриева «Мышонок, не выдавший света» в статье Н. К. Михайловского, цитата из Некрасова «И вот они опять — знакомые места» в повести Лескова «Смех и горе», цитата из Пушкина «И хором бабушки твердят: как наши годы-то летят» в статье Белинского и т. п. Подобные цитаты, хорошо известные читателю-современнику, вызывают дужные ассоциации и тем самым вполне отвечают своему назначению в каком-нибудь данном индивидуальном контексте, но вне его лишены обобщенно-переносного содержания. Вряд ли подобные цитаты следует рассматривать как «крылатые слова», вошедшие или входившие в общий язык.

От этих случаев следует отличать цитаты или выражения, исторически ограниченные, популярные в свое время и поэтому хорошо понятные как «крылатые слова», метко характеризовавшие общественные явления своего времени. Они могли долго сохраняться у людей старшего поколения, лишь частично передаваясь поколениям новым. Это понятно. От поколения к поколению менялся круг чтения, популярные в свое время второстепенные произведения литературы забывались, многие популярные цитаты из произведений крупных деятелей становились неактуальными, кроме того, уходили в прошлое события и отношения, вызвавшие появление модного для своего времени выражения. Этот слой «крылатых слов» занимает довольно значительное место в книге Ашукинских. Почти до наших дней зарегистрировали Ашукины употребление таких выражений и крылатых цитат, как «Чем ночь темней, тем ярче звезды» (Майков), «То кровь кипит, то сил избыток» (Лермонтов), «Жертва общественного темперамента» (Прудон), «Живи и жить давай другим» (Державин), «Ей достанет» (Салтыков-Щедрин), «Есть упоение в бою» (Пушкин), «Она исчезла, утопая в сиянье голубого дня» (Туманский), «Блудница вавилонская» (из Библии) и многие другие. Конечно, не всегда легко в отдельных конкретных случаях провести границу между цитатами, о которых говорилось выше, и этим слоем исторически ограниченных «крылатых слов». Однако последние несомненно сыграли известную роль в обогащении общего языка выразительными средствами, они встречаются в произведениях, известных современному читателю, и помещение таких «крылатых слов» в сборник вполне оправдано.

Наиболее значительное место занимают и представляют наибольший интерес собственно «крылатые слова», выдержавшие испытание временем. Их подавляющее большинство из текстов классической литературы, Библии, мифологических преданий. Они различны по форме употребления, но устойчивы по смысловой функции и обычно органически входят в синтаксическую структуру речи. Одни из них — застывшие предложения, цитирующиеся в неизменном виде. Это такие, как «Место под солнцем», восходящее к Паскалю, «Благуя часть избрать», восходящее к евангельскому тексту, «Благодарю, не ожидал» писателя В. А. Сологуба, «Без руля и без ветрил» из лермонтовского «Демона», «Вот придет барин — барин нас рассудит» из Некрасова, «Рыльце в пуху» из Крылова и многие подобные. Другие представляют собою не подлинные цитаты, а решения, в краткой форме концентрирующие смысл того или иного контекста или произведения: «Блоху подковать», созданное на основе рассказа Н. Лескова «Левша», «Бесплодная смоковница», «Бросать камень или камень в кого-н.» из библейской легенды. Иные, особенно устойчивые по смыслу, допускают создание в речи перифраз, непосредственно связанных с цитатным выражением. Такого типа, например, пушкинское «Да здравствует солнце, да скроется тьма», евангельское «Да минует меня чаша сия» и многие другие. Характерна своеобразная лексикализация выражений, делающая их выразительным синонимическим средством языка: «Мне остается только *посылать перлом главу* и хранить гробовое молчание», пишет в письме А. П. Чехов, «Выйдя в отставку, *я сожегу свои корабли*. Оставаясь на службе, я ничего не теряю» из «Анны Карениной» Л. Толстого.

Этот слой собственно «крылатых слов» всегда двупланен: смысловое содержание «крылатого слова» тем и характерно, что непосредственно связано с принадлежностью определенному автору, с общей идеей контекста или историческим фактом, породившим выражение; вместе с тем, чем обобщеннее значение «крылатого слова», тем меньше в нем сохраняется оттенков, связывающих его с представлениями об авторе, о коло-

рите контекста или эпохи. При совпадении же по форме со структурными типами фразеологии языка они еще легче освобождаются от «авторских» ассоциаций и входят в ряды «безымянных» фразеологических единиц языка. Только начитанность, а сплошь и рядом лишь специальные разыскания могут обнаружить «авторство» выражений: *административный восторг, безгрешные доходы, галантерейное обхождение, дачный муж, белая ворона, жалкие слова, буржуазные предассудки, кисейная барышня, золотая молодежь, бывшие люди, у разбитого корыта, человек в футляре* и т. п. Лишены всякого библейского колорита выражения *грехи молодости, власти предержавшие, злоба дня, благоразстворение вадухов, камень преткновения, знамение времени, камень на камне не оставит* и многие подобные. Раскрытая история отдельных «крылатых слов», ставших или становящихся с течением времени рядовыми фразеологическими единицами языка, представляет наибольший интерес для языковедения, для истории словарного состава русского литературного языка.

Перечисленные типы выражений составляют основу книги Н. С. и М. Г. Ашукиных. Органически в нее входят и другие разновидности «крылатых слов». Наиболее многочисленная из них — собственные имена, в числе которых названия литературных, мифологических и иных персонажей, исторических событий и т. п., получивших в общей речи обобщенно-образный смысл и употребляющихся то в сравнениях, то в качестве синонимических обозначений соответствующих явлений (*Альфонс, Буцфал, Автомедон, Амфирион, Ганимед, Гарпагон, Голаф, Вениамин, Рокамболь, Дон Жуан, Хлестаков* и многие другие). К этому разряду по функциям примыкают известные выражения типа *Ариаднина нить, Аннибалова клятва, Дамоклов меч, Сизифов труд* и т. п. Подобно тем типам «крылатых слов», о которых говорилось выше, не все они исторически равноценны, не все одинаково устойчивы и популярны. Введение большинства из них может быть оправдано чисто справочными соображениями.

С точки зрения истории словарного состава русского языка целесообразно было включение в сборник слов, созданных отдельными писателями или получивших в литературных контекстах новые смысловые оттенки. Это такие слова, как *щедринские благоглупости, головогаты, чумазый*, толстовское *образуется* и др. Репертуар этих слов в книге, по-видимому, далеко не полный (нет даже таких, как общеизвестные *нигилизм, стусеваться*), что нельзя поставить в особенную вину составителям, так как исследование в этом направлении почти не ведется.

Особое место по своей структуре занимают описательные обозначения общественных явлений, событий, понятий, являющиеся продуктом индивидуального творчества. Они представляют собою не столько образную, сколько оценочную характеристику тех или иных явлений. Таковы, например, такие, как *генеральная репетиция Октябрьской революции* (о революции 1905 г.), *великий пошол* (о первом коммунистическом субботнике), *географическое понятие* (первоначально Меттерних об Италии) и т. п. Этот раздел мог бы быть значительно расширен выражениями подобного типа, возникшими в советское время.

В русский язык вошло немало «крылатых слов» — переводов с латинского, французского и других языков. К ним относятся такие, например, общепринятые, как *разделяй и властвуй* (лат. *divide et impera*), которые прочно вошли в русский язык. Иные, как, например, *ищите женщину* (франц. *cherchez la femme*), менее обычны в переводе. Помещенные же в книге переводы *здесь стою, здесь останусь* (франц. *j'y suis, j'y reste*), *быть более royalistom, чем король* (франц. *être plus royaliste que le roi*), *без гнева и пристрастия* (лат. *sine ira et studio*), *так происходит слава мира* (лат. *sic transit gloria mundi*) не являются русскими выражениями. Если они и употребляются в русской речи, то без перевода. Употребительные в русской речи иноязычные выражения могли быть, конечно, учтены, но в особом приложении, как это сделано в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова.

Структура книги Н. С. и М. Г. Ашукиных, методы обработки материала вполне удовлетворяют научным требованиям. Толкования слов и выражений не имеют единого трафарета, но всегда содержат указание на источник выражения и на значение его, характер употребления в речи. Лишь в единичных случаях не раскрыт источник (*печальник горя народного, бумага все терпит* и некоторые другие). Часто указание на источник представляет собою историю выражения, установленную в результате большого самостоятельного исследования (см., например, *белая аравия, место под солнцем, так было, так будет, международный жандарм, разбойники пера; министерская чехарда* и многие другие). Авторы привлекли огромную литературу для установления источников выражений. На русской почве они впервые раскрываются с такой тщательностью и полнотой. Безусловно, впоследствии могут быть найдены новые материалы, вносящие коррективы и уточнения в данные, собранные авторами. Но нет сомнения, что этот труд ляжет в основу всех последующих разысканий. В настоящем издании недостаточно раскрыта хронологическая сторона. В особенности желательны указания на время появления в общей речи выражений, на время их наиболее раннего употребления.

Важнейшей частью книги являются иллюстрации употребления «крылатых слов» в русской литературной речи от начала XIX в. до наших дней. Цитатный материал для

«крылатых слов», впервые с такой полнотой собранный Н. С. и М. Г. Ашукиными, представляет большой интерес. Помимо чисто познавательного значения для широкого читателя, он может явиться исходной базой для исследования в области одного из разделов русской стилистики — стилистической роли «крылатых слов» в речевой структуре различных жанров русской литературной речи. К сожалению, при некоторых выражениях совсем отсутствует цитатный материал, а при многих он недостаточен для характеристики употребления.

Мы не останавливались на мелких недочетах и неточностях. Мы хотели оценить книгу в целом. Несомненно, что правильное определение объекта материала, подлежащего сборанию, позволило авторам создать книгу научно ценную. Основные критические выводы и пожелания вытекают из нашего предшествующего изложения. Особенно хотелось бы обратить внимание авторов на необходимость внутренней дифференциации материала по употребительности различных групп и разделов «крылатых слов», для чего потребуется, в частности, привлечение нового иллюстративного материала. Особенно это важно для правильного ориентирования широкого читателя.

Как всякая хорошая словарная работа, книга Н. С. и М. Г. Ашукиных представляет собою сочетание научного исследования и популярного пособия.

Как исследование она доставляет богатый материал истории русского литературного языка в области словарного и фразеологического состава XIX—XX вв., а также русской современной и исторической стилистики.

Как популярное справочное пособие она принесет незаменимую практическую пользу широкому читателю, интересующемуся русской речью, учителям, журналистам, общественным работникам*. Действительно, конкретные исторические условия возникновения и бытования многих «крылатых слов» забыты, а между тем знание этих условий содействует правильному пониманию выражений в литературных и публицистических произведениях и правильною их употреблению. Приложенный к книге словоуказатель облегчает нахождение нужного выражения.

С. И. Ожегов

* В редакцию журнала поступил еще отзыв на книгу Н. С. и М. Г. Ашукиных, составленный М. И. Имшениным (г. Иваново).

В отзыве также дается общая положительная оценка сборнику и отмечается большая познавательная ценность этой книги для широкого круга читателей. Основное же содержание отзыва составляют многочисленные (до 200) критические замечания по поводу отдельных крылатых слов и выражений, данных в сборнике, преимущественно со стороны допущенных опечаток, ошибок в написаниях, неточностей в толкованиях или недостаточно удачного (с точки зрения автора отзыва) подбора иллюстраций и т. п.

Ряд замечаний относится к той неполноте, с какой, по мнению рецензента, поданы в сборнике те или иные крылатые слова или их значения. Например, по поводу выражения *Ба! Знакомые все лица* (стр. 30) автор отзыва пишет: «...ядовито звучат в жизни строки Грибоедова. В сборнике же ничего нет о смысле, о „соли“ этого крылатого слова, а приведенные цитаты совсем пресны». Или по поводу выражения *дачный муж* (стр. 149) в отзыве читаем: «Объяснение хорошо, а цитата из Мамина-Сибиряка бледна, художочна». «Стоит пожалеть, — замечает М. И. Имшенин, — что в своей трактовке понятия *Дон-Кихот* (стр. 169) авторы почти совсем опустили гуманный аспект этого высокого социально-морального облика». Подобные же замечания даны к стр. 21, 27, 79, 112 и многим другим.

Рецензент привел более двадцати примеров недостаточности или даже полного отсутствия литературных ссылок к данным в сборнике выражениям. М. И. Имшенин указывает также на ошибочность трактовки в сборнике некоторых выражений, на неправильность раскрытия значений отдельных крылатых слов, на недостатки переводов, на ошибки в ссылках. Например: «Совершенно неверно, — пишет он, — что выражение *избиение младенцев* применяется только по отношению к детям: как крылатое слово, правда иронически, оно приложимо ко всем возрастам». Или: «Вольно поступают авторы, когда в выражении *Ab ovo ad mala* слово *mala* вместо *яблоков* переводят *фруктов*». «Не совсем точно, — отмечается в отзыве, — передается и легенда о Нарциссе, который „умер“ не „от тоски“, а был превращен в цветок богами за отказ от любви богини Эхо» (стр. 355). Свыше двадцати указаний сделано М. И. Имшениным и об опечатках в написании отдельных русских и латинских слов (например, стр. 15, 23, 86, 130, 159, 288, 292, 310 и др.).

Václav Machek. *Česká a slovenská jména rostlin.* — Praha, Naklad-ví Českoslov. Akad. věd, 1954. 366 стр.

Рецензируемая книга видного чешского слависта проф. В. Махка «Чешские и словацкие названия растений» представляет итог многолетней работы автора в области этимологии названий растений: исследования отдельных слов публиковались им начиная с 20-х годов¹. Книга дает список чешских и словацких названий высших растений [как народных (см. об этом ниже), так и искусственно созданных учеными-ботаниками] и этимологическое объяснение каждого названия.

Создание такой книги отражает концепцию автора, считающего, что исследование словарного состава должно проводиться по отдельным семантически единым «вещным слоям» (*oblasti věcné*; стр. 8), — концепцию, которой он остается верен и в своих работах о славянских названиях рыб, птиц и т. д.² Отсюда для автора вытекает необходимость сочетать лингвистические знания с профессиональной осведомленностью в данном «вещном слое», т. е. со знаниями ботаническими и этнографическими (поверья, обычаи, связанные с определенными растениями, и т. п.). Подобное сочетание всегда желательно для этимолога, и В. Махек идет по пути, к которому все чаще обращаются современные исследователи. Он ориентируется на лучшие работы такого рода, касающиеся названий растений, — работы Ростафинского³ (для польских названий) и особенно Марцелла⁴. И хотя исследование В. Махка нельзя равнять с фундаментальным словарем Марцелла (как справедливо указывает сам автор, не прделана еще достаточная подготовительная работа для создания подобного чешского словаря), оно выгодно отличается от большинства ботанических словарей, в лучшем случае дающих только полный свод бытующих наименований⁵.

Значение книги В. Махка, содержащей богатый фактический материал, многогранно. Во-первых, эта работа является ценным дополнением к этимологическим словарям чешского и других славянских языков, а также к общеславянским этимологическим словарям, особенно если учесть, что именно названия растений толкуются в таких словарях наиболее гипотетично⁶. С этой точки зрения, естественно, интерес представляют и а р о д н ы е (*lidové*) слова, т. е. не научные (искусственно созданные) ботанические термины, в большом количестве приводимые автором, среди которых многие до сих пор не подвергались этимологическому исследованию. Среди таких слов, разумеется, можно выделить чешские и словацкие новообразования, названия праславянские⁷ и, наконец, общеиндоевропейские (или общие для нескольких индоевропейских языков).

Наиболее плодотворны изыскания автора именно в объяснении новейшего пласта —

¹ Ср., например, статьи Махка: о названии *Kalina* (V. M a c h e k, *Kalina*, «*Naše řeč*», гош. XI, 1927); о праслав. **smoky* «фиговое дерево» (e г о ж е, *Quelques mots slavogermaniques*, «*Slavia*», гош. XXI, seš. 2 — 3, 1933); e г о ж е, *Quelques noms slaves de plantes*, «*Lingua Posnaniensis*», II, 1950 и т. д.

² V. M a c h e k, *Einige slavische Fischnamen*, «*Zeitschrift für slavische Philologie*», Bd. XIX, Heft 1, 1947 (обл.: 1944); e г о ж е, *Einige slavischen Vogelnamen*, там же, Bd. XX, Heft 1, 1950 (обл.: 1948).

³ J. R o s t a f i ŋ s k i, *Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin*, Kraków, 1900. (Книга частично устарела.)

⁴ H. M a r z e l l, *Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen*, Leipzig, с 1937 г. (издание не закончено).

⁵ Ср., например, объемистый словарь Г. Герта ван Вейка (H. L. Gerth v a n W i j k, *A dictionary of plantnames*, The Hague: vol. I—1911; vol. II—1916), где приводятся (но не толкуются!) английские, французские, немецкие и голландские народные названия растений. Особенно же бедны подобными словарями языки восточнославянские, где наиболее авторитетным источником названий остается труд Н. Анненкова (Н. А н н е н к о в, *Ботанический словарь*, СПб., 1878). К сожалению, в многотомном издании «*Флора СССР*» (Л., с 1934 г.) не нашлось места народным наименованиям растений.

⁶ В подтверждение этого В. Махек в предисловии к своей работе приводит высказывания В. Кипарского и А. Шульца. Нужно отметить, что указанная гипотетичность толкований идет частично от отсутствия ботанических познаний у лингвистов. Как замечает Э. Буазак (E. B o i s a c q, *Dictionnaire etymologique de la langue grecque*, 2-е éd., Heidelberg—Paris, 1923), «названия деревьев часто подвергаются семантическим изменениям» (стр. 237), и, добавив, лингвисты, не зная материальной основы таких изменений, прибегают к разнообразным необоснованным гипотезам. Многообразие форм, характерное для названий растений, также затрудняет толкование.

⁷ Автор, к сожалению, не выделяет т о л ь к о западнославянские образования. В этом отношении нельзя основываться на наличии в книге только польских и лужицких параллелей к чешским и словацким словам: часто это объясняется простым упущением южнославянского или восточнославянского материала. Так, в параллель ст.-чеш. *ptač'i žob*, польск. *ptasia żob* («*Ligustrum*», стр. 181) не приведено русск. *зобник* («*Strumaria*») и названия других растений (В. Д а л ь, *Толковый словарь*, т. I, М., 1935, стр. 713).

слов только чешских и словацких. Причину этого легко понять, если учесть, что такие слова находились почти целиком вне сферы внимания этимологов. Здесь ярко проявляются сильные стороны метода Махка — пристальное внимание к семантической стороне вопроса, тщательное рассмотрение аналогичных явлений. Хочется выделить прежде всего тщательно отмечаемые автором многочисленные переделки первоначальных названий под влиянием народной этимологии, детальный анализ произошедших звуковых и семантических изменений.

Так, например, удачно разъяснены названия растений вида *Pulsatilla* (стр. 48—49): ст.-чеш. *poniklec* (<**po-niknqti*), по диссимиляции >*koniklec* >*koniklec* (сближение с *klec* «изогнутое дерево, стебель»), а отсюда уже, по аналогии с другими названиями с *kon* («конский») в качестве первой части сложения, — разложение названия на *kon* *klec* и даже *konský klec*¹. В других случаях (например, в названиях для рода *Oporogodon*, которые автор считает наиболее характерными для данного явления (стр. 257—258)) будущий исследователь сможет пойти по пути, намеченному Махком, даже не соглашаясь с ним в ряде деталей.

Осведомленность автора в ботанике помогает ему в объяснении названий, имеющих в основе обозначение определенных свойств растения, причем часто оказывается, что при наличии резко бросающегося в глаза свойства аналогичные названия могут возникать в разных языках независимо друг от друга: ср. названия рода *Briza* (стр. 280): чеш. *trěstice*, польск. *drżączka*, серб. *trpetica*, болг. диал. *треперушка* и даже нем. *Zittergras* — все от разных корней, но обозначающие одно: свойство этого травянистого растения качаться при малейшем дуновении ветра (ср. чеш. *trasti se*, польск. *drżeć*, серб. *trpetati*, болг. *треперя*, нем. *zittern* — все со значением «качаться, колебаться, дрожать»).

Справедливости ради надо отметить, что множество семантических сдвигов, безглаголющих, но не объясненных или спорно объясненных Махком, еще ждет своего исследователя. Так, непонятной остается, например, семантическая связь параллельных названий для *Viola tricolor* (стр. 72); чеш. *sírołka*, нем. *Stiefkind*, с одной стороны, и чеш. *maceška* (ср. русск. *мачеха*, *мать-и-мачеха* «*Tussilago farfara*»²), нем. *Stiefmütterchen*, с другой, несмотря на объяснение автора, видящего в этой двойственности простой скачок от понятия «сирота, падчерица» к противоположному понятию — «мачеха».

Особой заслугой автора является выделение названий, в основе которых лежит *signatura rerum* (т. е. приписывание растениям магических лечебных свойств на основании их чисто внешних признаков³; см. об этом стр. 12). Так, например, форма листьев растений вида *Urtica*, напоминающая ноготь (ср. серб. *noklatac*), заставляет предположить лечебное действие этих растений против кожных заболеваний под ногтями, откуда возникает новое название; хорв. *zanoktika*. Возможность раскрыть такие названия обусловлена знанием народных преданий и поверий, и, несомненно, большинство объяснений Махка будет интересно не только языковедам, но и этнографам.

Другой сильной стороной исследования является анализ заимствований в чешском и из чешского, в особенности установление соответствий между чешскими и немецкими народными названиями (здесь неоценимую услугу автору оказал словарь Марцелла). Подробно исследуются преобразования заимствований под влиянием народной этимологии (ср. стр. 300: нем. *Brustwurz* «*Asorus*» является источником для ст.-чеш. *prustvorec*, совр. чеш. *prustvorec*, *pruškvorec*, *bruškvorec*, *bl'uškvorec* и т. п. разнообразных форм в говорах), пародные кальки (стр. 142: *skoces* [impatiens] = нем. *Springkraut*); указываются немецкие слова славянского происхождения, в которых обнаруживаются подобные же категории: ср. многочисленные формы, параллельные ср.-н.-нем. *ogurke*, совр. нем. *Gurke*, приводимые Ф. Клуге⁴, или кальку нем. *Herr-*

¹ Анализ этого любопытного названия наносит удар по теории, объясняющей названия растений, образованные от слов, обозначающих животных (т. е. с первой частью типа: *конский, козий, коровий*), бесполезностью данных растений для человека (к чему склоняется и В. Махек; стр. 11), и показывает, какими неожиданными путями могут появляться такие названия.

² В. Д а л ь, Толковый словарь, т. II, М., 1935, стр. 316.

³ Правильно виды в этих названиях пережитки древнейшего способа мышления, автор (по Леви-Брюлю) определяет этот способ мышления как основанный на «особой логике», т. е. дологический (стр. 12). К. Яначек в своей рецензии на книгу В. Махка справедливо усматривает связь между такими названиями и словами-табу (см. «Slavia», гош. XXV, Praha, 1956).

⁴ F. K l u g e, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 10-e Aufl., Berlin — Leipzig, 1924, стр. 193. В одиннадцатом издании словаря (1934) Клуге указывает, что источником для немецких слов послужило не одно только польское *ogurke* — славянские названия «огурца» проникли в немецкие говоры в различных пунктах (стр. 222). Это, однако, не противоречит тому, что разнообразные преобразования слова происходили уже на немецкой почве.

gotthölzel, Gottesbäumchen «*Artemisia abrotanum*» (только в областях, граничавших со славянскими) = ст.-чеш. *božie dřěvce* (стр. 249)¹. К сожалению, в меньшей степени проделана подобная работа в отношении других неславянских² и славянских языков (за исключением анализа украинских заимствований в валашских говорах; ср. стр. 10).

Древний пласт славянской лексики — названия праславянские — освещается автором значительно менее подробно, чем более поздние образования. Здесь автор чаще не отступает от укрепившихся в этимологических словарях толкований, реже пытается дать новое объяснение слову, притом некоторые из этих объяснений представляются нам весьма спорными. Так, В. Махек отвергает общепринятое мнение о заимствовании праслав. **bukъ* из германских языков (так полагают А. Вальде, Э. Бернекер, В. Кипарский и все позднейшие исследователи³), считая это слово исконно-родственным с лат. *fāgus*, греч. *φηγός*, что невозможно фонетически [в частности, и-е*g (**bhūgos*) никак не может дать слав. К] (автор объясняет фонетические несоответствия праевропейским происхождением слова — ср. ниже). Чтобы доказать свое мнение, В. Махек также недостаточно обоснованно объясняет сопоставление праслав. **bъzъ* «бузина» с упомянутыми латинскими и греческими словами бессмысленным (стр. 221: «*běžná domněnka... je cela nesmyslná*»), хотя это сопоставление, принимаемое уже А. Преображенским, находит яркое подтверждение в аналогичном семантическом переходе: лит. *bukas* «бузина» заимствовано из белорусск. *бук*.

Некоторая неудовлетворенность отдельными толкованиями возникает у читателя также потому, что автор стремится к краткости и, как правило, не приводит иногда противоречащих друг другу взглядов различных исследователей (ср. стр. 22), давая лишь одну, наиболее верную, по его мнению, этимологию.

Автор охотно прибегает к рискованным гипотезам в случаях, когда соответствия между славянскими и другими индоевропейскими названиями растений не объясняются удовлетворительно известными фонетическими закономерностями. При этом он опирается на следующее положение: если звуковые различия в словах индоевропейских языков так велики, что не дают возможности восстановить исходную форму, значит данные слова взяты индоевропейцами из языка более древних обитателей Европы (стр. 9). Исходя из этого предположения (которое, возможно, доказуемо для нескольких слов, что решит только детальное исследование), автор зачисляет большинство трудно объясняемых слов в категорию «праевропейских». Даже наиболее убедительный, по мнению автора, пример (он приводит его в предисловии на стр. 9 как характерный для всей упомянутой категории) — сопоставление праслав. **jedla* «ель» с греч. *ἐλάτη* и объяснение звуковых различий «праевропейским» источником — вызывает серьезные сомнения. Праслав. **jedla* сближают с лат. *ebulus* «бузина» (Фасмер⁴), греч. же *ἐλάτη* ставится в связь с и.-е. **el-* (<**elntā*, ср. арм. *elevin* «кедр») или с и.-е. **lento-* «сгибающийся» (ср. нем. *Linde* от этого корня), причем и в том, и в другом случае предполагают, что это было первоначально название другого растения, только впоследствии перенесенное греками на «ель»; таким образом, на основании имеющихся данных трудно предполагать генетическое родство славянских и греческих названий.

Мало оснований также причислять к «праевропейским» названиям праслав. **orkyta* «ракита» (стр. 133), возводимое обычно к индоевропейскому корню **argu-* «согнутый»⁵, польск. и н.-луж. *witwa* «ветла», сближаемое В. Махком с нем. *Weide* (стр. 133) (уже само распространение слова заставляет подозревать новообразование: скорее всего это контаминация праслав. **witwa* и праслав. **jiva*, на что указывает и другая контаминация: польск. диал. *wiwa*⁶). И, наконец, почти везде, где фонетические детали прасла-

¹ Подобные факты говорят о в з а и м н о с т и чешско-немецких влияний в противоположность укрепившемуся мнению о ничтожности влияния славянских языков на немецкий.

² Здесь у автора нет твердой почвы; ср. (стр. 161) возведение серб. *коромач*, *koromach* «*Silaum*» к греч. *ἰπποδάκτρον*, что бездоказательно, если нет промежуточных стадий.

³ A. W a l d e, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Bd. II, Berlin — Leipzig, 1927 [обл.: 1926], стр. 128—129; E. B e r n e k e r, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1924, стр. 99; V. K i p a r s k y, Die gemeinlawische Lehnwörter aus dem Germanischen («*Annales Academiae scientiarum Fennicae*», Ser. B, t. XXXII, Helsinki, 1934). Ср. еще K. K n u t s s o n, Die Germanischen Lehnwörter im Slawischen vom Typus *buky*, Lund, 1929.

⁴ M. V a s m e r, Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1953, стр. 398.

⁵ См. A. W a l d e, указ. словарь, т. I (1930 [обл.: 1928]), стр. 152; т. II, стр. 437; É. B o i s a c q, указ. словарь, стр. 297.

⁶ A. W a l d e, указ. словарь, т. I, стр. 81.

⁷ По Махку (стр. 133), из **witeuā* (польск. *witwa*) с утратой *-e-*, *wiwa* с утратой (*vypuštěno*)-*te-*, а **jiva* с утратой *-te-* и начального *-v-* (!?).

вянского слова неясны, автор указывает: «слово, может быть, „праевропейское“» (ср. стр. 132). Это приводит Махка к призыванию «праевропейскими» даже названий растений, с которыми славяне познакомились относительно поздно, например **bruku* «брюква» (стр. 57). [Неясность источника заимствования, на которую ссылается автор, была устранена К. Кнутсоном, указавшим на слово средневекового латинского монастырского жаргона *brūka* «брюква», объясняющее форму немецких и славянских слов (н.-нем. *bruke, wruke*)]¹.

Такая произвольная этимологизация безусловно является недостатком книги². Наряду с народными названиями растений, автор широко приводит чешские и словацкие ботанические наименования, искусственно создаваемые со времени появления первого обобщающего труда по чешской ботанической терминологии книги И. Пресла³ до наших дней. Дав в предисловии (стр. 13—19) сжатый, но четкий обзор измененный в ботанической терминологии, автор (на основании тщательного изучения работ ботаников-термиологов) детально исследует истоки многообразных искусственных образований. Чаще всего такие образования создаются путем перевода (калькирования) греко-латинского научного наименования (ср. стр. 300: чеш. *měkkilka* = ботанич. *Malaxis* от греч. *μαλαχός* «мягкий»), чехизации русского, польского или сербского слова (излюбленный прием И. Пресла; ср. стр. 27: чеш. *plavůň* «*Lycopodium*» из русск. *плавуш, плауш*; стр. 229: чеш. *luběnka* из слов., серб. *luběnica* и т. д.)⁴. Словацкая терминология, созданная главным образом Я. Новакциком⁵, во многом копирует чешскую. Эта часть работы В. Махка также представляет интерес для лингвиста: она дает возможность проследить, как формируется национальная терминология для отдельной отрасли знания, выяснить вопрос о долговечности термина в зависимости от правильного применения словообразовательных элементов, принципы, на которых строятся терминологии как искусственно регламентированная часть лексики и т. д. Нечего говорить о значении материала, собранного В. Махком, для будущих терминологических работ, в частности для подготавливаемого словаря Ботанического общества (ср. стр. 8).

Несколько слов о размещении материала в книге. Избранный автором порядок (расположение по семействам) в какой-то степени оправдан (автор объясняет его лингвистическими соображениями: внутри семейств часто происходило перемещение названий, их удобнее рассматривать как целое), но для лингвиста было бы предпочтительнее размещение в алфавитном порядке чешских названий (так как родственные названия довольно часто относятся к разным ботаническим семействам, для ботаника — в алфавитном порядке латинских названий (как в словаре Г. Марцелла). Впрочем, каждый из указанных способов имеет свои неудобства, а в работе В. Махка они частично возмещаются подробными указателями слов.

Хотя объем книги и ее специфический характер (не словарь в с е е слов, а исследование м п о г и х) не позволили автору ввести отчетливое разграничение названий, примененное в словаре Г. Марцелла: названия по свойствам растения, по месту произрастания, заимствования, перенесение названий других видов и т. д. — все же следовало бы давать более резкое членение названий на искусственно созданные и народные (здесь иногда неясность объясняется самими первоисточниками, где не указано, откуда взято название) и, особенно, выделить официальные ботанические наименования, принятые в настоящее время. Ценные дополнения к материалам, собранным автором, могли бы дать недавние работы В. Калиновской и О. Вальмена⁶, а также книга М. Мельника⁷, дающая много украинских названий растений.

¹ К. Knutsson, указ. соч., стр. 14. Ср. также: E. Berneker, указ. словарь, Bd. I, стр. 89; M. Vasmer, указ. словарь, стр. 131.

² К. Яначек (см. лит. рецензии), признавая шаткость оснований гипотезы Махка, видит его заслугу в том, что он выделяет в особую группу все праславянские названия, необъяснимые с точки зрения обычных фонетических соответствий из индоевропейских.

³ J. S. Presl et C. V. Presl, Flora čechica, Pragae, 1819.

⁴ Интересно, что даже опека не может помешать слову сделаться ботаническим термином (что, впрочем, имеет подтверждение в истории франц., исп. *zénith* < араб. *zami*): термин Пресла *jarva* «*Spidium*» (указ. соч., стр. 161) возник из нем. *garwe*: по ошибке *g* было прочтено как *j*.

⁵ В книге: J. Dostál, Květena ČSR a ilustrovaný Klíč k určení všech sevnatých rostlin, Praha, 1950.

⁶ Z. E. Kalinowska, Polskie nazwy roślin opisane w niemieckim Zielniku H. Bocka z roku 1587, «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska», Sectio E, IV, 5, Lublin, 1949; O. Wallmén, Alte tschechische Pflanzennamen und Rezepte im botanicon Dorstens, «Etudes de philologie slave», publ. par l'Institut russe de l'Université de Stockholm, Uppsala, 1950.

⁷ М. Мельник, Українська номенклатура висних рослин, Львів, 1922 (использован словарь В. Грищенко и другие материалы).

В заключение следует подчеркнуть, что интересная и пужная работа В. Махка ценна не только как самостоятельное исследование, но также и тем, что работа эта дает толчок к дальнейшему, еще более глубокому анализу собранного материала (такой характер своего труда подчеркивает и автор; стр. 6—7). Будущее же исследование в этой области станет плодотворным, если для других славянских языков будет проделана кропотливая работа, которую осуществил В. Махек для чешского и словацкого языков. В частности, именно такой работы ждет не только не исследованная, но и не зарегистрированная полностью масса восточнославянских названий растений.

В. М. Илич-Свитыч

НОВЫЕ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Наша литература по вопросам истории английского языка пополнилась двумя трудами, вышедшими в 1955 г., — посмертной книгой проф. А. И. Смирницкого «Древнеанглийский язык»¹ и книгой доц. В. Д. Аракина «Очерки по истории английского языка»². Выход в свет этих двух трудов следует приветствовать как показатель растущего интереса к вопросам истории английского языка и как признак начала научной дискуссии в печати по некоторым из этих вопросов.

Обе книги предназначены примерно для одной и той же аудитории: они ориентированы на читателя, который уже изучил элементарный курс истории языка на студенческой скамье и стремится расширить и углубить свои знания по этому предмету.

Этим, однако, сходство между обоими трудами и ограничивается. Кардинальное различие приходится констатировать в самом подходе того и другого автора к явлениям истории английского языка. Интерес А. И. Смирницкого в первую очередь направлен на **с и н х р о н н о е** описание строя древнеанглийского языка, тогда как В. Д. Аракин стремится дать **д и а х р о н и ч е с к о е** изложение явлений с целью объяснить современное состояние английского языка. В. Д. Аракин, как и следовало ожидать по заглавию книги, посвящает отдельные очерки, вошедшие в ее состав, отдельным аспектам языка — развитию фонетической системы и орфографии, развитию грамматического строя и развитию словарного состава. Поэтому с материалами книги А. И. Смирницкого соприкасаются только те разделы «Очерков», в которых идет речь о явлениях древнеанглийского периода как о начальном этапе развития.

Введение к книге «Древнеанглийский язык» А. И. Смирницкий посвящает вопросу о различении синхронии и диахронии в изучении явлений языка и вопросу о сравнительно-историческом методе. Он совершенно справедливо указывает (стр. 5), что наши языковеды, стремясь избежать «отрыва» синхронического изучения языка от диахронического — отрыва, в котором был повинен Ф. де Соссюр, зачастую должным образом не различают диахронию и синхронию. «А ведь „отрыв“ и строгое „различение“, — замечает А. И. Смирницкий, — совсем не одно и то же» (стр. 5). Это замечание, справедливое по существу и точно сформулированное, лежит в основе той трактовки явлений древнеанглийского языка, которую дает А. И. Смирницкий в своей книге. На стр. 8 он формулирует следующий безусловно правильный и очень полезный принцип: «Подлинный историзм требует строгого различения того, что с т а л о, и того, что б ы л о, качества н о в о г о и п р е ж н е г о, уже утраченного, на месте которого это новое развилось». Во второй части введения (стр. 8—10) изложены воззрения автора на сущность сравнительно-исторического метода. Он предлагает различать сравнительно-историческое изучение языков и сравнительно-исторический метод как один из специальных приемов, необходимых для такого изучения. При этом цель сравнительно-исторического метода в этом узком смысле заключается в восстановлении не засвидетельствованных в письменности языковых фактов. Такое определение можно, конечно, оспаривать, но оно вполне возможно, и автор в дальнейшем строго его придерживается.

Из 19 глав книги первые четыре посвящены характеристике английского языка в целом, древнеанглийского языка, периодов истории английского языка и древнеанглийских письменных памятников. Глава V дает характеристику древнеанглийского стихосложения. Система стихосложения не составляет, как известно, части системы языка в точном смысле слова и обычно не рассматривается в работах по истории языка. Включение этой главы в книгу А. И. Смирницкого следует расценить как весьма положительное явление. Отдельные главы посвящены вопросам письменности: в VI главе

¹ А. И. Смирницкий, Древнеанглийский язык, М., 1955.

² В. Д. Аракин, Очерки по истории английского языка, М., 1955.

рассматриваются графика и звуковые значения букв, в VII — история письменности германских племен. Обстоятельное рассмотрение вопросов истории письменности также составляет преимущество книги. Правда, эти первые главы не вполне однородны по объему рассматриваемых явлений: не все они касаются исключительно английского языка, две из них (V и VII) посвящены всем древнегерманским языкам в целом. Однако это несоответствие в значительной степени вызвано спецификой самого материала и не воспринимается как нарушение целостности замысла книги.

Дальнейшие главы объединены в три большие раздела: фонетический строй (главы VIII—XIV), словарный состав (главы XV—XVI) и грамматический строй (главы XVII—XIX). Эти разделы построены так, что за главой, в которой дается синхроническая характеристика той или иной группы явлений, следует глава, посвященная вопросу о происхождении этих явлений, т. е. диахроническая (например, глава X — «Консонантизм», глава XI — «Происхождение древнеанглийских согласных»). Исключение составляет только последняя глава XIX — «Синтаксис», при которой, по понятным причинам, нет соответствующей сопровождающей главы диахронического характера.

Такое построение имеет свои преимущества, так как полностью соответствует тому разграничению синхронии и диахронии, которое было обосновано во введении. Однако оно влечет за собой и значительные трудности. В самом деле, говоря, например, о развитии звукового строя, автор не излагает его в обычной исторической последовательности, а, исходя из явлений древнеанглийского языка, вскрывает их происхождение. Например, на стр. 108: «Из всех древнеанглийских гласных в ударных слогах могут быть старыми, сохранившимися без изменений с древнейших времен, только простые гласные *i*, *ī*, *e*, *ē*, *ō*, *ū*... Однако все эти гласные могут иметь и иное происхождение: *i* часто восходит к старому *e* (§§ 82, 86 и 115); *ī* — к старому дифтонгу **ei* (§ 83) или к *i* краткому из старого *e* (§ 109), реже — к старому краткому *i* (§ 63); *e* — к старому **a* (§ 101), гораздо реже — к старому **u* (§ 116)...» и т. д. В таком изложении фонетические явления оказываются трудно обозримыми.

Следует подчеркнуть, что эти трудности относятся именно к описанию фонетических явлений. Что касается вопросов словарного состава и грамматического строя, здесь дело обстоит гораздо более благополучно. Так, например, когда на стр. 181 и сл. дается довольно обширный перечень слов, заимствованных древнеанглийским языком из латинского (причем они сгруппированы по хронологическому принципу и по сферам значений), то это не сопряжено ни с какими трудностями для читателя, который перед тем изучил словарный состав древнеанглийского языка в синхроническом плане. Точно так же изложение на стр. 273 и сл. теории именных основ в индоевропейских и германских языках не создает никаких затруднений для читателя, уже знакомого с материалом предыдущей главы, в которой шла речь о системе склонения древнеанглийских существительных в синхроническом плане. Таким образом, только специфические особенности фонетических явлений вызывают сомнение в целесообразности применения такого метода изложения к звуковому строю языка.

Как существенное достоинство книги следует отметить разработку ряда вопросов, которые в существующей научной литературе затрагивались лишь вскользь. Так, например, на стр. 78—89 дано подробное изложение процесса ротацизма и связанных с ним явлений в германских языках. На стр. 106 и сл. рассматривается труднейший и пока не исследованный вопрос о фонематическом составе древнеанглийских безударных гласных. Очень тщательно разработан в книге и ряд других вопросов.

Однако в то же время в книге есть некоторые моменты весьма дискуссионные, по которым трудно согласиться с автором. Прежде всего сюда относится раздел, посвященный так называемой «конверсии» в древнеанглийском языке (стр. 166—170). А. И. Смирницкий излагает здесь то же понимание этого явления, которое уже известно из его ранее опубликованных статей. На стр. 166 конверсия характеризуется как «такой вид словообразования (словопроизводства), при котором словообразовательным средством служит *т о л ь к о* о сама парадигма слова: ср. др.-англ. *lufu* „любовь“ — *lufian* „любить“, *broc* „обломок, несчастье“ — *brocian* „раздавливает, причиняет вред (боль)“» и т. п. Несомненно, что мы имеем здесь дело с особым типом словообразования, который заслуживает особого рассмотрения. Однако применение к этим явлениям термина «конверсия» совершенно неприемлемо. Термин «конверсия» отличается отчетливой внутренней формой, которая означает «превращение». Пренебречь этой внутренней формой нельзя: она неуклонно стоит перед сознанием. Поэтому если применение этого термина можно было хоть до некоторой степени оправдать, пока он применялся к фактам современного английского языка, где мы встречаемся с одинаковым звуковым составом исходных форм слов, относящихся к различным частям речи (ср. *love* „любовь“ и *love* „любить“, *hand* „рука“ и *hand* „врочать“ и т. п.), то в применении к древнеанглийскому языку, где не обнаруживается такого звукового тождества, этот термин теряет всякий смысл. А. И. Смирницкий сам отмечает это в подстрочном примечании на стр. 166: «Термин „конверсия“ не представляется вполне удачным. Однако поскольку этот термин довольно прочно закрепился в лингвистической литературе, он используется также и в этой книге». Но говорить о том, что этот термин «закрепился в ли-

тературе» в применении к древнеанглийскому языку или к другим языкам, в которых не существует звукового совпадения исходных форм разных частей речи, не приходится. Здесь дело не в произвольности термина, а в том, что этот термин своей прозрачной внутренней формой наталкивает на совершенно превратное понимание сущности словообразовательного явления, которое им обозначают.

Дискуссионной представляется трактовка автором и вопроса о категории залога в древнеанглийском языке (В. Д. Аракин вообще не рассматривает этого вопроса). На стр. 245 по этому поводу сказано: «Категория з а л о г а не проходила через всю систему глагола. Она выделялась в противопоставлении только форм причастия переходных глаголов: причастие I этих глаголов выражало действительный залог (*singende* «поющий»), а причастие II — страдательный залог (*[æ]-sunzen* «спетый»). Сочетания глагола *wesan/beon* и *weorðan* с причастием II в древнеанглийском еще нельзя считать составной (аналитической) формой». На стр. 294 к этому добавляются следующие соображения: «Древнеанглийские словосочетания типа *wæs of-slæ æn, wæs feoh-tende, wile sinzan, ha fde...æ-bundenne* начинают уже выделяться своей относительно большой частотностью, и тем самым есть возможность говорить о тенденции их обособления. Однако каких-либо признаков структурно-семантической, синтаксической или иной изоляции эти словосочетания не обнаруживают. Особо следует указать на отсутствие наиболее характерного признака изоляции, при которой словоформа, применяемая в сочетании с данным служебным словом, оказывается в других случаях неизвестной или неупотребительной».

Во всем этом рассуждении, однако, упускается из вида другая сторона дела, не менее, если не более существенная. В готском языке категория залога, как известно, существовала и выражалась противопоставлением форм *nimiþ* «берет» — *nimada* «берется», *haitiþ* «зовет» — *haitada* «зывается» и т. п. Известно также, что в древнеанглийском языке от глагола *hitan* «звать», «называть» существовала форма *hätte* «зывается», «звался» — единственный сохранившийся случай синтетической формы среднего или страдательного залога, свидетельствующий о том, что в более ранний период категория залога в английском языке, как и в готском, существовала. Если стать на точку зрения, которой придерживается А. И. Смирницкий, придется заключить, что категория залога существовала в дописьменный период древнеанглийского языка, затем (к началу письменной традиции) исчезла, а впоследствии (в начале среднеанглийского периода) возникла снова. Такой ход развития хотя и не может считаться совершенно исключительным, представляется все же очень маловероятным. Во всяком случае, он требует специального доказательства. Гораздо более естественным является предположение, что категория залога существовала в английском языке на протяжении всей его истории, а средства ее выражения (как и средства выражения ряда других категорий) претерпели изменение: синтетические сменились аналитическими. В этой связи представляется неслучайным то обстоятельство, что А. И. Смирницкий в своей книге ни разу не упоминает о существовании формы *hätte*.

Значительную трудность для читателя создает широкое применение в книге форм со звездочкой (*). Звездочка ставится как перед формами не засвидетельствованными, но реконструируемыми с абсолютной точностью, так и перед формами весьма проблематичными, причем никаких оговорок по этому поводу не делается. Между тем проблематичные формы не следовало бы давать в книге на равных основаниях с достоверными реконструкциями, и вообще их число следовало бы значительно сократить.

Серьезные возражения вызывает помещенная на стр. 105 «Таблица происхождения гласных». Эта таблица не может никому помочь разобраться в сложных явлениях древнеанглийского вокализма, а неопытного читателя она может только отпугнуть, внушив ему мысль, что этот вокализм представляет собой безнадежно запутанную систему, в которой нельзя обнаружить никаких закономерностей. Книга, несомненно, очень выиграла бы, если бы эта таблица была изъята.

*

Значительно больше замечаний, как принципиального, так и частного характера, вызывает книга В. Д. Аракина.

Как недостаток книги следует отметить склонность автора догматически излагать дискуссионные вопросы. Вследствие этого изложение приобретает в ряде случаев элементарный характер, не соответствующий, как мне кажется, назначению книги.

Так, например, догматически изложен вопрос о системе гласных фонем в древнеанглийском языке: «Система гласных фонем состояла из 5 кратких фонем [i], [e], [u], [o], [a], 6 долгих простых фонем [ī], [ē], [ǣ], [ū], [ō], [ā] и 3 долгих дифтонгов [iō], [ēō], [ǣā]» (стр. 55). Таким образом, здесь подразумевается как нечто несомненное, что краткое [ǣ], краткие дифтонги *ea*, *eo* и др. были не фонемами, а позиционными вариантами фонем. Между тем этот вопрос гораздо сложнее, чем он представлен в изложении В. Д. Аракина. Естественно поэтому, что редактор книги поместил (на стр. 57) примечание, в котором говорится, что в советском языковедении существует и другое представление о системе гласных древнеанглийского периода, и приводится

таблица древнеанглийских гласных, данная А. И. Смирницким (А. И. Смирницкий говорит не о фонемах, а о звуках). Было бы, как мне кажется, правильнее, чтобы В. Д. Аракин сам привел систему А. И. Смирницкого и высказал соображения, побудившие его предпочесть систему, изложенную в его книге. В противном случае читатель остается в полном недоумении.

Такое же замечание приходится сделать по поводу сложного вопроса о том, как следует понимать взаимоотношение между редукцией неударных гласных и изменениями в морфологической системе имени. На стр. 68—69 В. Д. Аракин говорит по этому поводу: «Одним из важнейших изменений фонетического строя английского языка среднего периода было завершение процесса образования в неударных слогах нейтральных гласных, сменивших собой гласные полного образования [a], [o], [u] и [i]. Этот процесс начался еще в древний период и был, по-видимому, вызван чисто морфологическими причинами, т. е. образованием новых омонимичных падежных аффиксов, которые, вследствие сходства своей формы, постепенно утратили и свои смысловые различия». Правда, в этом случае автор сопровождает изложение своей точки зрения по этому вопросу оговоркой «по-видимому». Однако трактовка вопроса все же остается односторонней. Редактор и в данном случае поступил совершенно правильно, указав в подстрочном примечании на стр. 69, что существуют разные точки зрения на этот вопрос, и отослав читателя к статье А. И. Смирницкого «Вопросы фонологии в истории английского языка» (следовало бы указать также статью А. И. Смирницкого «Взаимоотношение между редукцией неударных гласных и развитием системы имени в германских языках»). Но и в этом случае было бы лучше, если бы В. Д. Аракин сам отметил существование других точек зрения и обосновал свою позицию в полемике с ними. Это, несомненно, способствовало бы более глубокому пониманию читателем проблем истории языка во всем их своеобразии.

В некоторых случаях можно упрекнуть автора в непоследовательности изложения. Так, противоречиво трактуется структура форм прошедшего времени слабых глаголов в древнеанглийском языке. На стр. 223 говорится: «Суффиксы прошедшего времени единственного числа *-de*, множественного числа *-don*, причастия *-d* оглушались, т. е. переходили в *-te*, *-ton*, *-t*, если они примыкали непосредственно к глухому согласной основе». (Отмечу попутно неточность формулировки: оглушались, конечно, не суффиксы как морфологические элементы и не все звуки, входившие в состав суффиксов, а только согласный *-d*.) Сходным образом говорится выше на той же странице: «...суффиксы прошедшего времени единственного числа *-de*, *-te* и множественного числа *-don*, *-ton*». Таким образом, здесь дело представлено так, что *-de* — это одна морфема — суффикс, выражающий одновременно время (прошедшее) и число (единственное); *-don* — тоже одна морфема, выражающая время (прошедшее) и число (множественное). Однако на стр. 246 эти же факты получают другое освещение: «В прошедшем времени глаголы с чередованием не имели никаких личных окончаний в 1-м и 3-м лицах единственного числа. Глаголы с суффиксацией присоединяли окончание *-e* к суффиксу прошедшего времени *-d*... Во множественном числе было одно окончание *-on*, после редукции безударного гласного перешедшее в *-en*». Здесь, таким образом, выделяются две морфемы: суффикс прошедшего времени *-d*, очевидно, общий для всех лиц и обоих чисел, и окончания 1-го и 3-го лица единственного числа *-e* (соответственно — окончание множественного числа *-on*). Само собой разумеется, что правильна эта вторая трактовка строения форм прошедшего времени слабых глаголов. Следовало поэтому и на стр. 223 излагать такое же понимание строения этих форм.

Говоря о «сдвиге гласных» в новоанглийском периоде на стр. 80, В. Д. Аракин замечает: «Фонетические изменения происходили медленно и почти незаметно для современников, так как каждое изменение длилось свыше 100 лет, т. е. оказывалось за пределами памяти даже двух поколений. Изменение системы долгих гласных было вызвано сужением их артикуляции». Это замечание имеет целью опровергнуть трактовку изменений долгих гласных как «сдвига». По поводу термина «сдвиг гласных» можно, конечно, спорить. Но пояснение, которое дает в связи с этим автор, мало помогает делу. В самом деле, говоря, что изменение системы долгих гласных было в *y* з *a* и в *o* сужением их артикуляции, он, очевидно, представляет сужение как *p r i c h n u* изменения системы. Но с большим основанием можно было бы сказать, что изменение системы гласных *z a k l y o c h a л o c b* в сужении артикуляции. А чем было вызвано сужение, т. е., иначе говоря, какова была причина изменения системы — это остается неясным не только в книге В. Д. Аракина, но и вообще в науке. Изображая сужение артикуляции как причину изменения системы, В. Д. Аракин создает только видимость причинного объяснения явлений. Правильнее было бы констатировать, что до настоящего времени не найдено удовлетворительного объяснения этих явлений.

Некоторые формулировки в книге страдают неясностью и не способны к тому, чтобы у читателя создалось отчетливое представление о сущности данного явления. Так, на стр. 166, характеризуя морфологическую систему существительных в современном английском языке, В. Д. Аракин говорит: «...в системе существительных современного английского языка находятся две категории имен: 1) существительные, имеющие омонимичные падежные формы, 2) существительные,

имеющие двухпадежную систему склонения. К первой категории относится подавляющее большинство существительных, обозначающих различные предметы и явления. Ко второй категории относятся немногие существительные, обозначающие человека, живые существа, такие предметы или явления, которые могут восприниматься, хотя бы метафорически, как активные, например *time*, а также сохранившие от древности вторую падежную форму в словосочетаниях (например, названия различных мер в оборотах типа *a day's work*, *three miles' distance*). Эта классификация непонятна. Если в одну категорию входят существительные, имеющие двухпадежную систему склонения, то, очевидно, следует ожидать, что в другую категорию войдут существительные, имеющие либо более чем два падежа, либо не имеющие вовсе категории падежа. Однако, по терминологии автора, сюда относятся существительные с омонимичными падежными формами. Поскольку нет оснований полагать, что В. Д. Аракин усматривает у этих существительных более двух падежей, приходится прийти к выводу, что они тоже имеют двухпадежную систему, но отличаются лишь омонимичностью форм обоих падежей. Таким образом, наличие двухпадежной системы, существующей у каждой категории существительных, не может служить отличительным признаком одной из двух групп. К тому же, положение о наличии омонимичных падежных форм у большинства английских существительных ничем не подтверждено и совершенно неубедительно. Поэтому приведенную классификацию следовало бы заменить другой: 1) существительные, не имеющие категории падежа, 2) существительные, имеющие двухпадежную систему склонения.

Трудно согласиться с той трактовкой форм сильных глаголов VII класса, которая изложена в книге В. Д. Аракина. Говоря о возникновении гласного \bar{e} или \bar{eo} в формах прошедшего времени этих глаголов, В. Д. Аракин замечает на стр. 206: «Глаголы, составившие в древнеанглийском VII кл а с с, имели когда-то удвоение (редупликацию) основы в формах прошедшего времени, а также чередование корневых гласных. В древнеанглийском следы редупликации почти исчезли. Когда-то удвоенные слоги слились в один корневой слог с долгим гласным [e] или с долгим дифтонгом [eo]». Правда, выражение «удвоенные слоги слились в один корневой слог» не совсем ясно, но естественно понять его в том смысле, что здесь произошел фонетический процесс слияния двух слогов в один. Однако такое толкование приводит, как известно, к серьезным затруднениям, так как заставляет предположить выпадение начального согласного корневого слога, не имеющее аналогии в других случаях. Гораздо убедительнее изложен этот вопрос у А. И. Смирницкого (в примечании на стр. 131): «Исчезновение согласных в формах типа др.-англ. *hēt*, *lēt* не является закономерным фонетическим выпадением, так как те же согласные ([χ], l, r) в таких же условиях нормально сохраняются. Таким образом, эти словоформы возникли не в результате фонетического развития более старых словоформ, но в результате их грамматической перестройки».

Непоследовательность изложения приходится отметить в вопросе о применении фонологии к истории языка. На стр. 55 и сл., характеризуя звуковую систему древнеанглийского языка, В. Д. Аракин все время говорит о фонемах. С фонологической точки зрения изложен и такой характерный фонетический процесс древнеанглийского периода, как преломление гласных. О фонемах идет речь и при изложении фонетических изменений среднеанглийского периода (возникновение шипящих фонем — стр. 65, появление новых гласных фонем — стр. 67, и т. д.). Однако при характеристике фонетических изменений нового периода изложение становится в этом отношении менее отчетливым. Говоря о «сдвиге гласных» на стр. 80, В. Д. Аракин дает этому разделу заголовок «Изменения в системе долгих гласных фонем», но в самом изложении вопрос о фонологическом смысле этого процесса не затрагивается. Самый термин «изменения в системе долгих гласных фонем» представляется неясным. Надо ли понимать дело так, что в процессе «сдвига гласных» одни долгие гласные фонемы исчезают, а взамен их появляются другие, или же так, что фонемы не исчезают и не появляются, а изменяются, не переставая быть теми же фонемами? Например, когда долгое \bar{i} развивается в *ai*, то можно ли сказать, что это изменение происходит, так сказать, внутри фонемы, так что та самая фонема, которая до определенного времени была \bar{i} , теперь стала *ai*? Этот вопрос представляется очень трудным, как и вообще вопросы «диахронической фонологии». Нельзя было ожидать, что он будет полностью разрешен в книге. Однако указать на сущность проблемы и наметить хотя бы пути ее разрешения, несомненно, следовало. Иначе заголовок «Изменение в системе долгих гласных фонем» оказывается не соответствующим содержанию изложения.

В книге В. Д. Аракина есть также и целый ряд более мелких, но досадных недочетов, требующих исправления.

Так, на стр. 11 В. Д. Аракин утверждает, что «до нас не дошли книги Плиния, в которых дается классификация германских племен, но Тацит приводит ее в своей обобщающей работе „Германия“». Это утверждение ни на чем не основано. До нас дошла книга IV «Естественной истории» Плиния, в которой дана классификация германских племен. Тацит же этой классификации не приводит. К тому же книгу Тацита едва ли можно назвать «обобщающей работой».

На стр. 18 говорится: «Суссекс к юго-востоку от Кента». В действительности Суссекс расположен к юго-западу от Кента.

На стр. 34 указывается, что в среднеанглийском периоде «образовался новый ряд местоимений — притяжательные». Это неверно. Притяжательные местоимения существовали в английском языке с древнейших времен.

На стр. 168 ошибочно сказано, что существительное *moon* «луна» в древнеанглийском периоде было женского рода. В действительности существительное *mōna* было мужского рода.

На стр. 205 в таблице форм глаголов V класса неправильно указана форма единственного числа прошедшего времени глагола *etan* «есть»: дано *æt* (с кратким гласным), тогда как этот глагол образует (по аналогии с формой множественного числа) форму единственного числа *æt* (с долгим гласным).

На стр. 210—211 в таблицах форм глаголов III класса в среднеанглийском языке неправильно приведены формы множественного числа прошедшего времени. Эти формы имели гласный *o*: *holpen*, *mōlten*, *swollen*, *corven*, *borken*, *storven*, а не *u*, как указано в таблице. (Кроме того, форма инфинитива глагола «пухнуть» имела вид *swellen*, а не *swellan*.) На стр. 214 правильно указано, что у глаголов III класса совпали формы множественного числа прошедшего времени и причастия прошедшего времени; однако в таблице приведены формы, не соответствующие этому положению.

На стр. 221 в таблице, иллюстрирующей соотношение древнеанглийских и новоанглийских форм сильных глаголов, приведены неправильные формы глаголов *hlēaran* «бежать» и *weāran* «плакать» в древнем периоде. Должно быть *hlēor* и *weōr*, а не *hlēar* и *wōr*.

Ошибки, неточности и опечатки, подобные указанным, имеются также и в других местах книги (см., например, стр. 29, 31, 39, 61, 94, 124, 135, 137, 175, 182, 186, 250, 255, 265, 267, 291, 299). Их нужно устранить при подготовке к печати второго издания.

В целом же, как было выше отмечено, появление работ А. И. Смирницкого и В. Д. Аракина следует приветствовать как значительное обогащение нашей научной литературы по истории английского языка. Будем надеяться, что выход в свет книг станет стимулом для дальнейшего расширения круга авторов в этой области.

Б. А. Ильин

А. А. Холодович. Очерк грамматики корейского языка. — М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1954. 320 стр.

Грамматика корейского языка до настоящего времени остается еще сравнительно мало изученной, несмотря на то, что корейское языкознание располагает рядом обстоятельных и ценных трудов в этой области¹. Значительный вклад в корейское языкознание внесли русские и советские кореееды. Широко известны работы по корейскому языку Г. В. Подставина, Е. Д. Поливанова, А. А. Холодовича, О. П. Петровой и других. Многие из этих работ не потеряли своего значения и по сей день. Таковы, например, статьи Е. Д. Поливанова «Гласные корейского языка»², «К вопросу о родственных отношениях корейского и „алтайских“ языков»³ и другие. В настоящее время грамматика корейского языка является предметом исследования ряда советских языковедов. Однако до выхода в свет книги проф. А. А. Холодовича в советской учебной литературе не было курса грамматики современного корейского языка.

В своей новой книге, являющейся переработанным курсом лекций, А. А. Холодович суммирует обширные наблюдения над грамматическим строем корейского языка.

¹ Достаточно упомянуть следующие работы: Ч у С и Г ѐ н, Куго мун'поп (Грамматика родного языка), Сеул, 1910; К и м Д у Б о н, Чосон мальбон (Корейская грамматика), Сеул, 1916; е г о ж е, Кипто чосон мальбон (Корейская грамматика, доп. изд.), Шанхай, 1923; Х о н Г и М у н, Чосон мун'поп йонгу (Изучение корейской грамматики), Сеул, 1947; Чосон-о мун'поп (Грамматика корейского языка), Пхеньян, 1949; К и м С у Г ѐ н, Чосон-о мун'поп (Грамматика корейского языка), чч. 1—2, Пхеньян, 1954; Ц о й Х ѐ н Б э, Ури мальбон (Наша грамматика), Сеул, 1937; е г о ж е, Чосон мальбон (Корейская грамматика), Сеул, 1948; «Grammaire Coréenne», Yokohama, 1884; J. G a l e, Korean grammatical forms, Seoul, 1894; H. G. U n d e r w o o d, An introduction to the Korean spoken language, 2-d ed., New York, 1914; A. E s k a r d t, Koreanische Konversations-Gramatik, Heidelberg, 1923; G. J. R a m s t e d t, A Korean grammar, Helsinki, 1939; H. F. J. J u n k e r, Koreanische Studien, Berlin, 1955.

² «Восточный сборник», кн. II, Пг., 1916.

³ ИАН СССР, Серия VI, 1927, № 15.

В «Очерке» использованы последние достижения корейского языкознания как в Советском Союзе, так и за рубежом. Естественно, что в такой сравнительно небольшой книге (на 320 страниц более 100 занимают примеры, которые даны в корейской графике, в транскрипции и в переводе) не оказалось возможным дать исчерпывающее описание грамматического строя корейского языка в целом. Явно недостаточны разработаны, например, многие вопросы синтаксиса, а также и некоторые вопросы морфологии. По автор сам пишет, что он и «не претендует на то, чтобы дать представление о корейском языке во всех подробностях, не касается всех теоретических проблем грамматики корейского языка, его истории» (стр. 3)¹. Он ставил перед собой задачу — дать лишь «очерк по грамматике современного корейского языка», который «излагает только основные факты» (стр. 3). Можно утверждать, что в целом А. А. Холодович выполнил поставленную задачу².

Прежде всего отметим, что в рецензируемой книге читатель имеет возможность познакомиться с некоторыми теоретическими новшествами. Так, например, заслуживает внимания выделение так называемых позиционных и непозиционных категорий³. Такое подразделение грамматических категорий позволяет более четко выявить взаимосвязь явлений морфологии и синтаксиса. Например, позиционные категории глагола связаны с определенной синтаксической функцией глагола в предложении. Непозиционные категории глагола, как отмечает автор, не зависят от его синтаксической функции (стр. 76).

Оригинальным является данное в «Очерке» толкование модальности. Модальность автор называет грамматической категорией, выражающую отношение действия к действительности, различную степень реальности самого действия, независимо от отношения к нему говорящего. Отношение же говорящего к действию (и к высказыванию) выражается, по автору «Очерка», только категорией наклонения. Таким образом, категории наклонения и модальности взаимосвязаны, но не тождественны, подобно тому как взаимосвязаны, но не тождественны друг другу предложения типа *Река кажется очень глубокой* и *Река, кажется, очень глубока* (стр. 104—105).

К числу разделов, представляющих большой теоретический интерес, относится раздел «Структура слова» (стр. 14—41), в котором изложены основные вопросы, касающиеся формообразования и словообразования, и где делается попытка дать новое решение многих важных проблем грамматического учения о слове корейского языка. Следует отметить, что в понимании формы и структуры слова у автора обнаруживаются принципиальные расхождения с корейскими лингвистами.

Богата фактическим материалом и интересными наблюдениями глава «Глагол» (стр. 72—180). Целый ряд новых мыслей и новых положений содержится в параграфе, посвященном структуре глагола. Так, например, некоторые образования, состоящие из двух (или нескольких) глаголов, часто рассматриваются как сложные слова; А. А. Холодович считает их «сочетанием двух слов, из которых одно выполняет служебные функции, являясь средством выражения грамматических значений» (стр. 74—75, ср. также стр. 102). В то же время едва ли можно признать удачным приводимый им пример — глагол *мур-пода*, который, по нашему мнению, свидетельствует о том, что необходимо различать и переходные случаи.

В главе о глаголе находим интересные соображения также о категориях переходности—непереходности и залога. Довольно обстоятельным является описание производных в отношении переходности и непереходности глаголов (стр. 77—90). Автором определены условия присоединения того или иного суффикса при образовании производных глаголов. Совершенно правильно указывает автор на тождество суффиксов переходности и непереходности (стр. 79), что представляет несомненный теоретический интерес. Заслуживает внимания постановка вопроса об абсолютных и относительных временах глагола. Весьма ценными представляются наблюдения над различными формами глагола (причастие, деепричастие, инфинитив). Особенно интересны соображения автора по вопросу о том, «какой характер имеет время причастия» в корейском языке (стр. 135 и сл. до стр. 146). Как и Г. Рамстедт⁴, автор рассматривает формы глагола типа *жаго, хани* и т. п. как деепричастия (стр. 148—178). Предварительные замечания автора о суффиксах времени в деепричастных формах окажутся полезными при дальнейшей разработке этого вопроса. Как и авторы «Грамматики корейского язы-

¹ Здесь и в дальнейшем в тексте в скобках даны ссылки на страницы рецензируемой книги.

² Ср. положительную оценку книги А. А. Холодовича в статье О. П. Петрова о «Очерке истории изучения корейского языка в России и СССР», в журн. «Чосон ому» («Корейский язык и литература») (Пхеньян, 1956, № 1, стр. 77), а также в рецензии А. Экардта в журн. «Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft» (Jg. 77, Heft 2, 1956, стр. 91—95).

³ В применении к русскому языку аналогичную мысль о категориях, влияющих и не влияющих на функцию слова в предложении, высказал В. Мигрин. См. его статью «К вопросу об определении категории падежа» («Р. яз. в шк.», 1953, № 5).

⁴ См. G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 87—104.

ка» (Пхеньян, 1949), А. А. Холодович относит формы глагола типа *хам, хаги, хажи* к неопределенным формам глагола, называя их инфинитивами (стр. 178—180).

Ряд интересных и верных мыслей высказывает А. А. Холодович по поводу связей и связочных глаголов в корейском языке (стр. 246). Он исходит из того, что в этом языке имеются две отвлеченные связки — *ида* «быть» и *анида* «не быть», и совершенно правильно, на наш взгляд, не соглашается с мнением тех корейских лингвистов (Ким Су Гён и др.), которые считают, что имя существительное в корейском языке спрягается (т. е. может иметь формы времени, наклонения и т. д.)¹.

Особенный интерес в корейском языке представляет категория прилагательного. Предикативное прилагательное и глагол здесь сближаются по целому ряду морфологических и синтаксических признаков настолько, что Г. Рамстедт, например, считал корейские прилагательные качественными глаголами². Рецензируемый очерк, однако, в отношении прилагательного ограничивается слишком краткими сведениями фрагментарного характера.

В разделе «Имя существительное» автор, правильно, на наш взгляд, осуждая семантическое понимание категории падежа, сам, однако, еще окончательно не отказался от этого понимания, о чем свидетельствует, например, признание им морфемы *не* наряду с морфемой *ий* окончанием родительного падежа (стр. 54, 59).

Совершенно правильным в «Очерке» является выделение такой части речи в корейском языке, как послелог (стр. 206), от признания которого особой частью речи корейские грамматисты все еще воздерживаются. А. А. Холодович считает, однако, что послелог может быть «употреблен а б с о л ю т н о, т. е. без предшествующего ему имени или местоимения», и что «от этого он не перестает быть послелогом» (стр. 207). Нам представляется, что в этом случае правильнее было бы говорить о конверсии одной части речи в другую. Фактически именно этой точки зрения придерживается и сам автор «Очерка» в отношении послелогов *сок* (см. стр. 212) и *пак* (см. стр. 21).

Надо особо отметить, что в книге А. А. Холодовича материал весьма четко систематизирован. Язык книги прост и доступен широкому читателю, формулировки в большинстве своем точны и ясны. Значительно облегчает работу с книгой «Указатель морфем и служебных слов» (стр. 312—314). Работа А. А. Холодовича — и в этом, пожалуй, одно из ее основных достоинств — заставляет задумываться над многими явлениями грамматического строя корейского языка, тем самым способствуя борьбе мнений, которая необходима для развития науки.

Подчеркивая общее благоприятное впечатление от книги, нельзя не коснуться некоторых недостатков и погрешностей, имеющих в «Очерке». Книга состоит из трех очень неравных по объему разделов: «Фонетика» занимает 8 с половиной страниц (сюда включены, кроме того, еще и «Фонетика северных диалектов», «Графика и орфография»), «Морфология» — 216 страниц, «Синтаксис» — 82 страницы. Раздел фонетики в «Очерке» чрезвычайно скуден и оставляет ряд сомнений в определении фонемного состава корейского языка (например, в «Очерке» неоднократно упоминаются сонанты *э* и *й*, которые не числятся среди согласных фонем и их вариантов; среди «дифтонгоидов» нет дифтонга, обозначаемого в корейском алфавите знаком *т-ѳ*, и т. д.); автор совершенно не касается здесь таких проблем корейского вокализма, как длительность гласных³ и связь ее с высотой тона, вопрос о наличии долгих гласных фонем. Не затрагивается, к сожалению, и вопрос о характере ударения в корейском языке. Интересно отметить, что в рецензируемом «Очерке» А. А. Холодович отказался от высказанного им в свое время мнения о фонематичности палатализованных согласных в корейском языке⁴ (решение вопроса о фонематичности палатализованных и лабиализованных согласных тесно связано с решением вопроса о дифтонгах). Основанием для этого, как указывает автор (стр. 3), явились выводы из экспериментальной работы, проделанной им совместно с Л. Р. Зиндером⁵.

Особенности северокорейских диалектов определены, на наш взгляд, слишком общо и не совсем правильно. В частности, все северокорейские диалекты, отличающиеся друг от друга, нельзя определять одинаково как «шокающие», «т-диалекты», «цокающие», «р-диалекты», «нь-диалекты» (стр. 9—10)⁶.

¹ См., например, Ким Су Гён, О некоторых основных вопросах морфологии корейского языка, журн. «Чосон ому», 1956, № 1, стр. 59—66.

² См. G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 60—61.

³ Во вновь изданном «Малом словаре корейского языка» («Чосон-о со-сачжон», Пхеньян, 1956 [тит. л.: 1955]), насчитывающем около 42 тысяч слов, обозначена долгота гласных.

⁴ См. А. А. Холодович, О латинизации корейского письма, сб. «Сов. языковедение», т. I, Л., 1935; его же, Строй корейского языка, Л., 1938, стр. 9.

⁵ См. также Л. Р. Зиндер, Гласные корейского языка, «Сов. востоковедение», 1956, № 3.

⁶ См., например, характеристику северо-западного диалекта в работе Хан Ён Су на «Фонетические особенности диалекта области Ыйчжу-Пхихён провинции Северная Пхенандо» (журн. «Чосон ому», 1956, №№ 4, 5).

Несоразмерными оказались и отдельные части разделов «Морфология» и «Синтаксис». В разделе «Морфология» имени существительному уделяется 22 страницы, прилагательному — 9 страниц, а глаголу—108 страниц (больше, чем вся третья часть «Очерка»).

Другим недостатком книги, на наш взгляд, является то, что автор не разграничивает четко явлений морфологии и синтаксиса. В «Морфологии» даются иногда подробности чисто синтаксического характера (см., например, стр. 56, § 20 «Основные значения падежей»), в «Синтаксисе» же, наоборот, имеются большие пробелы. Совершенно не разработан, например, такой важный раздел, как «Придаточные со сказуемым в форме деепричастия», где автор ограничился ссылкой на «исчерпывающий материал» «Морфологии» (стр. 299).

Несколько замечаний о теоретических построениях автора, касающихся корейского слова. Прежде всего мы не можем согласиться с отождествлением понятий формы слова и формального признака грамматического значения [например, классифицируя окончания, автор пишет: «Именными окончаниями являются падежи» (стр. 29). Далее: «совместный падеж необязателен, он может пропускаться» (стр. 63); «Причастие — это позиционная категория, выраженная окончанием. Из этого следует, что все позиционные категории (залог, наклонение и т. д.), выражаемые суффиксами, предшествуют причастию» (стр. 135)]. Такое понимание формы слова в «Очерке» объясняется влиянием традиционной для корейского языкознания точки зрения, согласно которой почти все показатели грамматических категорий рассматривались (а большинство из них и сейчас еще продолжает рассматриваться) как служебные слова.

Большое принципиальное значение имеет вопрос о форме словосочетания в агглютинирующих языках, каким является корейский. В «Очерке» есть лишь весьма отдаленный намек на постановку этого вопроса (в связи с морфемой *ке* и образованием так называемых «паречисловных словосочетаний»; см. стр. 195—196, а также примеч. 2 на стр. 67). Незаботанность вопросов формы словосочетания обуславливает возможность различного их толкования. Так, например, автор утверждает, что «падежное окончание предшествует послелогу» (стр. 53). Нам же кажется: если падежное окончание является элементом формы слова, то оно предшествует послелогу, а в том случае, когда оно является элементом формы словосочетания, оно может следовать за послелогом. Еще один пример. Автор выделяет так называемый «дательно-винительный падеж одушевленных имен» и приводит пример, в котором, как мы считаем, окончание винительного падежа относится к словосочетанию и не может рассматриваться как элемент формы слова *чхиңгу* (стр. 65). Словосочетанию, так же как и слову, присуща способность формоизменения. Как известно, ряд морфем при этом проявляет своеобразную «самостоятельность», расширяющую сферу их употребления и приближающую их по функции к служебному слову. В связи с этим представляется важным разграничение различных окончаний (например, окончаний «падежей второй серии» и др.), которые сейчас недифференцированно относятся к формам слова.

С проблемой формы слова связан и вопрос о «корневом комплексе». Под термином «корневой комплекс» в «Очерке» объединяются все сложные слова — и корнесложные и основосложные (в том числе такие, в составе которых, кроме корней, есть и аффиксы). Понятие корневого комплекса так широко, что оно включает в себя и словосочетания (по терминологии автора «Очерка», «многочленные комплексы»—2+2, например: *кукка-кигван* «государственный аппарат», стр. 39). Таким образом, исчезают границы, с одной стороны, между морфемой и словом (и не только простым, но и сложным), а с другой — между словом и словосочетанием.

На наш взгляд, не является удачной принятая в «Очерке» классификация предложений по составу. Автор предлагает различать односоставные (стр. 241) и одночленные (стр. 269) предложения, понимая под односоставными и те предложения, в которых есть и подлежащее и сказуемое. Односоставным такое предложение считается потому, что в нем высказывается неизвестное и нет другого состава, в котором высказывалось бы известное. В двусоставном же предложении (по мнению автора) одна часть высказывает известное, другая — неизвестное. Думается, что при таком подходе грамматический анализ предложения приносится в жертву анализу логическому.

Что касается классификации придаточных предложений, то, пожалуй, было бы рациональнее подразделить их сначала по значению и в каждом из выделенных видов провести более дробную классификацию по форме, по способу подчинения придаточного предложения главному. В рецензируемой же работе предложения, имеющие одно и то же значение, но подчиняемые главному различными средствами, оказываются в разных местах. Так, «предложению-подлежащему», например, посвящены три параграфа (§§ 127, 129, 139) и т. д.

Оригинальным, по все-таки спорным является выделение «дополнений особого рода». Во всяком случае этой новой точкой зрения не опровергается существовавшее ранее мнение, согласно которому предложения типа *На-нын хорань-га мусопта* «Я тигр страшней» (т. е. «Что касается меня, то тигр страшней»=«Я боюсь тигров») считаются сложными с придаточным-сказуемым. Недостаточно ограничиться заявлением о том, что эти предложения «просты потому, что имеют только одно, а не два сказуемых, и,

следовательно, не способны распадаться на главное и придаточное предложения» (стр. 254). Известно, что придаточное-сказуемое как раз и замещает отсутствующее сказуемое главного предложения. В этой связи трудно согласиться и с решением вопроса о придаточном сказуемом в корейском языке. Автор берет лишь один частный случай и делает общий вывод: «Предложенно-сказуемое имеет в корейском языке причинное значение» (стр. 298). Это, по нашему мнению, неверно. Не всякое придаточное предложение сказуемое имеет причинное значение.

Много в «Очерке» положений, которые автором недостаточно обоснованы. Таково, например, выделение сравнительного и некоторых других падежей (стр. 54—55), так называемых «классов существительных» и «предметных числительных» (стр. 49), трактовка аналитической формы (стр. 179 и др.), так называемых очного и заочного наклонений (стр. 125—129), решение вопроса о придаточных предложениях в корейском языке (стр. 272 и др.), о лексико-грамматической принадлежности слов *итта* «быть, иметься» и *этта* «не быть, не иметься» (стр. 187, 189) и т. д. Весьма досадно, что для иллюстрации того или иного теоретического положения автор дает иногда лишь один пример и то без ссылки на источник (см., например, стр. 98, где «будущее время относительное» автор иллюстрирует единственным и притом не вполне достоверным примером).

Следует отметить, что в «Очерке» имеются некоторые неточности и ошибки. Например, формы *сэткэра*, *анчжэ-шткэра* и др. не имеют отношения к прошедшему времени (стр. 97 и 133), а восходят к формам *сэ-шткэра*, *анчжа-шткэра* и др. На стр. 180 автор отмечает, что «второй инфинитив почти никогда не субстантивизируется». На самом деле в современном корейском языке (если согласиться с точкой зрения А. А. Холодовича по вопросу о субстантивации) это один из очень продуктивных способов словообразования. Устарело положение о том, что «корейцы пишут сверху вниз и справа налево» (стр. 11). В большинстве печатных (газеты, журналы, учебники и т. д.) и рукописных текстов принцип записи теперь, как известно, иной — в горизонтальную строчку слева направо.

Имеются в «Очерке» ошибочные и неудачные переводы. Например, на стр. 281 и 297 переведено: «Писать слева направо удобнее, чем сверху вниз», а следует перевести: «Читать написанное слева направо удобнее, чем написанное сверху вниз». См. также стр. 60, 65, 282, 305.

Как нам кажется, существенным упущением данной книги (тем более, что это учебное пособие) является отсутствие библиографии и ссылок в тексте. Автор тем самым не помогает читателю расширить свой кругозор в области корейского языкознания.

Неоправданным представляется порядок изложения в первых разделах «Синтаксиса», где последовательность расположения материала определяется тем, насколько то или иное явление, как говорит автор, «легко поддается объяснению» (см. стр. 236 и далее).

Несколько замечаний по терминологии. Неудачны, по нашему мнению, термины «суффикс-слово» (стр. 26), «подвижной суффикс словоизменения» (стр. 28), «база» (стр. 39), а также выражения «синтаксические потенции» (стр. 199) и «творительный с бывшим послелогом» (стр. 178). Нежелательный для учебного пособия разнород в терминологии и формулировках является следствием колебаний автора в решении ряда вопросов. «Сонант *э*» (стр. 19), кроме того, называется «неслогообразующим кратким *у*» (стр. 11). «Дифтонгоиды» называются еще «йотированными гласными» (стр. 7). Ср. также: «совместный падеж» (стр. 55), он же «соединительный падеж» (стр. 252); «повелительное и пригласительное наклонения» (стр. 165), но «повелительно-пригласительное наклонение» (стр. 132, 188 и др.). На стр. 201, 217 морфема *сэ* названа падежным окончанием, но в разделе склонения она не отнесена к какому-либо определенному падежу и т. п.

Досадно, что в книге допущено большое количество орфографических ошибок и отклонений от общепринятых норм корейской орфографии, а также ошибок и погрешностей в транскрипции.

*

В заключение следует сказать, что наличие в «Очерке» отмеченных выше недостатков и спорных положений вполне естественно и объяснимо, так как рецензируемая книга является одной из первых попыток систематического описания корейской грамматики на русском языке. Следует подчеркнуть, что наличие этих погрешностей ни в какой мере не снижает ценности этого полезного и интересного труда.

«Очерк грамматики корейского языка» А. А. Холодовича представляет несомненный интерес не только для исследователей корейского языка, но и для исследователей языков алтайской группы в силу предполагаемого родства корейского языка с тунгусо-маньчжурской группой языков.

Ю. Н. Мазур

Ernst Otto. Stand und Aufgabe der allgemeinen Sprachwissenschaft. — Berlin, 1954. 183 стр.

Книга Э. Отто «Состояние и задачи общего языкознания» включает предисловие, семь глав, предметный указатель и список наиболее часто упоминаемых произведений. В предисловии автор подчеркивает, что его методологические установки, в основном не отличаются от принципов основоположников сравнительно-исторического метода в языкознании. Эти принципы, однако, автор развивает в направлении, намеченном Гумбольдтом.

Целью работы является не только «систематическое разъяснение основных проблем языка», но и ряд философских вопросов, которые решаются Э. Отто в духе немецкой идеалистической философии XIX в.

Считая, что правильно понять и оценить ту или иную проблему можно лишь рассмотрев различные точки зрения в исторической последовательности, автор при изложении каждого вопроса приводит взгляды и высказывания лингвистов, психологов и философов от эпохи античности до наших дней. Это определяет порядок изложения материала.

Э. Отто заявляет о своем намерении исходить не из схемы, а из фактов отдельных языков. Чтобы избежать «односторонности суждения», в некоторых случаях привлекаются факты и неиндоевропейских языков.

В главе «Что такое общее языкознание?» излагается история общей грамматики начиная со времени грамматики Пор-Рояля (1660 г.) до середины XX в. Автор присоединяется к мнению Ельмслева, выступившего на VI Международном конгрессе лингвистов (1948) за разграничение терминов «универсальный» и «общий», понимая под «общими» такие лингвистические явления, которые реализуются во всех языках, где существуют сходные условия, а под «универсальными» — такие грамматические явления, которые реализуются при всех условиях без какого-либо ограничения.

В главу «Что такое значение?» делается попытка дифференцировать лексическое попятинное значение (Begriffshedeutung) и синтаксическое относительное значение (Beziehungsbedeutung). Эта дифференциация связывается с проблемой частей речи, с различием слов, самостоятельно обозначающих объекты, и слов служебных.

Носителями относительных значений могут выступать не только слова, но аффиксы, ударение и т. д. (3 глава). Все эти явления автор объединяет под названием «средства связи» (Beziehungsmittel), среди которых он выделяет 4 основных типа: 1) ударение, 2) флексию, 3) порядок слов и 4) значение определенной части речи (Wortart).

Средства связи имеют в языке различные проявления (Leistungen), исследование которых и составляет задачу синтаксиса.

Далее, в четвертой главе, Э. Отто переходит к вопросу о разделах языкознания. На основе различия понятийных слов и средств связи он противопоставляет лексику и синтаксис, т. е. учение о слове и учение о предложении; под предложением понимается «заключенная и расчлененная речь» (стр. 42). Автор предлагает идти от синтаксиса к лексике и затем к фонетике, однако проблемы фонетики в книге не затрагиваются. Указывается также, что в последнее время многие лингвисты выступили против разграничения синтаксиса и морфологии.

В пятой главе рассматривается проблема системы языка, родства языков и их классификации. Следуя за Гумбольдтом, автор говорит о духовной сущности типов языка (Kern) и связывает типологию с категориями духа (Geist).

В главе, названной «Учение о слове», раскрывается содержание некоторых важных семасиологических терминов и излагаются теории различных лингвистов о слове и значении слова.

В заключительной седьмой главе рассматривается влияние речевого акта на процесс изменения языка. Изменение языка связывается с изменением условий жизни народа, с духовными процессами и т. п.

В. П. Муран

Julius Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 1—10. — Bern, 1950—1956.

Цель рассматриваемого словаря — наиболее полно представить корневые слова, наличествующие не менее чем в двух языках различных ветвей индоевропейской семьи. При составлении Словаря использована богатая лингвистическая литература до 1947 г. Словарь пополнен фактами хеттского и тохарского языков.

По сравнению со словарем Вальде—Покорного (A. Walde—J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Berlin—Leipzig, 1927—1932) в построение словаря Ю. Покорного внесены следующие изменения: в отличие от словаря Вальде—Покорного материал располагается в алфавитном порядке; словарная статья сокращена за счет примеров из классических и германских языков, что дало возмож.

ность включить дополнительный материал малоизвестных языков; все ссылки на литературу даются в конце словарной статьи (автор ограничился ссылками на словарь Вальде — Покорного и более позднюю литературу).

Словарная статья открывается реконструированной формой индоевропейского корня, причем автор не следует ларингальной теории и новейшим теориям индоевропейского корня, сознательно не проводя четкого разграничения между корнем и словом. В основном реконструированные формы в словаре Ю. Покорного сохранились в том же виде, в каком они даны в Словаре Вальде — Покорного.

Особенностью Словаря является то, что неправильные и устаревшие, по мнению автора, этимологии не приводятся. В спорных случаях автор выбирает из нескольких этимологий одну, по его мнению, наиболее убедительную. Весь Словарь будет занимать приблизительно 13—14 выпусков; в настоящее время получено уже десять (1—960 стр.) — до словарной статьи (s) leidh-.

В. А. Дыбо

Alexander Jóhannesson. Isländisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 1—9.— Bern, 1951—1956. 1406, XXIII стр.

Словарь состоит из девяти выпусков. Целью Словаря является исследование всей лексики исландского языка с этимологической точки зрения.

В отличие от этимологического словаря Фалька и Торпа¹, в котором приведено около 5 тыс. исландских слов, преимущественно относящихся к древнему периоду развития исландского языка, в словаре Иоганессона приводится около 20 тыс. слов.

В основу Словаря положены индоевропейские корни. Строение отдельной словарной статьи следующее: приводятся индоевропейский корень, под которым, с новой строки, дается ключевое исландское слово (обычно в древней форме); в той же словарной статье приводятся производные от данного корня. Здесь же даются довольно обширные соответствия из других индоевропейских языков. По мнению автора, в исландском языке сохранилось 57% из 2200 индоевропейских корней, приводимых в словаре Вальде — Покорного².

В конце Словаря приводится алфавитный указатель индоевропейских корней в исландском языке и индекс исландских слов, а также слов, заимствованных исландским языком.

Особое внимание в Словаре уделено этимологическому исследованию поэтических слов, число которых достигает примерно 2000, а также исследованию мифологических имен. Имена собственные и географические названия, за редкими исключениями, в Словарь не включены. Как указывает автор, при составлении Словаря полностью использована богатая литература по исландскому языку, вышедшая до 1948 г. Литература, изданная в последующие годы, использована не полностью.

Г. С. Щур

J. E. Hulbert. Dictionaries British and American. — London, 1955. 107 стр.

Книга Дж. Халберта, написанная специально для «Language library», распадается по своему содержанию на две части. В первой части описывается история составления английских словарей, начиная с англо-саксонского периода и вплоть до наших дней. Автор уподобляет историю словаря эволюционному процессу в биологических науках. Подобно тому, как виды животных и растений прошли длинный путь изменений от простых организмов к сложным, точно так же и современные английские словари являются наследниками примитивных словарей ранних эпох, восходящих, в свою очередь, к практике толкования религиозных текстов — к составлению глосс. Первые английские словари XVI в., созданные в алфавитном порядке, преследуют либо цель объяснения трудных слов родного языка, либо цель подбора изысканного эквивалента «вульгарным», «простонародным» словам. Особое внимание автор уделяет истории созда-

¹ H. S. Falk und Alf. Torp, *Norwegisch — dänisches etymologisches Wörterbuch*, Teil I—II, Heidelberg, 1910—1911.

² A. Walde — J. Pokorny, *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen*, Berlin—Leipzig, 1926—1932.

ния «The Oxford English dictionary» и его последующих сокращений и словаря «Merriam—Webster», который он предпочитает всем остальным словарям Англии и Америки. В специальном разделе книги разбираются словари жаргонов.

Однако большая часть работы Дж. Халберта посвящена проблемам, связанным с задачами и методикой составления словарей. Автор пишет о необходимости учитывать материал словарей предшествующих эпох, пополняя его новыми данными. Он обращает внимание составителей словарей на желательность фиксации различий английского и американского произношения и правописания и подчеркивает важность этимологии, которая, по его мнению, позволяет судить о культурной истории народа. Чтобы установить правильную этимологию слова, необходимо учитывать следующие обстоятельства: 1) различия в звуках между словом и его предполагаемым источником должны объясняться фонетическими законами; 2) должна быть установлена разумная связь значений; 3) в случае заимствования должен быть исторический контакт между двумя культурами в то время, когда происходит самый процесс заимствования. Ряд замечаний автор делает о значении слов, об их определении, о характере построения словарной статьи, о путях и особых пометах к словам. В заключение автор говорит о том, как работать со словарем.

Книга Дж. Халберта является ценным пособием для специалистов.

А. И. Кузнецова

Charles Bruneau. Petite histoire de la langue française. T. I. — Paris, 1955.

XI, 284 стр.

Целью рассматриваемой работы является обобщение и популяризация фактов, собранных и проанализированных в других, более обширных и более специальных исследованиях. И эта цель достигнута, так как благодаря сравнительно небольшому размеру (рядом с многотомными историями французского языка К. Нюропа и Ф. Брюно), четкому и ясному расположению материала и простоте изложения книгу Ш. Брюно удобно использовать как справочник по отдельным вопросам, и вместе с тем она позволяет получить цельное представление о всем ходе развития французского литературного языка. В первом изданном томе освещается история французского языка от эпохи общероманской до революции 1789 г.

Можно указать на следующие особенности книги:

1. История языка дана в виде синхронного описания последовательно сменяющихся этапов его развития; таким образом, мы можем представить себе облик французского языка в XI—XII вв. или, например, в XVI в. В каждой главе имеются указания, какие изменения произошли по сравнению с предыдущим этапом.

2. История языка рассматривается в тесной связи с историей общества и литературы. При этом автор стремится тесно связать лингвистический и исторический материал, показать влияние на язык внесловесных факторов и роль языка в обществе.

3. В книге дается довольно подробный обзор памятников французского языка, а также грамматической литературы. Наиболее значительные из ранних текстов приводятся целиком (или в отрывках) с необходимым комментарием (так, например, даны «Страсбургские клятвы», «Кантылена о Святой Евлалии», «Шеснь о Роланде», «Хроника Виллардуэна» и др.). Более поздние памятники анализируются с точки зрения языка.

4. Хотя основным объектом работы является литературный язык, в ней освещаются вопросы просторечия и аргю, а также развитие французского языка за пределами Франции.

В книге использован обширный и интересный материал.

И. А. Мельчук

Ernst Leisi. Das heutige Englisch. Wesenszüge und Probleme. — Heidelberg, 1955. 228 стр.

Э. Лейси — доцент Кильского университета, специалист по англистике. Аннотируемая книга Лейси «Современный английский язык. Основные черты и проблемы» состоит из предисловия, введения и шести глав. Во введении излагаются задачи работы и методы, применяемые в ней, объясняются сокращения и условные знаки и приводится общая библиография. В конце каждого раздела книги указываются исследования, специально посвященные рассматриваемым проблемам.

Книга Лайси представляет собой попытку научного описания системы современного английского языка в ее существенных чертах. Автор предупреждает, что от его книги нельзя требовать оригинальности: оригинальность в работах подобного рода надо искать не столько в самих деталях, сколько в их отборе, трактовке и связи. Э. Лайси указывает, что в англистике на континенте и, в частности, в Германии существует разрыв между научным и практическим изучением языка, что с научной точки зрения исследуется язык лишь на древних этапах развития, а современный язык изучается исключительно в практических целях. Объясняется это тем, что перед описательным анализом языка стоят гораздо большие трудности, чем перед историческим. Кроме того, недостаточно разработана методика описательного исследования языка. В связи с этим автор останавливается на двух методах исследования системы современного языка — структуральном и психологическом — и обращает внимание на их недостатки.

Рассматриваемая книга предназначена для изучающих английский язык на континенте, т. е. для неангличан, поэтому она строится на широком сопоставлении фактов английского языка с соответствующими явлениями в немецком и французском языках. В первой главе «Звук и письмо» анализируются особенности ритмики, ударения и интонации в английском языке, связь типов интонации с определенными типами предложения, а также отдельные своеобразные звуки английского языка и их функции, т. е. вопрос о фонологических противопоставлениях, используемых для выражения различий в значении.

Далее прослеживаются изменения, которые в результате различных звуковых процессов возникают в словарном составе и грамматическом строе английского языка, — изменения в структуре слов, в системе склонения и спряжения, в словообразовании, развитие омонимии (в книге употребляется термин «омофония»), которую автор считает одной из наиболее ярких особенностей современного английского языка, и, наконец, существенное расхождение между написанием и произношением английских слов.

Во второй главе «Смешанный словарный состав» ставится вопрос о своеобразии развития английской лексики, о многочисленных заимствованиях и других явлениях, имевших важные последствия для языка. Э. Лайси отмечает некоторые из этих последствий — образование обширных синонимических рядов, появление большого количества «трудных» (hard) слов, сделавшее толковые словари в Англии необходимостью, формирование семанτικο-словообразовательных гнезд, включающих слова разных корней и различного происхождения и т. п.

В третьей главе «Форма и значение слова» автор обращается к проблемам английского словообразования и выделяет три основных способа образования слов: 1) путем отбрасывания элементов (Absreißung), 2) путем перехода слов из одной части речи в другую без каких-либо формальных изменений (так называемая конверсия) и 3) путем постановки слов в определенные (устойчивые) связи с другими словами. Указанные способы словообразования подробно анализируются, например, явление конверсии рассматривается как в плане историческом, так и в синхроническом в связи с проблемой частей речи в английском языке. Автор полагает, что английские слова имеют в настоящее время «скрытое» значение частей речи, которое проявляется в определенном контексте, что категория частей речи является сейчас категорией функциональной, а не формальной, причем изменение функции слова может быть стилистически нейтральным (например, конверсия существительное — глагол и др.) или создавать определенный стилистический эффект.

Четвертая глава «Грамматический строй» посвящена анализу грамматических категорий английского языка, которые автор подразделяет на «усилившиеся» и «ослабевшие». К числу развивающихся категорий Э. Лайси относит вид (различие между «прогрессивной» и «обычной» формой глагола) и время и детально прослеживает функции отдельных форм и их стилистическое использование. Ослабевшие грамматические категории — род, падеж, наклонение и, отчасти, число — также подвергаются анализу в сопоставлении с фактами немецкого и французского языков.

В пятой главе «Расслоение английского языка» раскрывается содержание различных терминов, применяемых для характеристики разновидностей английского языка: «Standard English», «Vulgar English», «Popular Speech», «Common English», «Colloquial English», «Literary English», «Slang», «Cant», «Jargon» и др.

Стандартный английский язык, как нормализованный литературный язык образованных людей, противопоставляется различным диалектам, а также вульгарному и простонародному языку. Термины «Common», «Colloquial», «Literary», «Slang» и др. автор в основном применяет только к лексике. Так, под «Common English» понимаются те слова, которые встречаются во всех стилях, в отличие от «Literary» и «Colloquial», которые встречаются соответственно в языковой речи и в речи разговорной. В конце главы приводятся схемы, иллюстрирующие своеобразие стилистических систем английского, немецкого и французского языков.

В последней, шестой, главе рассматриваются проблемы, связанные с использованием английского языка как языка международного, а также судьбы английского языка в США, Австралии, Канаде и т. д. Автор возражает против выделения американ-

ского языка как языка самостоятельного, призывая не смешивать языковые факты и политику. Сопоставляя американский вариант английского языка с британским, Э. Лайси показывает их большое сходство и вместе с тем своеобразие.

В. П. Мурат

Hans Weber. Das Tempussystem des Deutschen und des Französischen. Übersetzungen und Strukturprobleme. (*Romanica Helvetica*, vol. 45). — Bern, 1954. 275 стр.

Исследование швейцарского языковеда Г. Вебера продолжает традицию сопоставительного изучения французского и немецкого языков, идущую от Ш. Балли¹. На этот раз сопоставляются системы глагольных времен обоих языков. Книга представляет собой авторскую переработку диссертации, сокращенной за счет «непрямых» времен, и использует результаты структурно-сопоставительного изучения языков в немецком семинаре в Дюрхе.

В кратком введении Г. Вебер раскрывает свои взгляды на роль сопоставления как средства уяснения «сущности» (*das Wesen*) отдельных форм времени. В качестве сопоставительного материала автор выбирает двусторонние переводы (с французских и немецких оригиналов), подобранные с таким расчетом, чтобы сгладить индивидуальные особенности стили разных авторов и переводчиков. Целью работы является уяснение общего характера систем времен в обоих языках.

Плодотворное сопоставление форм Г. Вебер считает возможным лишь исходя из предположения, что в основе каждой формы времени лежит единый и определенный «угол зрения» (*Art der Schau*) на явление, выраженное глаголом.

Такое понимание форм времени, психологическое в своей основе, опирается на трактовку времени, представленную в книге Ж. Дамурета и Э. Пижона².

Автор предостерегает от обычного смещения формы времени с прочими, контекстными, средствами датировки явления, а также отказывается определять форму времени (*Tempus*) через какой-либо пункт отсчета: и в том, и в другом случае форма времени распадается на отдельные функции, что исключает, по мнению автора, возможность сопоставления.

Единая психологическая «сущность» каждой формы выдвигается автором сначала в виде гипотезы, которая доказывается затем в ходе конкретного анализа причин разной передачи данной формы формами другого языка. Г. Вебер отрицает механическую замену разносистемных форм. Подлинный перевод заключается в употреблении той формы, которая в данной ситуации оказывается по своей «сущности» наиболее подходящей для выражения соответствующей функции, предложенной в оригинале.

Работа Г. Вебера состоит из трех разделов, посвященных, соответственно, сопоставлению «настоящих», «прошедших» и «будущих» времен. В каждом из трех разделов автор рассматривает сначала перевод предложенных «сущностей» при помощи приблизительно эквивалентных форм другого языка, а затем при помощи неграмматических, описательных средств (контекста). Анализ всех возможных способов перевода какой-либо формы каждый раз кратко резюмируется. В конце разделов помещены таблицы «сущностей» французских и немецких форм, как они были выявлены в ходе анализа. При определении «сущности» той или иной формы Вебер учитывает различные трактовки времен в разных работах, список которых, отдельно по французскому и немецкому языкам, приводится в начале книги.

Книга заканчивается общим обзором систем временных форм обоих языков и сравнением полученных результатов с результатами исследования других лингвистов. Написанная просто и доступно, работа Г. Вебера может быть использована как для преподавания рассматриваемых языков, так и для теории и практики перевода.

Ю. С. Мартемьянов

T. W. Thacker. The relationship of the Semitic and Egyptian verbal systems. — Oxford, 1954. 342 стр.

Книга Т. В. Теккера «Родство семитской и египетской глагольных систем» является одним из последних исследований глагольной системы семитских языков. Среди по-

¹ См. Ch. B a l l y, *Linguistique générale et linguistique française*, 3-e éd., Berne, 1950.

² J. D a m o u r e t t e et E. P i c h o n, *Essai de grammaire de la langue française*, 1911—1936, t. V, Paris, [1936].

явившихся за последние 60 лет работ, посвященных данному вопросу, наиболее поздними и известными являются книги Дж. Драйвера (G. R. Driver, *Problems of the Hebrew verbal system*, Edinburg, 1936) и А. Гардинера (A. H. Gardiner, *Egyptian grammar*, 2-d ed., London, 1950). Работа Т. В. Теккера предназначена для читателей с определенной лингвистической подготовкой в области семитологии. Она может быть использована специалистами, занимающимися проблемой общности семито-хамитской группы языков, хотя автор из хамитских языков привлекает для сравнения только египетский язык.

Автор ставит перед собой задачу — на основе анализа и сравнения глагольных систем египетского и семитских языков выяснить положение египетского языка в системе семито-хамитской языковой группы. В книге, в частности, разбираются следующие вопросы: 1) какими глагольными формами обладают обе языковые системы; 2) функции и значения каждой глагольной формы; 3) синтаксис глагольных форм; 4) морфологические особенности глагольных форм; 5) вид и происхождение словообразующих элементов.

Работа состоит из 16 глав, введения и приложения и распадается на две части. Первая часть «Исследования по вокализации египетской глагольной системы» состоит из трех глав и является вводным разделом. Автор считает, что, не проведя подготовительной работы по восстановлению египетских гласных звуков, нельзя приступить к серьезному изучению морфологии египетского языка. Во второй части «Сравнительные исследования», состоящей из 13 глав, проводятся сравнения египетской и семитской глагольных систем. В каждой главе после краткого вступления вначале рассматривается и анализируется семитский материал, затем в таком же порядке — египетский. В конце главы приводятся доказательства родства этих языковых систем по данному разделу грамматики. В последней главе автор говорит о системе в целом и высказывает свои соображения о взаимоотношении египетского и семитских языков. В данном случае, как замечает автор, существуют три основных мнения: 1) египетская система в своей основе несемитская, а обладает семитскими наслоениями, или наоборот; 2) семитская и египетская системы совершенно самостоятельны, по временам их пути развития были параллельны; 3) египетская и семитская системы — ветви одной прасистемы. Они разъединились на ранней ступени развития и развиваются каждая по своему пути.

В результате исследования Т. В. Теккер приводит наиболее убедительным третий из приведенных тезисов и приходит к выводу, что протосемитский и протоегипетский языки были одним языком. В книге приводятся многочисленные ссылки на семитологическую литературу.

Н. К. Усманов

Bibliographie linguistique des années 1939—1953. Publiée par le Comité international permanent de linguistes avec une subvention de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture. — Utrecht — Bruxelles — Anvers, 1949—1955.

18 ноября 1946 г. Постоянный международный комитет лингвистов, возглавляемый А. Sommerfeldом (Осло), вынес решение о публикации библиографического пособия по языкознанию и обратился к языковедам всех стран с просьбой оказать ему помощь в этом начинании.

Первоначальной целью справочного издания было восполнение пробелов в библиографии по языкознанию за военные годы; первые два тома библиографии охватывают 1939—1947 гг.

Начиная с 1951 г. Постоянный международный комитет лингвистов (при материальном содействии ЮНЕСКО) осуществляет ежегодный выпуск этого библиографического справочника. Последний его том, вышедший в 1955 г., охватывает материал за 1953 г.

По своему построению каждый из восьми вышедших до настоящего времени томов является систематическим указателем статей и книг по языкознанию, опубликованных в любой части света, но только на европейских языках. Таким образом, материалы на языках, пользующихся иероглификой или национальными алфавитами, в библиографию не попадают.

Схема классификации материала, принятая в справочнике, была разработана Ж. Ганьеном (Парижский университет); в ее создании принимали участие такие видные лингвисты, как Э. Бенвенист и Ж. Вандриес.

В каждом томе после общего раздела, включающего материал библиографического, биографического и справочного характера, следует раздел «Общее языкознание и смежные дисциплины»; в нем специально выделены вопросы фонетики, фонологии, лингвистической

стической географии, стилистики и т. д. Специальная рубрика отводится вопросу о межязыковых связях. Далее располагается материал по отдельным языкам, сгруппированный вокруг основных языковых семей и групп языков. В конце второго и последующих томов имеется алфавитный именной указатель.

Указанное расположение материала делает библиографический справочник простым и удобным для пользования; в нем легко отыскать необходимый материал по отдельному языку или группе языков. Правда, при поисках библиографии на более узкую тему приходится просмотреть несколько страниц материала. О полноте справочника можно судить хотя бы по тому, что каждый том охватывает от 5 до 6 тысяч названий книг и статей из более чем 400 периодических изданий.

К сожалению, следует отметить, что советское языкознание представлено в справочнике лишь несколькими периодическими изданиями; специальные издания многих институтов иностранных языков и даже университетов типа «Труды» и «Ученые записки» в справочнике отражения не находят.

Можно было бы указать на некоторые отдельные недостатки справочника, неизбежные, впрочем, в изданиях такого рода. В нем, например, с неодинаковой полнотой представлены данные об отдельных языках, иные разделы перегружены материалом смежных с языкознанием дисциплин (фольклористика, эпиграфика и т. д.), не всегда даны переводы заглавий книг и статей, написанных на менее известных языках.

Однако, взятое в целом, это библиографическое пособие является, несомненно, лучшим из существовавших до сих пор — оно представляет собой ценнейшее справочное издание, необходимое каждому языковеду.

Е. С. Кубрякова

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖВУЗОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЯЗЫКОВЕДОВ

С 1 по 5 октября 1956 г. в Москве, в помещении Московского государственного университета, работало Межвузовское совещание языковедов, созванное Министерством высшего образования СССР и посвященное принципам построения лингвистических курсов в высших учебных заведениях СССР. На совещании присутствовало свыше 150 работников языковедческих кафедр университетов и педагогических институтов страны, а также зарубежные гости: болгарские языковеды — акад. В. Георгиев и проф. Й. Андрейчин и французский славист проф. А. Мазон.

Совещание открыл кратким вступительным словом представитель Оргкомитета проф. Т. П. Ломтев (МГУ). Т. П. Ломтев напомнил о том, что одной из важнейших задач, поставленных XX съездом КПСС перед советской высшей школой, является дальнейшее повышение уровня научно-исследовательской работы. Наше языкознание со времени лингвистической дискуссии 1950 г., развернувшейся на страницах «Правды», сделало несомненный шаг вперед. Но языковедческая работа имеет еще серьезные недостатки, объясняемые во многом последствием культа личности, нанесшего немалый вред советскому языкознанию. Недостатки в научно-исследовательской работе сказываются и на постановке преподавания лингвистических дисциплин в университетах и педагогических институтах. Все эти недостатки не могут быть изжиты без свободного обмена мнениями по спорным научным и методическим вопросам.

Внимание участников совещания были предложены доклады о задачах и содержании курсов общего языкознания, истории русского литературного языка, исторической грамматики русского языка, современного русского языка и сравнительной грамматики славянских языков.

Акад. В. В. Виноградов посвятил свой доклад задачам, стоящим перед языковедами, изучающими историю русского литературного языка и читающими соответствующие курсы в вузах. «Вопросы образования и развития литературных языков в настоящее время относятся во всем мире к числу актуальнейших проблем современного языкознания», — сказал докладчик. Между тем число спорных, слабо разработанных вопросов в науке о литературном языке и его истории довольно велико. Уже самый термин «литературный язык» наполняется у различных языковедов разным содержанием. В. В. Виноградов приводит в качестве примера определения понятия «литературный язык» в трудах А. И. Соболевского, Б. В. Томашевского, П. Я. Черных и других лингвистов. Часто не проводится границы между понятиями «литературный язык» и «письменный язык». Наблюдается также отождествление понятий «литературный язык» и «язык художественной литературы». Упорядочение терминов, четкое определение понятий, с которыми имеют дело исследователи литературного языка, — одна из первоочередных задач языковедов.

Далее докладчик переходит к рассмотрению некоторых существенных вопросов истории русского литературного языка. Слабо исследован, в частности, вопрос о влиянии деловой письменности на литературный язык в разные периоды его истории. Это признается всеми, но самый процесс влияния изучается мало, так же как мало исследуется процесс изменения самого языка деловой письменности под влиянием языка художественной литературы. Немало предстоит работы и в области изучения воздействия языка народной словесности на литературный язык. «Язык народной поэзии является важным цементирующим элементом в системе русского национального языка. Именно в недрах устного народного творчества XIV—XV вв. закладывался фундамент будущего русского национального языка», — сказал докладчик. Переходя далее к вопросу о взаимодействии и исторических связях литературного языка и языка художественной литературы, В. В. Виноградов еще раз подчеркивает недопустимость отождествления понятий «литературный язык» и «язык художественной литературы». Смешение этих понятий ведет к тому, что зачастую в курсах истории русского литературного языка слишком много места уделяется анализу языка писателей, но не указывается на связь языка художественной литературы того или иного периода с общими процессами и закономерностями истории русского языка.

Следующая важная задача — дать связную картину развития звукового строя, грамматики и лексики русского литературного языка. В тех же работах, которые мы имеем (труды Е. Ф. Будде, В. В. Виноградова, А. И. Ефимова и др.), больше всего внимания уделяется развитию лексики и не дается периодизации фонетических и грамматических изменений. «Ошибочно и односторонне мнение, — говорит акад. В. В. Виноградов, — будто специфика литературного языка заключается главным образом в его лексико-фразеологическом строе и в сложной системе стилей. Изучение развития типов литературного языка, стилей языка, стилей речи должно опираться на результаты разработки исторической фонетики, исторической грамматики и исторической лексикологии русского литературного языка».

Не может считаться достаточно разработанной и проблема исторических взаимодействий и соотношения народно-русской и старославянской стихий в русском литературном языке. Почти нет работ о норме литературного языка, об исторической изменчивости нормы, о разной степени обязательности нормы в разные периоды жизни общества и развития языка.

Наконец, совершенно необходимо выработать четкую периодизацию истории литературного языка, стараясь при этом избегать механического перенесения периодизации истории народа на периодизацию истории языка. Докладчик говорит: «При исследовании вопроса о периодизации истории русского языка целесообразно исходить сначала из периодизации развития отдельных частей структуры литературного языка: его произносительной нормы, его морфологического и синтаксического строя и лексико-фразеологического состава». Задачей будущих исследователей является объединение и синтез всех этих частных периодизаций.

Во второй день работы совещания с докладом «О некоторых проблемах советского языкознания в связи с преподаванием общезыковедческих дисциплин» выступил доц. В. А. З в е г и н ц е в (МГУ). Он сообщил о новых программах по общезыковедческим дисциплинам. Эти программы предусматривают три отдельных курса: «Введение в языкознание», «История языкознания» и «Общее языкознание». Наибольшие трудности, очевидно, представит чтение курса «История языкознания»; основная трудность заключается в крайне малом количестве необходимых пособий. Этот пробел отчасти восполняется вышедшими и выходящими в ближайшее время выпусками «Материалов к курсам языкознания» (изд. МГУ). Скоро выйдут из печати и другие пособия. Будут изданы и переизданы труды виднейших русских и зарубежных языковедов.

Новые программы не дают подробного раскрытия отдельных понятий или проблем, предоставляя, таким образом, свободу лектору в освещении спорных вопросов.

Вследствие культа личности дискуссия 1950 г. дала гораздо меньшие результаты, чем можно было ожидать, так как схемы и догмы «нового учения о языке» зачастую просто заменялись другими схемами и догмами. Борьба с культом личности в науке о языке не заключается только в механическом изъятии цитат И. В. Сталина из наших работ. В течение ряда лет в определенном аспекте планировалась научная тематика, решались конкретные лингвистические проблемы. При этом создавались ненужные сложности, ставились искусственные ограничения.

В свете борьбы с культом личности необходимо выработать отношение методологических принципов советского языкознания к специальным методам научного исследования и к решению частных лингвистических проблем. С 1950 г. в качестве основного метода научного исследования в языкознании был принят сравнительно-исторический метод. Сделано это было потому, что в работе И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» этому методу было отдано предпочтение перед «четырёхэлементным анализом» Марра, так как сравнительно-исторический метод «толкает к изучению языков». Но к изучению языков толкают и другие методы, например, метод структурального анализа. Не исключая применения сравнительно-исторического метода, нельзя ограничиваться только им, так как он имеет ряд серьезных недостатков.

Надо пересмотреть наши критерии того, что в языкознании следует считать марксистским, а что немарксистским. В период господства культа личности это часто определялось административным путем, что нанесло немало вреда советскому языкознанию. В этом следует видеть причины того, что советская наука о языке — особенно в последние годы — не дала тех результатов, на которые мы вправе были рассчитывать при наличии большого количества квалифицированных и талантливых языковедов.

Характеризуя методологию как совокупность философских принципов, определяющих способ подхода к действительности и познания действительности, а метод — как совокупность рабочих приемов научного исследования, В. А. Звегинцев говорит, что метод занимает подчиненное по отношению к методологии положение. Один и тот же метод может быть использован в разных науках. Так, сравнительно-исторический метод был перенесен в языкознание из других наук. Структуральный метод исследования тоже свойствен ряду наук. Универсализация того или иного частного метода ведет к застою в науке. Так было у младограмматиков, которые не мыслили себе иных задач, кроме тех, которые возможно решить при помощи сравнительно-исторического метода. В научных исследованиях нельзя ограничиваться применением какого-либо

одного метода. Сравнительно-историческое языкознание не исключает применения структурального метода, что видно хотя бы из работ молодого Соссюра.

По мнению В. А. Звегинцева, общие проблемы должны быть решены в советском языкознании однозначно, частные же проблемы в ряде случаев допускают различные решения, не противоречащие, однако, общим методологическим основам марксистского языкознания.

Докладчик излагает свою точку зрения на работу И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Догматизация положений Сталина, содержащихся в этой работе, явилась препятствием на пути развития советской науки о языке. Правда, эта работа сыграла в свое время положительную роль, нанеся решающий удар господству в языкознании «нового учения о языке». Но, во-первых, верные положения, высказанные Сталиным, не принадлежат собственно ему и давно являются достоянием языкознания (например определение языка, определение грамматики). А во-вторых, в работе Сталина есть и неверные положения, неточные формулировки. Так, приводя верную марксистскую формулу о единстве языка и мышления, Сталин делает, по мнению докладчика, ошибку, говоря о том, что «оголенных», свободных от языковой материи мыслей не существует. Психология учит, что помимо мышления понятиями, которое действительно всегда является словесным, существуют образное и техническое мышления, которые могут и не облекаться в языковую форму.

Проф. Е. М. Галкина-Федорук (МГУ) сделала доклад «Задачи и содержание курса современного русского литературного языка в системе лингвистического образования».

«Задачи курса „Современный русский литературный язык“, — говорит Е. М. Галкина-Федорук, — вытекают из современных задач филологических факультетов, призванных на данном этапе подготовить высококвалифицированных учителей средней школы». Преподаватель вуза, читая лекцию или руководя практическими занятиями, должен помнить, что он готовит учителей русского языка. Это и должно определять принципы и содержание курса современного русского языка. Отсюда следует прежде всего, что при чтении курса нельзя слишком много внимания уделять спорным положениям, подробной истории разработки каждого частного вопроса и т. п. Не следует воспитывать студентов (особенно младших курсов) в духе преждевременного критицизма и негативизма. Все спорные вопросы, неустановившиеся точки зрения можно излагать в шпечурсах. Но в своей научно-исследовательской работе языковеды должны разрешить, наконец, спорные вопросы, которых немало в науке о русском литературном языке. Совершенно необходимо, например, прийти к единому мнению в вопросе о принципах выделения частей речи в русском языке. Тогда значительно уменьшится количество частных спорных вопросов: о залогах глагола, о сущности категории вида и т. д. Очень много нерешенных вопросов и в области синтаксиса.

Говоря далее о программах языковедческих курсов, докладчик высказывает мнение, что вред дублирования одних и тех же вопросов в разных курсах не следует преувеличивать: если во «Введении в языкознание» дается общая лингвистическая трактовка того или иного понятия, то, например, в курсе «Современный русский язык» то же понятие раскрывается в применении к конкретным фактам русского языка.

В конце доклада Е. М. Галкина-Федорук говорит о задачах практических занятий по курсу современного русского языка. Эти задачи таковы: 1) закрепление знаний, полученных на лекциях; 2) изучение разделов, мало освещенных в лекциях; 3) установление связи школьной и научной грамматики; 4) ознакомление студентов с разными точками зрения на отдельные вопросы. Только благодаря умелому сочетанию всех форм преподавания (лекций, практических занятий, спецкурсов, просеминариев) можно воспитать будущего учителя русского языка.

Следующий докладчик, проф. Т. П. Ломтев (МГУ), темой своего доклада сделал предмет, задачи и содержание курса сравнительной грамматики восточнославянских языков. Этот курс необходим в системе образования учителя-словесника. Изучение сравнительной грамматики восточнославянских языков было традицией старой русской университетской науки. Поэтому этот курс включается теперь в программы филологических факультетов университетов. В читаемых в настоящее время курсах мало внимания уделяется специфике развития русского языка в отличие от развития близко родственных украинского и белорусского языков. В курсе старославянского языка изучаются обычно и элементы общеславянского языка. Это неправомерно: нельзя изучать общеславянский язык только попутно, при изучении одного из конкретных славянских языков. Необходимо выделить изучение общеславянского языка-основы в самостоятельный курс или раздел курса. Курс сравнительной грамматики восточнославянских языков имеет свои задачи и свой предмет: в нем следует заниматься реконструкцией общерусского языка-основы от момента его вычленения из общеславянского языка, его историей до расчленения на отдельные языки, изучением своеобразия развития русского, украинского, белорусского языков. Такой курс предоставляет более широкие возможности для так называемой внешней реконструкции языковых фактов русского языка. Нельзя, однако, сводить изучение сравнительной грамматики восточнославянских языков к сумме сведений об истории отдельных языков. Этот курс

должен обобщать параллельные процессы, протекавшие в отдельных языках, и исследовать только общее направление развития, в то время как в курсах истории отдельных восточнославянских языков все языковые процессы рассматриваются в их конкретно-исторической полноте.

С докладом «О построении курса исторической грамматики русского языка» выступил проф. П. С. Кузнецов (ИЯ АН СССР и МГУ). Докладчик говорит, что целью курса является показ развития живого русского языка, начиная с древнейших дошедших до нас памятников. Название «Историческая грамматика» не вполне точно, так как в этом курсе изучаются также фонетика и лексика. Следовало бы восстановить старое название этого курса: «История русского языка». Когда мы говорим об основных разделах курса и порядке изложения материала, следует помнить, что изменения в разных частях системы языка происходят не одновременно. Поэтому построение курса предусматривает знание истории языка не по историческим периодам, а в порядке систематического изучения отдельных сторон языка (фонетика, морфология, синтаксис). Перед чтением основных разделов курса следует дать небольшую вводную часть, в которой надо рассказать об основных перспективах развития языка. Центральными разделами курса следует признать фонетику и морфологию.

Надо приучать студентов самостоятельно мыслить; поэтому нельзя на лекциях просто перечислить отдельные явления — необходимо их объяснять, показывая при этом системный характер языка, связь отдельных его сторон. Так, при изучении чередований можно показать связь фонетики и морфологии, при изложении вопроса о становлении категории одушевленности в русском языке необходимо подчеркнуть связь морфологии и синтаксиса и т. д. При изложении спорных вопросов надо обязательно давать свою точку зрения.

Далее докладчик останавливается на связи истории языка с историей народа. Эта связь несомненна, но надо четко представлять себе, в чем она проявляется. Ее можно заметить при изучении вопроса о распространении того или иного языкового явления на отдельные диалекты. Но возникновение отдельных явлений в языке, как правило, не связано с историей народа, если не считать фактов заимствования (так, существует точка зрения, к которой присоединяется и докладчик, что «доканье» в русских говорах является чертой, заимствованной из угро-финских языков).

В конце доклада П. С. Кузнецов подверг критике некоторые положения работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»: общепризнана теперь ошибочность положения, что в основу русского национального языка лег курско-орловский диалект. Есть ошибки и неточности и в высказываниях И. В. Сталина о соотношении общенародного языка и диалектов, в вопросе об обязательности для всех этапов развития общества существования общенародного языка. Докладчик считает, что древние племена восточных славян имели сходные языки, но общенародного языка не было. В связи с этим вряд ли правомерна теория так называемого «киевского койне».

Кроме заслушанных докладов, участники совещания ознакомились с тезисами доклада проф. С. Б. Бернштейна (ИС АН СССР и МГУ) «Принципы построения курса сравнительной грамматики славянских языков».

В течение следующих двух дней работы совещания по заслушанным докладам в прениях выступило более 40 человек. Характерно, что совещание, созванное для обсуждения лингвистами вопросов, связанных с принципами построения языковедческих курсов в вузах, вылилось в широкую дискуссию как по вопросам методического характера, так и по многим вопросам теории языкознания. Следует прежде всего отметить, что многие выступавшие в прениях участники совещания говорили о необходимости решительной борьбы с последствиями культа личности в языкознании.

Х. Х. Махмудов (Казахский университет) в своем выступлении говорил о том, какой огромный вред науке о языке наносит цитатничество, и подверг критике отдельные положения работ Сталина по вопросам языкознания.

О насущной необходимости свободного обмена мнениями и решительной борьбы с преклонением перед догмой говорил Р. А. Булагов (ИЯ АН СССР и МГУ). Начетническое отношение к работам Сталина сковывало нашу научную мысль. Только потому, что И. В. Сталин упоминает «молдавский язык», возникла проблема самостоятельного молдавского языка, хотя большинство лингвистов до тех пор считало, что румыны и молдаване говорят на одном языке. Или другой факт: только на том основании, что Сталин неодобрительно отозвался об обвинении Марром своих противников в «формализме», у нас вообще перестали бороться с формализмом в языкознании. Культ личности повлек за собой огульное охаивание прежних сторонников «нового учения о языке». Между тем, например, в книге И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» много ценного, несмотря на то, что в принципе ее автор разделял учение Марра. Р. А. Булагов говорит далее о том, что нельзя объявлять одну точку зрения по частному вопросу марксистской, другую — немарксистской. Необходимо бороться за методологическое единство советского языкознания. Но не следует вопроса единства методологии связывать с сугубо конкретными вопросами. Нельзя все недостатки нашего языкознания объяснять влиянием марксизма или культа И. В. Сталина. Надо признать, что советские языковеды часто работали просто недостаточно смело и инициативно.

А. К. В л а с о в (Бельцкий пединститут) отметил, что работы Сталина по вопросам языкознания критикуются у нас неумело. Между тем, по мнению А. К. Власова, чтобы критиковать отдельные положения работы И. В. Сталина, надо подвергнуть внимательному критическому анализу его основные тезисы.

А. С. Ч и к о б а в а (Тбилисский университет) также значительную часть своего выступления посвятил вопросу о культуре личности в языкознании. Отметив, что работы Сталина по вопросам языкознания понимались догматически и что следствием этого явилась подмена изучения фактов языка изучением и комментированием цитат, А. С. Чикобава сказал далее о том, что в 1950 г. выступление Сталина на страницах «Правды» сыграло положительную роль. Конечно, многие положения работы «Марксизм и вопросы языкознания» не новы и не принадлежат собственно Сталину, но в то время их необходимо было еще раз провозгласить, так как марристы упали азбучные истины языкознания.

Вопрос о методологии и методах советского языкознания, поднятый В. А. Звегинцевым в его докладе, также стал предметом горячего обсуждения на совещании.

Б. П. А р д е н т о в (Кипиневский университет) говорил о том, что в центре внимания советских языковедов должно быть решение важнейших общелингвистических проблем. Разработкой методологических, философских принципов языкознания должны заниматься именно лингвисты, а не философы. Между тем у нас до сих пор нет стройной теории марксистского языкознания, а поэтому мы не умеем по-настоящему критически осваивать наследство прошлого. Б. П. Ардентов критиковал доклад В. А. Звегинцева в той части, где автор говорил о соотношении мышления и языка. Деление мышления на художественное, техническое и понятийное — чисто условное деление. Понятия присущи любому виду мышления, а стало быть, мышления без языка нет.

А. А. Б е л е ц к и й (Киевский университет) высказал мнение о невозможности противопоставления сравнительно-исторического метода методу структурально-функционального анализа. Одно и то же языковое явление можно исследовать разными методами, в зависимости от цели исследования. Применение только одного метода, например сравнительно-исторического, может не дать желательных результатов. Любой метод целесообразно применять только в сочетании с другими методами.

Проблеме метода языковедческого исследования было в значительной своей части посвящено и выступление А. А. Р е ф о р м а т с к о г о (ИЯ АН СССР и МГУ). А. А. Реформатский сказал о том, что сравнительно-исторический метод и структурализм — явления не одного и того же класса. Дело в том, что сравнительно-исторический метод — не знамя определенной эпохи: он успешно применялся и применяется с конца XVIII в. до наших дней. Структурализм же — знамя определенной эпохи, эпохи XX в. А. А. Реформатский приводит факты в подтверждение того, что структурализм оправдал себя не только в чисто языковедческих исследованиях, но и во взаимодействии разных наук. Улучшение, совершенствование сравнительно-исторического метода должно вестись путем обогащения его структурным пониманием языка. А. А. Реформатский критикует также отдельные положения трудов Сталина по языкознанию, говоря, в частности, о том, что проблема скрещивания языков освещена у Сталина неполно, односторонне. Сталин приводит только тот случай, при котором один из языков выходит победителем, поглощая другой, а от побежденного остается субстрат. Но история знает случаи, когда при взаимодействии языков ни один не выходит победителем (например, при взаимодействии русского языка с татарским).

В. Н. Я р ц е в а (ИЯ АН СССР и МГУ) говорила о том, что сравнительно-исторический метод наиболее объемён из всех методов, которые мы знаем. Следует только всегда помнить, что этот метод не универсален и что мы должны уметь сами применять в своих работах другие методы и учить этому студентов.

Акад. В. Г е о р г и е в (Народная Республика Болгария), тепло встреченный присутствующими, приветствовал участников совещания от имени болгарских языковедов. Он также посвятил свое выступление вопросу о методах в языкознании. Сравнительно-исторический метод принимается марксистской наукой потому, что он дает возможность изучать язык в его развитии. Структурный анализ был первоначально применен для изучения звукового строя языка. Так появилась фонология. Впоследствии метод, оправдавший себя в фонетике, был распространен и на другие стороны языка. Это и называли структурализмом. «Структурализм — это дальнейшее развитие изучения языка как системы. Его вклад в науку несомненен», — сказал акад. В. Георгиев. Другое дело, что структуралисты называют себя многие зарубежные ученые, концепции которых идеалистичны и антиисторичны. Подобного «структурализма» марксистское языкознание принять не может.

В. И. Л ы т к и н а (ИЯ АН СССР и Рязанский пединститут), выступая по частному вопросу (о программах и учебниках по курсу «Введение в языкознание») и положительно отзывавшись о книге А. А. Реформатского «Введение в языкознание», сказал, что для этого пособия было бы, однако, лучше, если бы его автор не отдал в нем дань структурализму. По мнению В. И. Лыткиной, А. А. Реформатский неправильно признает наличие в русском языке лишь пяти, а не шести гласных фонем.

Почти все участники совещания, принимавшие участие в обсуждении докладов,

в той или иной мере касались вопросов преподавания языковедческих дисциплин в вузах.

Некоторые языковеды (А. А. Б е л е ц к и й — Киевский университет, А. В. М и р т о в — Горьковский университет и другие) поддержали высказанное в докладе В. А. Звегинцева положение о том, что программа должна давать только перечисление основных понятий, содержание которых следует раскрыть на лекциях и практических занятиях. Программа не должна стеснять научного мышления преподавателя, наоборот: она предусматривает свободную трактовку тех или иных вопросов лектором.

С возражением против такой точки зрения на программу выступил А. И. Р о ж а н с к и й (МГУИЯ), по мнению которого программа должна не только перечислять основные понятия языкознания, но и раскрывать эти понятия и проблемы с точки зрения марксистско-ленинской методологии. Совершенно необходимо, чтобы программа указывала на диалектическое решение таких вопросов, как отношение языка и мышления, слова и понятия, литературного языка и диалектов и т. д.

Г. Г. М е л ь н и ч е н к о (Ярославский пединститут) отметил, что слишком большой «свободы преподавания» допустить нельзя. Надо помнить, что вузы готовят будущих преподавателей средней школы, а это обязывает нас дать студентам определенный круг знаний и навыков.

Во многих выступлениях был высказано пожелание, чтобы курс «Введение в языкознание» читался в 1-м семестре, до знакомства студентов с остальными лингвистическими дисциплинами, так как только в этом случае он будет действительно введением в изучение языка.

С критикой программы по курсу «Введение в языкознание» выступил А. Ф. Ф и н к е л ь (Харьковский университет), отметивший, что в этой программе нет указания на соотношение между лекциями и практическими занятиями, нет четкого противопоставления научного и практического изучения языка.

Выступавшие подчеркивали необходимость перестройки преподавания всех лингвистических дисциплин в вузах в свете профессиональной подготовки учителя русского языка. Причины того, что выпускники вузов часто оказываются беспомощными учителями, кроются прежде всего в том, что средняя школа дает сплошную языковедческую подготовку учащимся. Поэтому в вузе приходится заниматься многим, что могла бы дать будущему студенту средняя школа, а это отнимает у преподавателя вуза лишнее время. Такое мнение было высказано Е. К. Б а х м у т о в о й (Казанский университет), А. В. М и р т о в ы м (Горьковский университет) и другими. В связи с этим с трибуны совещания неоднократно звучало требование восстановить в старших классах средней школы преподавание русского языка.

Участники совещания внесли ряд конкретных предложений, направленных на улучшение профессиональной подготовки студентов. Г. В. Д е н и с е в и ч (Курский пединститут) рекомендовал избавить студента от лишней нагрузки с тем, чтобы он мог посещать уроки мастеров педагогического труда. Необходимо также больше выпускать научных работ по методике русского языка.

Единомышленным было мнение участников совещания о необходимости введения в вузах специальных занятий по изучению студентами школьной программы и школьного учебника русского языка. Выступавшие отмечали давно назревшую необходимость переиздания трудов русских и зарубежных лингвистов.

А. И. Е ф и м о в (МГУ) в своем выступлении обратил внимание на ненормальное положение с учебными планами. Эти планы, существующие почти без изменения с 30-х гг., предусматривают неправомерно большое количество часов на общественно-политические дисциплины в ущерб филологическим предметам. Это тоже отрицательно сказывается на профессиональной подготовке студентов.

Н. С. П о с п е л о в (ИЯ АН СССР и МГУ) выступил с предложением значительно увеличить количество часов на практические занятия по современному русскому языку.

А. И. Б е л о в (Орехово-Зуевский пединститут) высказал мнение, что подготовка учителей широкого профиля определенно снизит качество филологической работы в институтах.

Несколько выступлений было посвящено проблемам курса истории русского литературного языка.

Н. С. А н т о ш и н (Ужгородский университет) критиковал принятое в настоящее время содержание этого курса. По мнению Н. С. Антошина, нельзя говорить о наличии литературного языка в древней Руси, так как тогда не было мастеров обработки языка. Литературный язык возникает в XVIII в. Поэтому Н. С. Антошин предлагает по отношению к древнерусскому периоду говорить только об исторической грамматике, курс же собственно литературного языка начинать с эпохи Петра.

С этой точкой зрения не согласился Н. А. М е щ е р с к и й (Карельский пединститут). Он сказал, что в древней Руси, конечно, были мастера литературного языка. Надо лучше изучать памятники, тогда мы поймем, что древней Руси была свойственна высокая культура письменной речи.

В прениях выступили также В. П. Б е с е д и н а - Н е в з о р о в а (Харьковский университет), П. А. В о в ч о к (Уральский университет), Г. Д. П е т р о в (Баракалинский пединститут) и многие другие.

В последний день работы совещания (5/X) после заключительных слов докладчиков выступил представитель Министерства высшего образования СССР А. Ф. Ш е б а н о в. Он сообщил о намерении Министерства созывать такие совещания и в дальнейшем не только в Москве, но и в других городах. Далее А. Ф. Шебанов остановился на постановлениях ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Министерства высшего образования, направленных на улучшение научно-исследовательской и педагогической работы в вузах. Министерство продолжает работать над мероприятиями, которые должны способствовать повышению качества преподавания в вузах, лучшему воспитанию научных кадров и совершенствованию системы управления вузами. Итогом этой работы должно явиться новое «Положение о высших учебных заведениях СССР».

Межвузовское совещание языковедов приняло развернутое решение по всем затронутым вопросам и призвало в нем всех научных работников решительно бороться с вредными последствиями культа личности в науке о языке. Решено систематически практиковать созовы совещаний языковедов по отдельным проблемам, причем тезисы предлагаемых докладов должны заранее рассылаться по вузам. Совещание постановило в целях подготовки к международному съезду славистов провести в 1957 г. специальное совещание по проблемам реконструкции общеславянского языка и другим существенным вопросам славистики. В том же 1957 г. решено провести совещание по проблемам синтаксиса русского языка. Решено также организовать при филологическом факультете МГУ журнал по славянской филологии. Вынесено решение о переиздании работ виднейших русских языковедов и о переводе и издании трудов крупнейших зарубежных лингвистов. Резолюция отмечает необходимость скорейшей подготовки учебных пособий и издания важнейших памятников древнерусской словесности.

Совещание высказалось за восстановление преподавания русского языка в старших классах средней школы и просило Министерство высшего образования разрешить вузам республик пересматривать учебные программы сообразно с местными условиями.

А. В. Калинин

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕЩАНИЯ В АЛМА-АТЕ, БАКУ И ТБИЛИСИ

1

24—27 сентября 1956 г. в г. Алма-Ата состоялось координационное совещание по грамматике тюркских языков, организованное Институтом языковедения АН СССР и Институтом языка и литературы АН Казахской ССР. Совещание было посвящено обсуждению двух наиболее спорных и вместе с тем актуальных вопросов грамматики тюркских языков — вопросов глагольного вида и сложноподчиненного предложения. В работе совещания приняли участие представители большинства братских союзных республик — специалисты не только по тюркским, но и монгольским, тунгусо-маньчжурским, а также кавказским языкам. Совещание носило характер свободной дискуссии; в докладах по обоим обсуждавшимся проблемам были представлены диаметрально противоположные точки зрения.

Проблема глагольного вида в языках народов Советского Союза вообще и в тюркских языках, в частности, впервые была предметом широкого обсуждения. После вступительного слова вице-президента АН Казах. ССР С. В. Башева выступил Б. А. С е р е б р е н и к о в с докладом «Проблема глагольного вида в тюркских языках». Он указал, что основной недостаток всех ныне существующих теорий глагольного вида в тюркских языках заключается в нечетком понимании условий существования в языке грамматической категории. Докладчик наметил условия существования вида как грамматической категории, которые в основном сводятся к следующему: 1) грамматическое оформление вида должно иметь тотальное распространение, т. е. проявляться во всех тех случаях, где имеются условия для оформления вида; 2) глаголы, регулярно получающие оформление вида, должны входить в коррелятивные пары с глаголами другого вида; 3) вид должен быть такой структурно-оформленной категорией, которая выражала бы видовые различия независимо от момента речи. Всем вышеназванным условиям, по мнению Б. А. Серебренникова, отвечает категория глагольного вида в русском языке. Существующие же в тюркских языках синтетические и аналитические образования, как показал Б. А. Серебренников, не являются регулярными выразителями глагольного вида. Сочетания деепричастий на *-ип* с вспомогательными глаголами могут

выражать значения предельности, а также длительности действия, если эти значения сопровождаются каким-нибудь дополнительным лексическим оттенком. Там, где этого оттенка нет, обычно употребляются простые глагольные формы для выражения как предельности, так и длительности действия. Таким образом, тюркские аналитические образования в отличие от видовых образований русского языка никогда не выражают предельности и длительности действия в их чистом виде. То же самое нужно сказать и о синтетических образованиях, оформленных при помощи некоторых глагольных суффиксов. Применительно к тюркским языкам, заключил Б. А. Серебренников, нельзя говорить о категории глагольного вида. В тюркских языках речь может идти лишь о существовании так называемого видового значения у некоторых сочетаний дееспричастий с вспомогательными глаголами и у глаголов с отдельными, сравнительно редко употребляемыми суффиксами.

И. Е. М а м а н о в в докладе «Виды и их выражение в казахском языке» высказал диаметрально противоположную точку зрения, признав существование в тюркских языках (в частности, в казахском языке) категории глагольного вида. Докладчик указал, что основными видами, свойственными всем глаголам, в казахском языке являются совершенный и несовершенный виды. С точки зрения совершенности и несовершенности характеризуются все действия, выраженные глаголами. Не составляют исключения и глаголы с аффиксами типа *-ылма*. Такие глаголы, выражая повторность, усиленность или ослабленность действия, дополнительно принимают вспомогательные глаголы, которые придают им значения совершенности и несовершенности. Специальные вспомогательные глаголы — основное средство выражения вида в казахском языке. И. Е. Маманов подчеркнул при этом, что не всякое аналитическое образование глагола является формой выражения вида.

А. И. Х а р и с о в, выступивший с докладом «Способы выражения глагольных видов в башкирском языке», так же, как и И. Е. Маманов, признает существование в тюркских языках видовой категории. Однако он не считает целесообразным делить виды в башкирском языке на совершенный и несовершенный. Докладчик выделил три вида: начальный, длительный и законченный. Что касается однократного и многократного, то последние представляют собой, по мнению А. И. Харисова, лексические разновидности законченного или незаконченного (длительного) видов. Видовая категория в башкирском языке, отметил А. И. Харисов, как правило, образуется аналитически, сочетанием основного глагола с функционально-вспомогательным глаголом, и гораздо реже — синтетически, посредством присоединения к основе определенного аффиксов. Видовое различие в глаголах выражается также в формах прошедшего времени. В докладе отмечалось, что не всякий служебный глагол может выполнять функцию модификатора, так же как не всякий основной глагол нуждается в модификации. Потребность глагола в модификаторе зависит, с одной стороны, от реального значения основного глагола, а с другой — от реального значения вспомогательного глагола.

В прениях по проблеме глагольного вида оживленно дискутировался вопрос о том, существует ли в тюркских языках вид как самостоятельная грамматическая категория или нет. Точку зрения Б. А. Серебренникова об отсутствии в тюркских языках грамматической категории вида поддержали доктор филол. наук С. А. М а н ж о л о в, М. Б. Б а л к а е в, Г. Д. С а н ж е е в и кандидаты филол. наук Х. Х. М а х м у т о в и Г. Г. М у с а б а е в. В своих выступлениях они привели факты из отдельных тюркских языков, когда аналитические глагольные сочетания, признаваемые некоторыми тюркологами за видовые, в действительности оказываются осложненными дополнительными лексическими значениями, а второй компонент этих сочетаний — вспомогательный глагол — не имеет грамматического значения. Однако Х. Х. Махмутов и Г. Д. Санжеев усмотрели противоречие в том, что Б. А. Серебренников признает наличие видовых значений в тюркских сочетаниях дееспричастий с вспомогательными глаголами и в глаголах, образованных при помощи некоторых отдельных суффиксов, и вместе с тем отрицает существование в тюркских языках грамматической категории вида.

Другая группа выступавших — академик АН Казахской ССР Н. Т. С а у р а н б а е в, канд. филол. наук А. И. И с к а к о в и др. — отстаивала наличие в тюркских языках своеобразной категории глагольного вида, которая резко отличается от того, что понимается под соответствующей категорией в русском языке.

В выступлениях доктора филол. наук Н. А. Б а с к а к о в а и кандидатов филол. наук Н. З. Б а к е е в о й, И. П. П а в л о в а, И. У ю к б а е в а значительное внимание было уделено средствам выражения вида. При этом отмечалось, что не все аналитические сочетания могут выражать вид. Наиболее четкое объяснение причины этого факта дал в своем выступлении Н. А. Баскаков, который связал способность некоторых сочетаний выражать вид с процессом грамматикализации второго компонента. На материале уйгурского языка Н. А. Баскаков показал случаи полной грамматикализации, сопровождающиеся фонетическим сращением составных компонентов.

Наличие фонетических вариантов у вспомогательных глаголов, образующих виды, отметил также на материале хакасского языка канд. филол. наук В. Г. К а р п о в. Кандидаты филол. наук В. Г. Карпов и М. Хасенов мотивировали существование видов

в тюркских языках отчасти и тем, что сами глагольные основы не нейтральны по отношению к завершенности и незавершенности действия. Выступления докторов филол. наук Ю. Д. Дешериева и Л. Н. Харитонова были посвящены конкретным вопросам способов выражения видовых значений на материале кавказских и якутского языков. Так, Л. Н. Харитонов иллюстрировал наличие морфологических и синтаксических способов выражения вида посредством анализа звукоподражательных глаголов, у которых форма образования глагола совпадает с формой образования вида. Академик АН Казахск. ССР С. К. Кенесбаев, категорически не высказываясь за какую-либо точку зрения, между тем отметил, что все положения в докладе Б. А. Серебренникова аргументированы более убедительно, чем в докладах И. Е. Маманова и А. И. Харисова. С. К. Кенесбаев указал на то, что ряд аффиксов, имеющих действительно универсальное распространение и принимаемых за морфологическое средство выражения вида, обладают скорее различными модальными значениями.

По проблеме сложноподчиненного предложения в тюркских языках центральным и дискуссионным был вопрос о природе причастных, деепричастных и глагольно-именных конструкций, различный подход к которым со стороны докладчиков и обусловил различное решение вопроса о критериях выделения придаточных предложений в тюркских языках.

М. Ш. Ширалиев в докладе «Проблема сложноподчиненного предложения на материале азербайджанского языка» утверждал, что причастные и деепричастные конструкции ни при каких условиях не могут быть придаточными предложениями. Одним из основных условий для определения придаточных предложений докладчик считает наличие сказуемого в личной форме (*verbum finitum*). Средствами связи придаточного и главного предложений, по мнению М. Ш. Ширалиева, являются союзы, союзные слова, аффиксы условной формы глагола, вопросительный аффикс и интонация. Докладчик отметил, что союзные сложноподчиненные предложения более распространены в азербайджанском языке, чем простые предложения с причастными и деепричастными оборотами, и указал на значительную роль союзных слов в формировании сложноподчиненных предложений в азербайджанском языке.

Н. Т. Сауранбаев в своем докладе «Основные способы связи составных частей в сложноподчиненных предложениях на материале казахского языка» подчеркнул, что при определении критериев выделения придаточных предложений следует учитывать специфику каждого данного языка. Одним из таких критериев, по мнению докладчика, являются способы связи составных частей в сложноподчиненных предложениях. В отличие от русского языка в казахском связь между главным и придаточным предложениями осуществляется самой формой сказуемого зависимого предложения, выраженной причастием или деепричастием; это обстоятельство обусловлено отсутствием в казахском языке системы подчинительных союзов. Согласование не является для докладчика обязательным условием при определении придаточного предложения в казахском языке: ввиду того, что функциональные значения зависимых предложений связаны с формой их сказуемого, подлежащее и сказуемое их чаще всего не согласуются. Все это, по мнению Н. Т. Сауранбаева, — специфическая особенность казахского языка. В зависимости от функции подчиненного предложения причастие сказуемого может принимать различные аффиксы и сочетаться с послелогам. Отсутствие подчинительных союзов в казахском языке, отметил докладчик, компенсируется многообразием функций причастий и деепричастий. Все причастные и деепричастные конструкции в тюркских языках Н. Т. Сауранбаев рассматривает как своеобразные придаточные предложения.

Н. З. Гаджиева в своем докладе «Критерии выделения придаточных предложений в тюркских языках» отметила, что отсутствие в тюркологической литературе единых критериев выделения придаточных предложений отчасти объясняется недостаточным вниманием к вопросам, связанным прежде всего с теорией простого предложения, а также с природой самих причастных и деепричастных форм. Подчеркивая необходимость разграничения понятий глагольности и предикативности, Н. З. Гаджиева напомнила о большой роли, которую именные предложения играют в тюркских языках. На материале памятников древнетюркской письменности Н. З. Гаджиева показала, что предикативная функция у причастий и деепричастий прослеживается уже в раннем периоде их истории: неличные формы могли выступать не только как сказуемые придаточных предложений, но и как сказуемые простых самостоятельных предложений (например, глагольные формы на *-дык*, *-сар* и др.). Правильнее говорить о своеобразных неличных формах, функционирующих как сказуемые и имеющих в качестве своих омонимичных грамматических значений значения причастий, деепричастий, глагольных имен. На основании преобладания у той или иной формы на почве данного языка одного из грамматических значений можно условно называть так всю форму. Способность так называемых причастных и деепричастных форм выступать в качестве сказуемого придаточного предложения при условии наличия своего подлежащего является лишь общим критерием выделения придаточных предложений. При его применении, подчеркнула Н. З. Гаджиева, следует учитывать природу и особенности этих форм в том или ином конкретном языке.

Прения по проблеме сложноподчиненного предложения, как и доклады, свидетельствовали о существовании диаметрально противоположных точек зрения. Н. А. Баскаков и Б. А. Серебренникова в своих выступлениях высказали ту точку зрения, что при определении придаточных предложений в тюркских языках следует руководствоваться общими критериями выделения придаточных предложений, так как тюркские причастия и деепричастия (если не считать особых случаев образования на их основе некоторых временных форм, что, конечно, не имеет никакого отношения к теории придаточного предложения) по своей природе не отличаются ничем существенным от причастий и деепричастий в индоевропейских языках. По мнению Н. А. Баскакова и Б. А. Серебренникова, причастия и деепричастия не способны формировать предложение. Необходимость личной глагольной формы как обязательного условия для придаточного предложения была отмечена и в выступлениях кандидатов филол. наук М. Г. Гусейнзаде и В. А. Колесниковой, построенных на материале азербайджанского и тунгусо-маньчжурских языков. Вопросу о необходимости разграничения понятия глагольности и предикативности было посвящено выступление доктора филол. наук Т. А. Бертаева.

Вторая точка зрения, согласно которой для причастий и деепричастий допускается наличие способности формировать придаточное предложение, была отражена в выступлениях докторов филол. наук М. Б. Балакаева, К. К. Сартаева, Е. И. Убрятовой, канд. филол. наук Д. Д. Малискаова и др. М. Б. Балакаев на материале казахского языка показал случаи отсутствия в простом предложении согласования в лице. Доктор филол. наук С. А. Аманжолов и канд. филол. наук Т. Р. Кордыбаев, также признавая возможность существования предикативной функции у причастий и деепричастий, выступили против принципа обязательного наличия подлежащего в причастных и деепричастных конструкциях, как одного из критериев выделения придаточного предложения в тюркских языках.

В докладах и выступлениях отмечалось, что исследование проблем глагольного вида и сложноподчиненного предложения имеет большое теоретическое и практическое значение как для тюркских, так и для других языков народов СССР. Широкое обсуждение названных проблем принесло несомненную пользу. Исследователи по языкам народов СССР получили возможность в результате свободного обмена мнениями выяснить некоторые новые детали и уточнить ряд положений, связанных с такими спорными вопросами, как категория глагольного вида и сложноподчиненное предложение.

И. З. Гаджиева

II

24—26 октября 1956 г. в г. Баку состоялось региональное координационное совещание по вопросу составления толковых словарей тюркских языков, созванное Институтом языкознания АН СССР совместно с Институтом литературы и языка им. Низами АН Азерб. ССР. В совещании участвовали специалисты-лексикографы Москвы и тюркоязычных республик (Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Татарии, Хакасии), а также Грузии, Армении и Эстонии. Кроме того, на совещании присутствовало около 200 человек научных работников, аспирантов, студентов, учителей, писателей, работников республиканских газет и издательств. Совещание открыл академик-секретарь Отделения общественных наук АН Азерб. ССР А. К. Али-Заде.

Ст. научн. сотр. Института литературы и языка АН Азерб. ССР А. Г. Оруджев в докладе «О принципах составления толкового словаря азербайджанского языка» указал, что самым трудным и спорным вопросом в деле составления толкового словаря является вопрос о словнике и его границах. Как известно, азербайджанский язык имеет древние традиции письменного языка, обладает многовековой литературой, на этом языке созданы также ценные памятники устного народного творчества с исключительно богатой лексикой. Одной из специфических особенностей азербайджанского языка является то, что язык письменных и, в частности, фольклорных памятников более ранних периодов (XVI—XVIII вв.) мало чем отличается от современного азербайджанского языка и вполне понятен современному азербайджанскому читателю. Это обстоятельство дает возможность использовать в толковом словаре азербайджанского языка также лексику указанных периодов. Однако в словарь следует включать не всю лексику XIV—XVIII вв., а лишь те слова, которые сохранили без изменения свою форму и значение по сей день.

Далее докладчик остановился на вопросах, являющихся общими для толковых словарей тюркских языков. К числу их, помимо вопроса о подборе слов, относятся также вопросы о границах включаемых в словарь заимствованных слов (в частности, арабских, персидских), терминологической лексики, диалектизмов, о структуре словарных статей, о фразеологии, иллюстративном материале, о выделении омонимов и т. д.

А. Г. Оруджев отметил, что при составлении толковых словарей национальных

языков необходимо учитывать опыт русской лексикографии, а также изучать собственное лексикографическое наследие.

Выступивший затем ст. научн. сотр. Института языка и литературы АН Казах. ССР Г. Г. М у с а б а е в в своем докладе «О двухтомном толковом словаре казахского языка» указал, что создание толкового словаря является совершенно новым делом для казахского языкознания. Поэтому для такого словаря одним из важных вопросов является прежде всего определение его цели и объема, построения и содержания. Законченный составлением краткий двухтомный толковый словарь казахского языка ввиду своего небольшого объема не ставит перед собой задачу охватить все лексическое богатство казахского языка; в нем представлена лишь общепринятая лексика, т. е. основной словарный фонд, а также наиболее употребительные слова словарного состава. Г. Г. Мусабаяев подробно остановился на принципах построения словаря, на вопросах о подборе слов, о грамматических и стилистических пометах, применяемых в словаре, об идиоматических выражениях и т. д.

Ст. научн. сотр. Института языка и литературы АН Туркм. ССР С. А. А л т а е в в докладе «О принципах составления толкового словаря современного туркменского литературного языка» сообщил совещанию о том, что коллектив Института приступил к составлению толкового словаря туркменского языка, который должен быть закончен в 1959 г. Словарь ставит перед собой задачу — отразить лишь основную, наиболее употребительную часть лексики туркменского языка (около 30 тысяч слов). С. А. Алтаев остановился на ряде спорных и пока еще неразрешенных вопросов, стоящих перед составителями толкового словаря туркменского языка. Например, до сих пор неясно, следует ли включать в словарь лексику классиков туркменской литературы (Махтумкули, Молла Непес и др.). По мнению докладчика, этот вопрос должен быть разрешен положительно. В заключение С. А. Алтаев призвал лексикографов тюркоязычных республик держать постоянную связь с лексикографами Москвы, Ленинграда и других братских республик.

Выступивший с докладом «О толковом словаре татарского языка» научн. сотр. Казанского филиала АН СССР Ф. С. Ф а с е е в остановился на истории татарской лексикографии, первые крупные опыты в области которой, как известно, относятся к XVIII в. Учет значительных достижений татарской лексикографии, а также ряда смелых начинаний в деле создания толкового словаря нужен при составлении нового полного толкового словаря татарского языка. Докладчик особо отметил необходимость изучения лексикографических памятников тюркских языков, в частности — словаря Махмуда Кашгари.

Новый толковый словарь татарского языка ставит перед собой цель — отразить все лексическое богатство национального татарского языка. Нормативные задачи словаря ограничиваются фиксацией уже установившихся норм литературного языка.

В толковом словаре татарского языка, как и в толковом словаре азербайджанского языка, предусматривается привлечь лексику более ранних периодов. В соответствии с традициями толковых словарей татарского языка по мере возможности в необходимых случаях будут даваться краткие справки об этимологии слова, а в отношении заимствованных слов — указание на их происхождение.

Вокруг заслушанных докладов развернулись прения. Особенно оживленные споры вызвали вопросы о включении в словарь лексики более ранних периодов и о принципах выделения омонимов.

Доп. Г. Г. А л е к б е р л и согласился с принципами выделения омонимов, выдвинутыми в докладе А. Г. Оруджева. Касаясь же вопроса о привлечении в толковый словарь лексики и произведений более ранних поэтов (Насими, Хагани, Физули и др.) с соответствующим иллюстративным материалом, Г. Г. Алекберли указал на опасность смешения современной лексики с лексикой более отдаленных времен. Г. Г. Алекберли возражал против мнения Г. Г. Мусабаяева о том, что нет необходимости в толковании простых, общепонятных слов.

Ст. научн. сотр. Института языка и литературы АН Кирг. ССР Д. Ш. Ш у к у р о в отметил отсутствие единого мнения по вопросу об использовании лексики переводной литературы: С. А. Алтаев, например, считает ее одним из основных источников иллюстративного материала в словаре, А. Г. Оруджев этим не согласен. Д. Ш. Шукуров высказался за привлечение по мере надобности и целесообразности материалов переводной литературы при работе над толковыми словарями. Также необходимо договориться о том, как помещать в словаре сложные слова, которые даются по-разному в толковых словарях казахского и туркменского языков, с одной стороны, и в толковом словаре азербайджанского языка, с другой. Д. Ш. Шукуров считает нужным указывать источники заимствованных слов. Он передает совещанию пожелания проф. К. К. Юдахина о необходимости сделать толковые словари тюркских языков доступными русским читателям и для этого давать значения слов также на русском языке.

Ст. научн. сотр. Института литературы и языка АН Азерб. ССР А. Д ж а ф а р о в оспаривал правильность некоторых положений доклада А. Г. Оруджева по вопросу о выделении омонимов, а также подачи фразеологии в толковом словаре азербайджанского языка. Высказывался за необходимость отражения в словаре азербайджанского

языка лексики более ранних периодов, как это предусмотрено в проекте словаря, А. Джафаров указал на важность правильного написания используемых в словаре цитат, взятых из произведений классиков азербайджанской литературы в качестве иллюстративного материала.

Член-корр. АН Азерб. ССР А. А. Демирчи-заде, считая, что толковый словарь азербайджанского языка должен отражать лишь современное состояние азербайджанского языка, предложил включить в словарь лексику, начиная с XIX в. (М. Ф. Ахундов), а не с XIV в. (Насими). А. А. Демирчи-заде придерживается мнения о необходимости ограничить задачи словаря по сравнению с тем, что предусмотрено в проекте, в отношении не только словника, но и других основных вопросов составления словаря, какими являются вопросы о заимствованных словах, о грамматической и стилистической характеристике слов, о подаче значений слова и иллюстративных материалов в хронологическом порядке, о включении терминологии, диалектизмов, фольклорных материалов и др. По мнению Демирчи-заде, переводная литература не может явиться одним из основных источников при разработке толкового словаря национального языка, как это указано в проекте словаря туркменского языка.

Доц. М. А. Халифа-заде, считая, что толковый словарь азербайджанского языка должен охватить все слова языка, в том числе диалектные и заимствованные, рекомендует исключить из проекта словаря пункты, согласно которым употребление этих слов ограничивается. Касаясь размещения в словаре составных и сложных слов, занимающих в лексике азербайджанского, как и других тюркских языков, очень большое место, М. А. Халифа-заде указал на необходимость выработки общих для всех тюркских языков принципов помешения этих слов в толковых словарях.

Академик АН Груз. ССР А. С. Чикобава отметил, что создание толкового словаря является важным событием в культурной жизни народа. Остановившись на различных сторонах составления толковых словарей, он указал, что вопрос о словнике следует решать для каждого языка отдельно. Сложным является вопрос о взаимоотношении словника с диалектной лексикой; здесь необходимо учитывать, что диалекты (особенно — опорный диалект) в той или иной мере принимают участие в развитии литературного языка.

Касаясь вопроса о толковании слова, проф. Чикобава сказал, что это самое ответственное и трудное дело, требующее не только знания лексики, но и языкового чутья. При толковании слова ни в коем случае нельзя сбиваться на логическую дефиницию, поэтому необходимо надлежащим образом использовать синонимы и антонимы. Громадное значение для толкования слова имеет документация. А. С. Чикобава считает, что удачное выражение должно быть использовано в словаре независимо от его источника — будь это оригинальное литературное произведение, перевод или газета; следует также широко привлекать устную речь.

Возражая Г. Г. Мусабаеву, А. С. Чикобава подчеркнул, что, по его мнению, для словаря необходимо толкование всех слов, в том числе и самых простых, понятных. Далее А. С. Чикобава остановился на вопросе о кадрах, о привлечении к составлению толковых словарей людей, хорошо знающих язык, обладающих большим запасом слов и т. д.

Аспирантка Института литературы и языка АН Азерб. ССР А. Пашаева отметила, что в толковом словаре азербайджанского языка мало места уделено пословицам и поговоркам.

Научн. сотр. Рукописного фонда АН Азерб. ССР А. А. Авадьяев предложил широко использовать в толковых словарях как азербайджанского, так и других тюркских языков лексику фольклора, старой мемуарной и эпистолярной литературы и, кроме того, включить в словарь все арабские и персидские слова, употребляемые в произведениях азербайджанских поэтов и писателей.

Доктор филол. наук Н. А. Баскаков в своем выступлении указал, что одним из сложных и спорных вопросов, возникающих при разработке толковых словарей, особенно для языков с древними традициями письменности (например, азербайджанский, татарский), является вопрос об установлении самого типа данного словаря. Для составителей существует опасность смешения двух типов словарей: толкового словаря современного языка и толкового исторического словаря. По мнению Н. А. Баскакова, толковые словари современных азербайджанского и татарского языков должны включать лексику, относящуюся только к современной норме этих языков. Смешение лексики разных исторических периодов в одном словаре нарушит представление об исторической перспективе развития языка и его лексики. В то же время Н. А. Баскаков считает, что лексический материал устного народного творчества и, в частности, героического эпоса должен быть полностью учтен в толковом словаре современного языка, поскольку язык даже того эпоса, происхождение которого относится к весьма древнему периоду, благодаря устной передаче всегда модернизируется и бывает близок к нормам современного языка.

Н. А. Баскаков указал также, что для словника толковых словарей с известной осторожностью следует использовать и диалектную лексику, даже — лексику диалектов, далеких от литературного языка, какими являются, например, сибирские

диалекты татарского языка, некоторые диалекты туркменского языка и т. д. Н. А. Баскаков рекомендовал составителям толковых словарей использовать при собирании лексического материала некоторые дополнительные методические приемы, а именно прием собирания лексики путем тематического подбора слов.

Н. А. Баскаков считает, что вопрос об омонимах должен быть предварительно разработан и специально всесторонне обсужден. Кроме того, необходимо строго и четко определять порядок следования значений, самую структуру и архитектонику словарной статьи. Для этого инструкция должна охватывать все детали оформления будущего толкового словаря. Она должна быть тщательно обсуждена, предварительно опубликована.

В заключение совещание приняло резолюцию, которая констатирует, что совещание дало возможность лексикографам тюркоязычных республик произвести обмен мнениями и обсудить спорные вопросы, требующие разрешения в процессе работы над толковыми словарями. Резолюция рекомендует соответствующим институтам ряд практических мероприятий по дальнейшему улучшению и развертыванию работы в области составления толковых словарей тюркских языков, сбора лексических материалов, подготовки кадров квалифицированных лексикографов и т. д. Совещание отметило целесообразность и необходимость периодического созыва специальных совещаний для обмена опытом по конкретным спорным вопросам толковых словарей.

А. Г. Оруджес

III

С 19 по 21 ноября 1956 г. в г. Тбилиси было проведено координационное совещание по вопросам диалектологии иберийско-кавказских языков, организованное Институтом языкознания АН Груз. ССР по предложению координационной комиссии по диалектологии при Отделении литературы и языка АН СССР. В совещании приняли участие, кроме представителей Института языкознания АН СССР и Института языкознания АН Груз. ССР, сотрудники языковедческих институтов Академии наук Армении, Азербайджана и Дагестанского филиала АН СССР, а также представители Абхазского, Адыгейского, Кабардинского, Черкесского, Южно-Осетинского и Северо-Осетинского научно-исследовательских институтов.

Совещание открылось вступительным словом директора Института языкознания АН Груз. ССР проф. К. В. Ломтатидзе.

Академик АН Груз. ССР А. С. Чикобава сделал доклад на тему «Задачи диалектологии иберийско-кавказских языков (с принципиальных установок историко-сравнительного языкознания)»¹. В докладе получили освещение связи, имеющиеся между диалектологическими изучениями разного типа и исследованиями историко-сравнительного характера; было подчеркнуто, что диалектология иберийско-кавказских языков не может не быть сравнительно-исторической. Роль диалектологии, по мнению докладчика, различна при работе над материалами письменных и бесписьменных языков. Соответствующие вопросы были рассмотрены на основе данных различных языков. В докладе был дан анализ состояния диалектологической работы по иберийско-кавказским языкам (из которых 12 являются письменными и 22 бесписьменными), намечены первоочередные задачи диалектологических изучений, определены наиболее эффективные методы работы, причем было подчеркнуто, что для иберийско-кавказских языков ведущим остается монографическое изучение, хотя должны быть начаты подготовительные работы и для создания лингвистических атласов по диалектам отдельных языков.

Доктор филол. наук Ю. Д. Дешериев в докладе «О классификации языков и диалектов нахской (вейнахской) группы» обобщил ранее имевшиеся и вновь полученные сведения об этих языках и диалектах, дал характеристику состояния их изучения и высказал свою точку зрения относительно задач дальнейшего исследования отдельных языковых объединений этой группы. Им выделены три основные лингвистические единицы — баббийский, ингушский и чеченский языки, из которых два последних имеют диалектное дробление. Аккинская речь не является, по его мнению, самостоятельным языком и занимает промежуточное положение между чеченским и ингушским языками.

В докладе доктора филол. наук В. Г. Орловой и канд. филол. наук А. И. Солонина «Изучение диалектной лексики при подготовке областных словарей», построенном на материале русского языка, основное внимание было уделено определению понятия диалектной лексики, принципам построения программы (или пособия) для ее собирания при подготовке словарей, вопросам методики собирания лексических данных, классификации слов, включаемых в словарь.

Академик АН Груз. ССР В. Г. Топурия в докладе «О принципах составления

¹ Подробнее см. «Координационное совещание [Ин-та языкознания АН СССР и Ин-та языкознания АН Груз. ССР] по вопросам диалектологии иберийско-кавказских языков. 19—21 ноября 1956 г. План работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1956.

диалектных словарей» охарактеризовал значение изучения диалектной лексики, дал обзор существующих типов словарей и рассмотрел принципы построения словарных статей. Доклад строился на материале иберийско-кавказских языков, с использованием материалов русского языка.

В прениях по докладом много внимания было уделено тем трудностям, которые возникают главным образом при изучении бесписьменных и слабоизученных языков в отношении разграничения языков и диалектов, диалектов и говоров. Выступавшие привели конкретные примеры затруднений такого рода.

Все выступавшие подчеркивали также необходимость систематического (а не выборочного) изучения говоров для характеристики диалекта и систематического изучения диалектов для характеристики языка. Выступавшие считали необходимым вести собиранье диалектологического материала исключительно методом непосредственного наблюдения над живой речью и выдвигали требование, чтобы исследователи всегда знали практически изучаемый язык. Отмечалась роль проведения магнитофонных записей и экспериментальных исследований, подчеркивалась необходимость разработки единой системы транскрипции для иберийско-кавказских языков.

На совещании было признано, что применение метода лингвистического картографирования диалектных данных наиболее целесообразно в настоящее время по отношению к таким языкам, как грузинский, адыгейский, даргинский, аварский, лезгинский. Обращалось внимание на различия, имеющиеся между монографическим изучением лексики и разработкой лексических данных в областных словарях. На материале отдельных языков было показано значение изучения топонимии и этнонимии. Представители научно-исследовательских учреждений выступили с сообщениями о состоянии работы на местах, приводя одновременно новые данные, полученные при изучении говоров того или иного языка за последнее время.

По всем вопросам были приняты решения, отражающие проведенное обсуждение вопросов; была также специально подчеркнута необходимость координации диалектологической работы с этнографами и историками. Совещание решило возбудить ходатайство перед Президиумом Академии наук СССР о создании специального кавказоведческого органа.

В. Г. Орлова

В ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

I

27—30 ноября 1956 г. в Институте языкознания АН СССР проходила научная сессия, посвященная вопросам германского языкознания. В работе сессии, помимо научных сотрудников Института, приняло участие более 200 человек — специалистов по истории и теории английского и немецкого языков, студентов и аспирантов вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Баку, Еревана, Тбилиси, Риги, Вильнюса, Тарту, Горького, Иркутска, Львова, Черновид и других городов.

В своем вступительном слове заведующая Сектором германских языков проф. В. Н. Ярцева указала на актуальность широкого обсуждения научной общественностью основных проблем сравнительной грамматики германских языков в связи с подготовкой Сектором коллективного труда «Сравнительная грамматика германских языков». На сессии были заслушаны и обсуждены доклады и проспект «Сравнительной грамматики германских языков»¹.

Член-корр. АН СССР проф. В. М. Жирмунский (Ленинград) в докладе «Сравнительно-историческая грамматика и диалектология» подчеркнул роль диалектологии и диалектографии в сравнительно-историческом изучении древних германских языков, указав на то, что данные современной диалектологии и диалектографии должны служить необходимым восполнением сравнительно-исторического изучения древних письменных памятников.

Признавая научное значение реконструкции архетипов языка-основы, В. М. Жирмунский рассматривает ее как подчиненную более общей цели сравнительно-исторического языкознания — раскрытию общих закономерностей развития группы родственных языков.

В. М. Жирмунский рассмотрел три основных вопроса, непосредственно связанных с проблемой сравнительно-исторической грамматики и диалектологии: а) классифика-

¹ См.: «Научная сессия [Ин-та языкознания АН СССР] по вопросам германского языкознания. 27—30 ноября 1956. Тезисы докладов», М., 1956; «Сравнительная грамматика германских языков. Проспект», под ред. В. М. Жирмунского и В. Н. Ярцевой. М., 1956.

пия древнегерманских языков в свете исторической диалектологии; б) установление фонетической и грамматической системы древнегерманских языков; в) закономерные тенденции развития общенародного языка и их дифференциация в фонетико-грамматической системе диалектов. Учитывая сложные перекрещивающиеся процессы дифференциации и интеграции древнегерманских племенных диалектов в период их конкретного развития, В. М. Жирмунский подробно остановился на проблеме готско-скандинавского и западногерманского языкового единства. Опираясь на многочисленные данные современных диалектов, докладчик высказал предположение о том, что умлаут представляет собой общегерманское явление, а не является особенностью, присущей только отдельным германским языкам.

В докладе ст. научн. сотрудника Института языкознания Э. А. Макаева «Некоторые явления системы согласных германских языков с фонологической точки зрения» были освещены те процессы, которые происходили в системе согласных в эпоху выделения из индоевропейских диалектов ряда наречий, давших впоследствии основание для складывающейся германской языковой общности. В формировании и развитии германских языков Э. А. Макаев выделил две эпохи: протогерманскую, охватывающую период от выделения из индоевропейских диалектов ряда наречий до стабилизации германской языковой общности, и общегерманскую — от германского праязыка до начала письменной фиксации речи на отдельных германских диалектах.

Докладчик указал на несомненную плодотворность принципа целостного структурного анализа явлений, установившегося в современных лингвистических исследованиях, в противоположность тому распыленному изучению языковых фактов, какой был столь типичен для младограмматиков.

Применение принципов исторической фонологии при любом исследовании строя современных языков дает ценные результаты, обеспечивающие более глубокое понимание механизма действия языковых процессов, происходивших в отдаленные эпохи развития языка. Однако неразработанность исторической фонологии как лингвистической дисциплины в ряде случаев дает отрицательные результаты, например, применение так называемой теории звуковых вытеснений в явлении передвижения согласных по существу ничего не объясняет, поскольку она лишь регистрирует сдвиги в фонологической системе, но отнюдь не вскрывает тех процессов, какие находятся в основе происходивших в ней перестановок. Реконструировав консонантизм протогерманской и общегерманской эпох, Э. А. Макаев высказал предположение о том, что германские языки относились к тем индоевропейским диалектам, в системе согласных которых характерным было противопоставление не по сонорности (глухость — звонкость), а по напряженности — ненапряженности, в результате чего третий акт передвижения согласных следует считать не чем иным, как отражением регионального индоевропейского явления. Особенно важное значение для развития фонетического строя германских языков имели два явления регионального индоевропейского консонантизма: а) дезаспирация звонких смычных с последующей спирализацией и б) реализация глухих смычных с придыханием.

Доктор филол. наук проф. М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград) в докладе «К вопросу об умлауте в германских языках» разграничил пять различных процессов, объединяемых обычно одним традиционным термином «умлаут»: а) регрессивная ассимиляция гласных; б) возникновение новых гласных фонем из позиционных вариантов, обусловленных регрессивной ассимиляцией гласных; в) перераспределение гласных фонем, обусловленное регрессивной ассимиляцией; г) возникновение грамматических чередований гласных, сопровождающее перераспределение гласных фонем; д) само чередование гласных.

Рассматривая регрессивную ассимиляцию гласных как явление синхроническое, не нарушаемое действием грамматической аналогии, М. И. Стеблин-Каменский отметил диахронический характер и скачкообразность возникновения и перераспределения новых гласных фонем. Возникновение новых гласных фонем, по мнению М. И. Стеблина-Каменского, предполагает исчезновение или редукцию ассимилирующего звука. Докладчик указал, что разграничение факта возникновения чередований от самих чередований подразумевает признание двух взаимно исключающих точек зрения — синхронической и диахронической и потому не может быть последовательно проведено.

Доктор филол. наук проф. М. М. Гухман (Москва) в докладе «Сравнительная грамматика и приемы типологических исследований», указав на важность расширения и совершенствования исследовательских приемов в работах по сравнительной грамматике, выделила два вида типологических исследований, использующих разные приемы анализа — синхронно-типологические и историко-типологические. На основе сопоставления материала различных языков при синхронно-типологическом исследовании выделяются одинаковые или разные типы структурных отношений, в то время как при историко-типологическом исследовании устанавливаются относительную хронологию изучаемых строевых элементов, выделяют тенденции их развития, и, на основе обобщения полученных результатов, устанавливают общие закономерности развития языка.

М. М. Гухман особо подчеркнула тот факт, что историко-типологические исследования невозможны без предварительного сопоставительного анализа изучаемых структур; однако для задач сравнительной грамматики могут иметь вспомогательное значение лишь результаты и приемы анализа историко-типологических исследований, так как простое синхронное сопоставление с иноструктурными языками противоречит основной направленности и содержанию сравнительно-исторических исследований, произвольно и лишено необходимой научной объективности.

М. М. Гухман считает, что наибольшее значение историко-типологические исследования имеют при реконструкции истории языка-основы, а именно его фонологического и синтаксического развития. В сравнительно-историческом синтаксисе они могут играть лишь вспомогательную роль, а при реконструкции морфологических категорий вообще не применимы.

Доктор филол. наук В. Н. Ярцева в докладе «Проблемы реконструкции синтаксиса группы близко родственных языков» указала на три возможных случая сходства синтаксических конструкций в родственных языках: 1) сходные синтаксические конструкции, унаследованные от языка-основы, опознавательными признаками которых служат: а) связь с морфологическими явлениями, б) отсутствие стилистической ограниченности при их употреблении, в) наличие прототипов в других индоевропейских языках; 2) сходные синтаксические конструкции, являющиеся результатом развития в родственных языках одной и той же конструкции языка-основы, полисемантической по своему существу. Опознавательными признаками данного типа служат: а) стилистическая вариантность употребления синтаксической конструкции, б) морфологическая вариантность членов конструкции, например: аппозитивные сочетания (приложение) в древнегерманских языках, выражение деятеля падежами родительным, творительным (дательным) и т. д.; 3) возникновение одинаковых синтаксических построений, не зависящих от унаследованного конструктивного образца, а основанных в первую очередь на мотивированности синтаксического объединения. Признаком в этих случаях служит сходство в использовании типов лексического материала, т. е. однородных классов лексем при одновременной лексической индивидуализации конструкции в каждом конкретном языке. Примером данного типа могут служить различные перифрастические конструкции, в частности конструкции с полусвязочными глаголами, использование для выражения степени качества наречий особого значения и т. д. Наибольшей достоверности достигает реконструкция тех синтаксических моделей, которые связаны с морфологическими особенностями языка-основы.

После докладов начались оживленные прения, в которых были предприняты попытки решения следующих проблем: 1) задачи сравнительно-исторического языкознания и роль диалектологии; 2) сущность фонологии и структурализма; 3) сущность процессов фонологизации и умлаута; 4) синхрония и диахрония; 5) степень применимости типологических исследований и задачи сравнительно-исторического синтаксиса.

Между участниками сессии обнаружилось противоречие в понимании задач сравнительно-исторического языкознания и места диалектологии в нем. М. М. Гухман и ст. научн. сотрудник Института языкознания Б. В. Горнунг считают, что основной задачей сравнительно-исторического языкознания является проблема реконструкции, без которой не может быть самой сравнительной грамматики. М. М. Гухман возражала против такого понимания задач сравнительно-исторического языкознания, при котором метод реконструкции рассматривается лишь как вспомогательное средство исследования, подчиненное более общей цели — раскрытию общих закономерностей развития группы родственных языков, так как без широкого привлечения данных реконструкции невозможно понять сами закономерности развития языков. М. М. Гухман высказала опасение, что при подобном понимании задач сравнительно-исторического языкознания сравнительная грамматика может превратиться в сопоставительную грамматику близко родственных языков. Роль диалектологии, по мнению М. М. Гухман, должна заключаться в том, чтобы помочь правильной реконструкции тех или иных явлений в языке-основе. Точку зрения М. М. Гухман и Б. В. Горнунга на задачи сравнительно-исторического языкознания поддержал также член-корр. АН СССР проф. Г. С. Ахвледиани (Тбилиси).

В. М. Жирмунский выразил твердое убеждение в том, что задачей сравнительно-исторической грамматики является не сама реконструкция, а рассмотрение на ее основе закономерных особенностей развития группы родственных языков. Реконструкция является всего лишь важным вспомогательным моментом при данном рассмотрении.

Очень полезным было обсуждение процессов, связанных с фонологией, в связи с чем встал вопрос о необходимости высказать свое отношение к структурализму. При этом обнаружилось, что выступающие вкладывают разный смысл в понятие структурализма. М. И. Стеблин-Каменский, отождествляя фонологию и структурализм, подчеркнул, что многие наши ученые, разрабатывая вопросы фонологии, сами того не подозревая, являются структуралистами по методу своего исследования

В. М. Жирмунский, отрицательно относясь к структурализму, выступил против отождествления фонологии и структурализма, так как, по его мнению, фонология и структурализм совершенно разные вещи: структурализм — это фонология в определенном толковании. Теоретические основы направления в языкознании, связанного с именами Трубецкого и Якобсона, несмотря на большие достижения этих ученых в разработке вопросов фонологии, представляются В. М. Жирмунскому ошибочными. Канд. филол. наук Н. Д. Андреев (Ленинград) признал целесообразность использования рабочих приемов структуралистов, отбросив философские основы структурализма. Б. В. Горнунг, высказав свое отрицательное отношение к структурализму, не согласился с положением Н. Д. Андреева о разграничении структурализма на какую-то философскую и практическую часть. Б. В. Горнунг указал на нецелесообразность дискуссии о структурализме на данной сессии, так как это отвлечет ученых от обсуждения конкретных вопросов германистики. Дискуссия о структурализме, по мнению Б. В. Горнунга, будет уместной на сессии по вопросам синхронии и диахронии, которая подготавливается сейчас Институтом языкознания.

Проф. Б. А. Ильиш (Ленинград), рассматривая затронутый в докладах В. М. Жирмунского и М. И. Стеблин-Каменского вопрос о фонологизации, высказал сомнения в том, что позиционный вариант гласного фонологизируется в результате отпадения (или редукции) ассимилирующего звука. Б. А. Ильиш предполагает, что фонологизация произошла до отпадения ассимилирующего гласного и осталась не отраженной в орфографии.

Канд. филол. наук Н. Ф. Пелевина (Черновцы), Г. С. Ахвеледiani и Н. Д. Андреев считают, что оттенок фонемы может реализоваться в самостоятельную фонему только при наличии определенных позиционных условий. Н. Ф. Пелевина указала также на то, что появление новых фонем нельзя ставить в зависимость от редукции, которая понимается как что-то единичное, мгновенное. Редукция — это сложный и длительный процесс. Н. Д. Андреев, возражая Б. А. Ильишу, обратил внимание на то обстоятельство, что если бы фонологизация позиционных вариантов происходила до того, как исчезли позиционные условия, породившие позиционный вариант, мы никогда не смогли бы их датировать. Однако из истории русского языка известно, когда палатализованные гласные превратились из позиционных вариантов в фонемы.

Канд. филол. наук Я. Б. Крупаткин (Харьков), рассматривая вопрос об относительной хронологии сопровождающих умлаут явлений, сделал вывод о том, что при умлауте редукция безударного в последующем слого и образование новой фонемы на месте старой происходит одновременно, однако определяющей является редукция безударного, так как она связана с действием германского ударения. Принимая тезис постепенности развития языка, Я. Б. Крупаткин в то же время признал образование новых фонем качественным скачком. Б. В. Горнунг, отрицая скачкообразность развития языковых процессов, заявил, что позиционный вариант никогда не может сразу стать фонемой: между позиционным вариантом и фонемой предполагаются промежуточные состояния.

Не было единства мнений и по вопросу об умлауте. Проф. В. Г. Адмони (Ленинград), возражая М. И. Стеблин-Каменскому против слишком прямолинейного членения умлаута на пять моментов — три фонетических и два грамматических, которое, по мнению В. Г. Адмони, ничего не дает для понимания сущности умлаута, предложил рассматривать умлаут как единое, многоаспектное явление. Г. С. Ахвеледiani признал целесообразным рассматривать возникновение новых гласных фонем и их распределение, а также возникновение грамматических чередований и сами чередования как единые процессы. Н. Ф. Пелевина, одобряя выделение М. И. Стеблин-Каменским пяти моментов умлаута, возражала В. Г. Адмони против рассмотрения умлаута как единого многоаспектного явления. В. М. Жирмунский и Б. В. Горнунг высказались против отождествления М. И. Стеблин-Каменским умлаута и аблаута в современном немецком языке в одном термине «перегласовка», поскольку оба эти явления имеют в прошлом разное происхождение и, к тому же, умлаут представляет собою чередование определенных гласных, а аблаут является очень шестым чередованием разных типов гласных. Б. В. Горнунг выразил опасение, что отождествление умлаута и аблаута приведет к признанию главного положения структуралистов — признанию чистых отношений и исключению из них самих членов, их роли и природных качеств.

Осуждая структуралистов за отрыв синхронии от диахронии, В. Г. Адмони, Г. С. Ахвеледiani, В. М. Жирмунский и Н. Д. Андреев высказались в пользу рассмотрения синхронии и диахронии в неразрывном единстве и взаимосвязи.

Канд. филол. наук И. Б. Хлебникова (Ленинград) допускает возможность анализа ряда явлений только в синхронном плане, если эти явления на определенном этапе развития языка теряют свою историческую сущность. В качестве примера И. Б. Хлебникова сослалась на отсутствие умлаута в современном английском языке. Проф. И. Е. Аничков (Ленинград), возражая против употребления терминов

«синхрония» и «диахрония», предложил широко пользоваться терминами «описательное» и «историческое» рассмотрение языка.

Рассматривая степень применимости типологических исследований и задачи сравнительно-исторического синтаксиса, проф. О. И. Москальская (Москва) указала, что типологический анализ более правомерен и продуктивен главным образом в области морфологии и отчасти синтаксиса. Главной задачей сравнительно-исторического синтаксиса, по ее мнению, является установление синтаксической модели. Реконструкция в области синтаксиса осложняется не столько большим материалом, сколько спецификой объекта изучения. В морфологии мы имеем дело как с конкретными словами в их материальной оболочке, так и с общими грамматическими типами. В синтаксисе изучаются только модели, отвлеченные от их реального языкового наполнения.

Доцент О. А. Норк (Москва), выразив сожаление о том, что в докладах ничего не говорилось об интонации, представляющей собою, по мнению О. А. Норк, материальное наполнение синтаксической модели, сказала, что если есть возможность вскрыть законы ударения в слове, то для исследователя не представляется невозможным наметить, хотя бы в общих чертах, определенные законы интонационного оформления структуры предложения.

Проф. Г. Н. Воронцова (Москва), возражая О. И. Москальской против ее повимания задачи сравнительно-исторического синтаксиса, высказала пожелание, чтобы при изучении грамматической структуры предложения шире использовались данные лексикологии. Указав на неразработанность последней, Г. Н. Воронцова выразила твердую уверенность в том, что в лексике, так же как и в фонетике, существует определенная система. Научный сравнительно-исторический синтаксис может быть построен только с учетом определенных лексических групп.

Проф. В. М. Жирмунский, отметив важность историко-типологических исследований для сравнительной грамматики, в то же время указал, что синхронно-типологические исследования не отличаются сколько-нибудь существенно от серьезно задуманной сопоставительной грамматики. В. М. Жирмунский считает также, что типологические исследования в области фонетики не применимы.

Во время обсуждения докладов затрагивались также вопросы, связанные с понятием системы языка, терминологией и многими другими проблемами. Так, например, Н. Д. Андреев, разделяя точку зрения Э. А. Макаева в трактовке системы согласных в германских языках, предложил свою, состоящую в том, что исходным во всем индоевропейском ареале было противопоставление согласных по силе, которое постепенно сменялось противопоставлением по звонкости.

Канд. филол. наук Б. М. Задорожный (Львов) возражал против того, что в индоевропейскую эпоху произошла дезаспирация звонких смычных с последующей сплантизацией. Рассматривая вопрос хронологии протогерманской и общегерманской эпох, Н. Д. Задорожный указал, что, допуская начало общегерманской эпохи с момента закрепления ударения в германских языках на первом слоге, придется признать, что общегерманская эпоха начинается после действия закона Вернера, который действовал еще тогда, когда ударение было подвижное.

Б. В. Горнунг подчеркнул особую специфичность метода реконструкции в области синтаксиса, а также остановился на характеристике того направления в языкознании, которое стремится ликвидировать разрыв между сравнительно-историческими и типологическими исследованиями (В. П. Леман, Э. Леви). Доцент Е. И. Долицкий (Иваново) указал на необходимость при исследовании синтаксиса учитывать идиоматику, а также проследить развитие аналитических конструкций в германских языках. Е. И. Долицкий допускает возможность реконструкции в области синтаксиса при сравнительно-историческом исследовании.

Обсуждение проспекта «Сравнительной грамматики германских языков» началось выступлением В. Н. Ярцевой, которая обрисовала характер и направление предпринимаемого исследования и содержание отдельных томов. Прения по проспекту свелись в основном к обсуждению структуры «Грамматики» и терминологии. Проф. Б. А. Ильин высказал пожелание, чтобы авторы «Грамматики» более четко очертили хронологические рамки проводимого исследования, изложили существующие точки зрения по рассматриваемым вопросам, а «Морфологию» дополнили самостоятельными разделами «Система частей речи», «Союзы», «Частицы». Б. М. Задорожный предложил предослать труду «Введение», в котором должны быть раскрыты сущность типологических исследований и содержание терминов «сравнение» и «сопоставление». В. П. Мажюлис (Вильнюс) просил учесть балто-германские связи, а также германские заимствования в балтийских языках. В. П. Мажюлис отметил тот факт, что в балтийских языках меньше древнейших германских заимствований, чем в славянских. Г. С. Шубин (Пятигорск) предложил назвать «Грамматику» «Сравнительно-историческим исследованием древних германских диалектов».

Н. Д. Андреев настаивал на выделении вопросов словообразования и проблемы образования и развития германских языков в отдельные тома. Весь труд, в который, по мнению Н. Д. Андреева, необходимо включить и описание современного состояния

германских языков, следовало бы озаглавить «Историческое развитие германской группы языков». О. С. Широков (Черновцы) предложил учесть германские заимствования в балканских языках. Е. Н. Риттер (Горький) высказалась в пользу выделения проблемы частей речи в самостоятельный раздел. Ст. научн. сотрудник Института языкознания Г. П. Торсуев отметил отставание экспериментальной фонетики. До сих пор не установлено, какие звуки — гласные или согласные — наиболее напряженные, не ясно, что такое сильные и слабые согласные, слог, ударение, слоговая граница. Экспериментальная фонетика должна разработать эти понятия для тех, кто занимается фонологией и историей языка. Возражая против термина «архифонема», Г. П. Торсуев предложил ввести термин «диафон», который может употребляться для обозначения двух звуков, типологически даже не очень близких друг другу; эти звуки могут и не образовывать разных фонем.

И. Е. Аничков предложил вместо термина «сравнительноисторический» употреблять термин «сравнительный» на том основании, что термин «сравнительно-исторический» отсутствует в традиционном зарубежном языкознании. Г. С. Ахведиани и Н. Д. Андреев возражали также против термина «язык-основа», взамен которого предложили восстановить в своих правах «праязык». Б. В. Горнунг, признавая неудачность термина «язык-основа», сказал, однако, что вопрос здесь не в терминологии, а в существе дела. Существующие два термина отражают два совершенно разных понимания процессов образования и распада групп и семей родственных языков. По мнению Б. В. Горнунга, русский термин «праязык» и немецкий «Ursprache» со значением «праязык всего человечества» являются фикцией, и их употребление в этом значении было бы ошибочным.

С ценными замечаниями по проспекту выступили также Д. А. Кожухарь (Пятигорск), В. Е. Яриотовская (Горький), М. В. Ушаева (Пятигорск), И. П. Иванова и И. В. Хлебникова (Ленинград) и др. Многие выступавшие говорили о необходимости создания лингвистического общества со своим периодическим журналом по вопросам романо-германской филологии, а также о координации работ по германистике. В. М. Жирмуцкий, выступивший от имени авторов проспекта, просил участников сессии, не имеющих возможности принять участие в обсуждении из-за ограниченности времени, выслать свои замечания в письменном виде.

На сессии были заслушаны письменные отзывы о проспекте «Сравнительной грамматики германских языков», поступившие в адрес Института языкознания от Тбилисского и Тартуского университетов, а также отзывы профессоров П. А. Ариста (Тарту), В. П. Лемана (Техасский университет, США), К. Боргстрема (Осло), Л. И. Хаммериха (Копенгаген), Э. Эмана (Хельсинки) и Дж. Бовфанте (Генуя).

В заключение выступил директор Института языкознания проф. В. И. Борковский. Отметив исключительную плодотворность работы сессии и поблагодарив ее участников за ценные предложения, В. И. Борковский согласился с мнением выступавших о необходимости более частых проведенных подобного рода дискуссий, а также заверил аудиторию, что материалы сессии будут изданы отдельным томом «Докладов и сообщений Института языкознания Академии наук СССР».

И. Н. Аничкий

II

13 ноября 1956 г. на заседании Секции общего и сравнительно-исторического языкознания Ученого совета Института был заслушан и обсужден доклад доктора филол. наук Е. А. Бокарева на тему «Типология искусственных международных языков»¹. В докладе был освещен ряд структурных особенностей этих языков.

В отношении словарного состава искусственные международные языки могут быть разделены на априорные, словарь которых обычно создается на основе специально разработанной классификации понятий (философский язык Д. Вилькинса — XVII в., язык ро — XIX в. и др.), и апостериорные, базирующиеся на словарном составе существующих языков. Языки апостериорного типа строятся на лексическом материале какого-либо одного языка (Latino sine flexione, Basic English), группы родственных языков (например, романаль) или на основе «интернационального корнеслова». Этот последний путь создания словарного состава искусственного международного языка оказался наиболее эффективным, хотя само понятие лексического интернационализма нуждается в уточнении. Так, отдельные языки могут почти совсем не содержать «интернациональных слов» (китайский язык) или использовать их с большими ограничениями (венгерский, чешский, армянский

¹ О докладе Е. А. Бокарева на тему «Современное состояние вопроса о международном вспомогательном языке» см. ВЯ, 1956, № 4, стр. 158—159. См. также: О. С. А х м а н о в а и Е. А. Б о к а р е в, Международный вспомогательный язык как лингвистическая проблема, ВЯ, 1956, № 6.

языки), а конкретные значения «интернационализма» в тех или иных языках могут быть самыми различными (ср., например, русск. *академия*, франц. *académie*, чешск. *akademie*, англо-амер. *academy* и др.)¹. Понятно, что в ряде случаев приходится все же использовать слова, свойственные только одному языку (англ. *yes*—эспер. *jes*). Докладчик коснулся и вопроса о путях создания в искусственных международных языках фразеологических сочетаний.

Подход к вопросам с л о в о о б р а з о в а н и я в искусственных международных языках также может быть различным. Здесь противопоставляются языки с развитой автономной системой словообразования (эсперанто, идо, новиаль) и «натуралистические» языки, в которых пополнение словарного состава происходит в основном не за счет внутренних словообразовательных возможностей, а путем заимствования (окциденталь, или *interlingue*; интерлингва ИАЛА).

Докладчик кратко остановился также на дискуссии о логических основах словообразования между Л. Кутюра и другими теоретиками идо, с одной стороны, и Рене де Соссюром и его сторонниками (эсперантистами) — с другой. Л. Кутюра в интересной работе «*Studio pri la derivado*» (Paris, 1910) подверг критике эсперанто за его «недостаточную логичность»² и предложил весьма детализованную и значительно более сложную, чем в эсперанто, систему словообразования. Как отметил Е. А. Бокарев, естественные языки в подавляющем большинстве случаев обходятся без такой детализации в системе словообразования, какая осуществлена в идо. Излишний «словообразовательный логицизм» делает проекты подобного рода довольно сложными и снижает их практическую ценность.

Основным требованием к фонетической системе международного вспомогательного языка является то, чтобы ее усвоение не вызывало каких-либо трудностей для представителей самых различных языков. Понятно, что при этом языки апостериорного типа в какой-то мере связаны звуковым составом того языка (или языков), который взят за основу. Поэтому в языках такого типа трудно отказаться от использования, например, звука *p* (лат. *p*), несмотря на значительные различия между его вариантами в отдельных национальных языках.

В докладе были приведены близкие и, по-видимому, высказанные независимо одно от другого мнения И. А. Бодуэна де Куртене, Э. Сепира и Н. С. Трубенского относительно того, каким должен быть минимальный звуковой состав искусственного международного языка [гласные: *a, u, y, (e), (o)*; согласные: *p, t, k, s, l, m, n, (r)*].

Что касается ударения, то авторы проектов искусственных языков обычно или прикрепляют его к определенному слогу (эсперанто — на предпоследнем слоге, то же — с некоторыми исключениями — в идо) или разрабатывают особую — порой довольно сложную — систему правил об ударении (интерлингве-окциденталь). Широкое использование различного ударения или полное отсутствие специальных акцентологических норм, естественно, делало бы более трудным процесс изучения вспомогательного языка или серьезно мешало бы правильному взаимопониманию.

Как правило, для искусственных языков предлагалась латинская графика. Случаи использования иной или создания особой графической системы — немногочисленны. Проекты языков «автономистского типа» в основном ориентируются на фонетическую орфографию; наоборот, проекты «натуралистического типа» используют традиционную орфографию, стремясь сохранить привычный орфографический облик слов.

Говоря о проблеме г р а м м а т и ч е с к о й с т р у к т у р ы вспомогательных международных языков, докладчик кратко остановился на вопросе о ч а с т я х речи и вопросе о винительном падеже. Ссылаясь на эксперимент Л. В. Щербы, показавшего, что часто совершенно невозможно понять смысл предложения с привычными корнями слов, но с непонятными окончаниями, докладчик приходит к выводу, что наличие грамматических окончаний и, в частности, специальных показателей частей речи оказывается весьма важным. Большинство искусственных языков сравнительно легко обходятся без особого винительного падежа, представляющего известную трудность для изучения. Однако и здесь могут быть случаи, когда отсутствие специального показателя винительного падежа делает предложение недостаточно выразительным или даже непонятым.

В заключение Е. А. Бокарев указал на интересные дискуссии, которые вызывает вопрос о возможности и необходимости нормирования и регулирования процессов развития искусственных языков. Хотя стихийное развитие эсперанто, как показы-

¹ См.: E. P r i v a t, *Pri vortoj* [internacia], «Esperanto», 23, 1927, стр. 18—19; P. N e e r g a a r d, *Fremdvortoj en Esperanto*, Parizo, [1933], стр. 11 и сл. Из последних работ об «интернациональных словах» см. V. F r i e d, *Mezinárodní slova, jejich shoda a úskali*, «Časopis pro moderní filologii», ročn. XXXVIII, číslo 4, 1956.

² См. также интересные замечания Н. В. Юшманова в брошюре: N. Y u s h m a n o v, *100 Grundfehler des Esperanto*, Berlin, [1926]; имеется шведский перевод этой работы, написанной автором на идо: N. Y u s h m a n o v, *Esperantos 100 grundfel*, Örebro, 1939.

вают факты, не приводит его к распадению на диалекты, к деформации его структуры и т. д., однако совершенно отказаться от сознательного регулирующего воздействия на процессы развития вспомогательного языка, очевидно, было бы нецелесообразно.

В прениях по докладу выступили старшие научные сотрудники Института Л. И. Жирков, Р. А. Будагов, П. С. Кузнецов и А. А. Реформатский, канд. филол. наук В. П. Григорьев, мл. науч. сотрудник Ин-та востоковедения АН СССР В. П. Старинин. Все они отметили, что поставленные в докладе вопросы представляют большой интерес для общего языкознания. В выступлениях, в частности, затрагивался вопрос о возможном применении искусственного языка в качестве языка-посредника при машинном переводе. В то же время не встретила возражений мысль о том, что широкое использование вспомогательного международного языка как языка научных публикаций явилось бы радикальным решением той задачи, которую имеют в виду опыты машинного перевода. В связи с тем, что наша языковедческая общественность недостаточно знакома с существующей огромной литературой по проблемам интерлингвистики, было высказано пожелание об организации в Институте языкознания АН СССР специального семинара по этим вопросам.

В. П. Григорьев

В КОМИТЕТЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ АН СССР

При Комитете технической терминологии АН СССР организована постоянная комиссия по научно-методологической разработке основ построения одноязычных и многоязычных терминологических сборников и словарей.

В компетенцию комиссии войдут такие вопросы, как принципы построения терминологических сборников и словарей, транслитерация и условные обозначения, употребляемые в словарных работах, создание терминологических карточек и организация внутреннего и международного обмена терминологическими карточками. Деятельность комиссии должна охватить вопросы о принципах организации терминологической работы в союзных республиках, в том числе и вопрос об основах построения национальной терминологии на языках союзных республик.

Комиссия ставит своей задачей также участие в работе Комитета ИСО ТК-37 и ЮНЕСКО по разделу словарно-терминологической работы, в заседаниях его пленумов, рабочих групп и т. д.

Первое заседание комиссии, на котором обсуждался проект основных требований для составления терминологических сборников и словарей и вопрос о создании обменных терминологических карточек, состоялось 29 ноября 1956 г. Этот проект после доработки будет опубликован в целях широкого обсуждения.

В состав комиссии введены сотрудники: Института языкознания АН СССР — Е. А. Бокарев, А. А. Реформатский, С. И. Ожегов, А. М. Бабкин и Н. А. Баскаков, Всесоюзного института научной и технической информации — Ю. В. Семенов и П. К. Горохов и Комитета технической терминологии — В. Н. Костров — председатель комиссии и Л. А. Силина — секретарь. По мере необходимости для работы в постоянной комиссии будут приглашаться ученые и других институтов и организаций.

В комиссию можно обращаться по адресу: Москва, Малый Харитопьевский пер., д. 4, комн. 24; тел. Б-8-11-33.

Л. А. Силина

S O M M A I R E

Articles: N. D. A n d r e y e v (Léningrad). La délimitation et suite des périodes dans l'histoire de la langue-mère indoeuropéenne; A. M. M u k h i n e (Léningrad). La catégorie de cas en anglais moderne; **Discussions:** I. I. R e v s i n e (Moscou). La linguistique structurale, la sémantique et le problème du mot; S. L. R u b i n s t e i n (Moscou). Quelques remarques sur la langue, la parole et la pensée; V. N. K o m i s s a r o v (Moscou). Sur la définition de l'antonyme (La relation des aspects logique et linguistique dans la sémasiologie); **De l'histoire de la linguistique:** G. O. V i n o k o u r e. Un épisode de lutte idéologique dans la linguistique de l'ouest; **Communications et notices:** A. B. C h a p i r o (Moscou). A propos de la classification des parties secondaires de la proposition en russe; O. N. T r o u b a t s c h e v (Moscou). Sur l'étymologie des plus vieux termes de parenté en slave; M. L. V a n s l o v a (Kalinine). Les propositions complexes avec les conjonctions *чем—тем*; A. A. R e f o r m a t s k i (Moscou). Notes phonologiques; S. N. I v a n o v (Léningrad). La catégorie de la voix dans les composés attributifs Uzbeks en *-ган*; **Critique et bibliographie; Comptes rendus; Vie scientifique:** A. V. K a l i n i n e (Moscou). La conférence inter-universitaire des linguistes; N. Z. G a d j i y e v a (Moscou), A. G. O r o u d j e v (Baku), V. G. O r l o v a (Moscou). Les conférences de coordination à Alma-Ata, Baku et Tbilisi; I. N. A n a t s k i (Moscou), V. P. G r i g o r i y e v (Moscou). A l'institut de la linguistique de l'Académie des Sciences de l'URSS; L. A. S i l i n a (Moscou). Au comité de terminologie technique de l'Académie des Sciences de l'U R S S.

C O N T E N T S

Articles: N. D. A n d r e y e v (Leningrad). The delimitation and sequence of periods in the history of the Indo-European mother-language; A. M. M u k h i n (Leningrad). The category of case in modern English; **Discussions:** I. I. R e v z i n (Moscow). Structural linguistics, semantics and the problem of the word; S. L. R u b i n s t e i n (Moscow). Some remarks on language, speech and thinking; V. N. K o m i s s a r o v (Moscow). On defining the antonym (The relation of the logical and linguistic aspects in semasiology); **From the history of linguistics:** G. O. V i n o k u r. An episode of ideological struggle in the western linguistics; **Notes and queries:** A. B. S h a p i r o (Moscow). Concerning the classification of the secondary parts of the sentence in Russian; O. N. T r u b a c h e v (Moscow). On the etymology of the earliest Slavonic kinship terms; M. L. V a n s l o v a (Kalinin). Complex sentences with the conjunctions *чем—тем*; A. A. R e f o r m a t s k y (Moscow). Phonological notes; S. N. I v a n o v (Leningrad). The category of voice in the Uzbek attributive-*ган* compounds; **Critics and bibliography; Abstracts; Scientific life:** A. V. K a l i n i n (Moscow). An inter-university conference of linguists; N. Z. G a d j i e v a (Moscow), A. G. O r o u d j e v (Baku), V. G. O r l o v a (Moscow). The co-ordination conferences in Alma-Ata, Baku and Tbilisi; I. N. A n a t s k y (Moscow), V. P. G r i g o r i y e v (Moscow). At the institute of linguistics of the Academy of Sciences of the USSR; L. A. S i l i n a (Moscow). At the committee of technical terminology of the Academy of Sciences of the USSR.